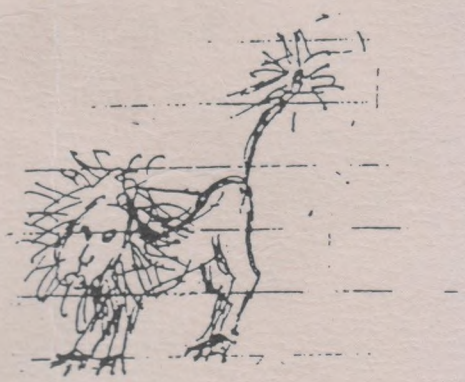
ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 22 2006

В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ
СУХБАТ АФЛАТУНИ
ВЛАДИМИР БОЛОТИН
МАРК ВЕЙЦМАН
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ
ИГОРЬ ГУБЕРМАН.
АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ
НИНА ЕЛИНА
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
МИХАИЛ КАРПАЧЁВ
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ
ЯКОВ ЛАХ
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ
СВЕТЛАНА МОЙБЕР
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ
АЛЕКС ТАРН
РАХЕЛЬ ТОРПУСМАН
МАРИЯ ФАЛИКМАН
ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ
МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ
ВЛАДИМИР ЦИВУНИН
И ДРУГИЕ



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים כתב-עת

2006 '22

Творческое объединение «Иерусалимская Антология»
благодарит
ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ»
и его руководителя Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА,
группу «АРИЭЛЬ»
и ее президента Евгения Яновича САТАНОВСКОГО,
консорциум «АЛЬФА-ГРУПП»
и его главу Михаила Маратовича ФРИДМАНА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМ

22 2006

Иерусалимский журнал, № 22, 2006

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: **www.antho.net/jr/**

Союз израильских русскоязычных писателей
Творческое объединение «**Иерусалимская антология**»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),
Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн
Ответственный секретарь: **Леонид Левинзон**
Художник: **Сусанна Черноброва**
Веб-дизайн: **Карина Пастернак**
Редактура и корректура: **Бина Смехова, Любовь Лейбзон**
Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютина, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс**

Издательство «СКОПУС» Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке

Российского еврейского конгресса

Общественного совета при Фонде «Апотропус» Министерства юстиции

Литературного фонда имени Исаака Бабеля

Дома наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2006. All rights reserved
Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**
E-mail: review@antho.net Тел. (972-2) 9960827; 6434005; 6432962

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Представители «Иерусалимского журнала» в других странах:

Москва – **Игорь Грызлов**, 5507747; igorgr@dol.ru
Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru
Нью-Йорк – **Андрей Грицман**, 1-201-2250090; agritsman@msn.com
Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com
Чикаго – **Александр Блинштейн**, 1-847-6761134; blindotcom@yahoo.com
Ефим Котляр, 1-847-5819304; yefim.kotlyar@sbcglobal.net
Бостон – **Татьяна Гольдмахер**, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
Будапешт – **Жужа Хетени**, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu
Париж – **Владимир Смехов**, vladimir.smekhov@free.fr
Торонто – **Илья Липес**, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – **Ольга Кравченко**, 08-9971014. ***Ариэль*** – **Самуил Кушниров**, 03-9365452
Афула – **Любовь Серегина**, 04-6492095. ***Герцлия*** – **Леонид Шейнкман**, 09-9502681
Кфар-Сава – **Виталий Кабаков**, 09-7673293. ***Лод*** – **Михаил Гиль**, 08-9201291
Реховот – **Марк Павис**, 08-9353758. ***Хайфа*** – **Михаил Басин**, 04-8213657

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

Игорь Губерман

*БЛАЖЕНСТВО ПЬЕСЫ ЭТОЙ КРАТКОЙ**

* * *

Чем темней и пасмурней закаты
гнусно увядающих эпох,
тем оптимистичнее плакаты
о большой удаче в ловле блох.

* * *

Все мы перед Богом ходим голыми,
а пастух – следит за организмами:
счастье дарит редкими уколами,
а печали – длительными клизмами.

* * *

Забавно мне: среди ровесников
по ходу мыслей их таинственных –
полно пугливых буревестников
и туча кроликов воинственных.

* * *

Многие, с кем жизни мы связали,
канули уже в немую Лету;
с неких пор живёшь, как на вокзале,
только расписания в нём нету.

* * *

Душа моя однажды переселится
в застенчивого тихого стыдливца,
и сущая случится с ним безделица –
он будет выпивать и материться.

* * *

Увы, когда покинула потенция,
её не заменяет элоквенция.

---

* Из будущей книги стихов «Шестой иерусалимский дневник».

* * *

Я ободрял интеллигенцию,
как песней взбадривают воинство,
я сочинял им индульгенцию
на сохранение достоинства.

* * *

Так часто под загадочностью сфинкса –
в предчувствии, томительном и сладком
являлись мне бездушие и свинство,
что стал я подозрителен к загадкам.

* * *

Кто верил истово и честно,
в конце концов, на ложь ощерясь,
почти всегда и повсеместно
впадал в какую-нибудь ересь.

* * *

Благодарю, благоговея, –
за смех, за грусть, за свет в окне –
того безвестного еврея,
душа которого во мне.

* * *

Забавно мне моё еврейство
как разных сутей совмещение:
игра, привычка, лицедейство,
и редко – самоощущение.

* * *

Все темы в наших разговорах
кипят заведомым пристрастием,
и победить в застольных спорах
возможно только неучастием.

* * *

С судьбой не то чтоб я дружил,
но глаз её всегда был точен:
в её побоях (заслужил)
ни разу не было пощёчин.

* * *

Наше бытовое трепыхание
зря мы свысока браним за водкой,
это благородное дыхание
жизни нашей, зыбкой и короткой.

* * *

Сопит надежда в кулачке,
приборы шкалит на грозу;
забавно жить на пятачке,
который всем – бельмо в глазу.

* * *

Когда, восторжен и неистов,
я грею строчку до кипения,
то на обрез попутных смыслов
нет у меня уже терпения.

* * *

Пока живу, звучит во мне струна –
мучительная, жалобная, лестная;
увы, есть похоть творчества – она
живучей, чем сестра её телесная.

* * *

Пусть ходит почва ходуном,
ярится гром, разверзлись хляби,
но кто родился блядуном –
идёт под молниями к бабе.

* * *

В какой ни скроемся пещере,
пока лихие годы минут,
лихое время сыщет щели,
через которые нас вынут.

* * *

Конторское в бумагах копошение
и снулая семейная кровать –
великое рождают искушение
чего-нибудь поджечь или взорвать.

* * *

Свобода, красота и справедливость
не зря одушевляли нас веками,
мне только неприятна их плешивость
от лапания подлыми руками.

* * *

Кто светел, чист и непорочен,
исполнен принципов тугих,
обычно тяжко заморочен
мечтой улучшить и других.

* * *

По жизни всей отпетый грешник
и всехних слабостей свидетель,
отменный мог я быть насмешник,
но я печальник и жалетель.

* * *

Взойдёт огонь большой войны,
взыграет бойня дикая,
по чувствам каждой стороны –
святая и великая.

* * *

Где теперь болтуны и задиры,
посылавшие времени вызов?
занимают надолго сортиры
и дремотно глядят в телевизор.

* * *

Когда б еврей умел порхать,
фонтан пустив, уйти под воду
или в саду благоухать –
любезен был бы он народу.

* * *

Совсем уже бедняга не герой,
а выглядел когда-то победительно,
кого-то ещё трахает порой,
однако же, не очень убедительно.

* * *

Со склона круче понесло,
теперь нужны и ум, и чувства,
поскольку старость – ремесло
с изрядной порцией искусства.

* * *

Укрыть себя, прильнуть и слиться,
деля душевность и уют –
как мы везде хотим! Но лица
нас беспощадно выдают.

* * *

Мне кажется, в устройство мироздания,
где многому Творец расчислил норму,
заранее заложены страдания,
а время в них меняет вид и форму.

* * *

Я много раз давал зарок
являть недвижную солидность,
но верю я – наступит срок,
её придаст мне инвалидность.

* * *

Чтобы долю горемычную
беспечально принимать,
укрепляют люди личную
веру в Бога, душу, мать.

* * *

Похоже, я немного раздвоился,
при этом не во сне, а наяву:
я тот люблю дурдом, где я родился,
и тот люблю дурдом, где я живу.

* * *

Жестокость жизни беспредельна,
слезу не грех смахнуть украдкой,
а вместе с этим нераздельно –
блаженство пьесы этой краткой.

Виктория Райхер

СДЕЛКА

Деньги на машину дала мама. Половину. Остальное пришлось добирать – с предыдущей зарплаты, с будущей, в счет этих расходов, в счет тех. Копеечная машина, строго говоря. Рыдван. На другую денег нет, даже и у мамы. На эту тоже денег нет. Но ребёнок. Но дожди. Но – частые простуды, тошнит в автобусе, бледненький, вялый, надо бы возить в бассейн, надо бы возить в детский сад, надо бы возить к бабушке, ну куда его таскать, мы же за городом живём. Надо бы. У мамы эти деньги, строго говоря, тоже не из лишних. Но внук у неё тем более не из лишних. Внуки никогда не бывают лишними. Деньги тоже. Неважно.

Машину нашли. В Хайфе – ближе почему-то никак. Соседи смеялись – вы ненормальные? Они поехали ради этой машины в Хайфу, хотя ничего такого особенного в этой машине не было, просто исправная вроде и чистенькая, три других по объявлениям в той же газете были какие-то дурацкие, одна по такой цене, что пусть хозяин за такие деньги сам на ней ездит, вторая вроде подешевле, но после аварии, третья не факт что не краденая, с ней вообще непонятно. Поехали в Хайфу. В Хайфе – мальчик, закутанный в полосатый шарф.

Мальчик ужасен, строго говоря. Ему восемнадцать лет, что само по себе всё-таки еще не причина, хотя, если подумать, в какой-то мере причина. Мальчик худой до предела, кисти да кости, мальчик с какой-то невнятной порослью на подбородке, ужасно черный волосом и глазом, перекошенный, подергивается, при ходьбе подпрыгивает и всё время говорит. Эрик на него смотрит, и ему хочется заткнуть мальчику рот хоть чем, лишь бы помолчал. Или себе уши. Или сбросить мальчика с моста, после чего пойти и утопиться от жалости. Ида на него смотрит, и ей хочется купить мальчику мороженое. Но ни в коем случае не иметь с ним после этого дела. Никакого. Но машина. А как?

Мальчик машину продаёт не сам, у мальчика папа. Папа еще хуже, но его хотя бы не жалко. Папы нет, папа по телефону. Мальчик торгуется полдня, выторговывая каждый миллиметр, врёт на ходу («мы могли бы продать еще вчера, причем в два раза дороже, но я захотел продать тебе, тебе, тебе!»), отрицает собственные же утверждения, попутно говорит еще о массе вещей. Может, свободно, прервать разговор на полуфразе и с воплем «не ну вы видели, вот это машина!!!» показать пальцем на мерседес по другой стороне шоссе. Палец грязный. Ида вспоминает сына, худого, бледного, и ей хочется вымыть мальчику руки. Мама мальчика в разговоре почему-то не фигуриру-

ет, только папа. На Эрика мальчик смотрит с немым восторгом. Эрик «ма-те-ма-тик». А математики много зарабатывают? А они много работают? А где ты учился? А туда сложно поступить? Смотри, смотри, какая юбка классная там на девочке, красная, у моей подружки такая же есть. Ну давайте сойдемся на шести тысячах, ну давайте.

«Ну давайте». Эрик, конечно, математик. Но объяснять мальчику всё про Эрика и про его любовь к работе за любовь – не хочется. Эрик высок и красив, мальчик ему ниже чем до плеча, он прыгает возле Эрика и его плеча, одновременно с подозрением глядя на Иду. Ида пожестче, кто-то же должен быть пожестче, Эрик гулко басит что-то про компьютеры, мальчик подпрыгивает и показывает пальцем на всё, что видит, мальчик из Хайфы, но в центре города чуть ли не в первый раз. Смотри, смотри, какой дом смешной, это сколько же в нём этажей? Слушай, не выдерживает Ида, ты вообще из дома до сегодняшнего дня куда-нибудь выходил? Выходил, радуется вопросу мальчик, в прошлом году нас возили с экскурсией в Тель-Авив! Классный город Тель-Авив, правда, ну добавьте еще триста шекелей, ты же видишь – машина хорошая, ну почему ты упрямишься, я же хочу, чтобы всем было хорошо, вы что, не хотите, чтобы всем было хорошо?

Ида не хочет, чтобы всем было хорошо. У Иды сын, маленький, ушастый, бледный, он сидит дома с бабушкой и ждёт, когда из Хайфы приедут мама и папа. Он часто болеет и его тошнит в автобусах, а они за городом живут. Деньги на машину дала мама, но половину. Остальное пришлось добирать, из бывших сбережений, из будущих, из всего. Эрик – математик. Ида – юрист, но начинающий. Начинающим юристам платят мало, на мороженое хватит, а на машину не совсем, поэтому «шесть тысяч, и чтобы всем было хорошо», они не могут. Мальчик очень боится слова «юрист», он боится, что его надуют, облапошат, разыграют, он подпрыгивает и подёргивается, он все документы держит двумя руками и прижимает к животу. Слушай, устало говорит Ида мужу, его ведь можно обдурить, как нефиг делать. Он так этого боится, что сам на это напрашивается.

Можно, мрачно отвечает Эрик, но у нас нет шести тысяч. У нас есть четыре. «Сын», вспоминает Ида и в ней с новой силой вспыхивает желание сбросить мальчика с моста. А вы смотрели «Терминатор», спрашивает мальчик, я да! Три раза, на видео, у вас есть видео?

Приезжает папа. На мальчика папа смотрит с мягким отвращением и явно время от времени сдерживает желание пнуть его ногой. Я – младший сын, с гордостью говорит мальчик, я избалованный, это видно, да? Ты, Ида, на меня не раздражайся, я ребёнок! Ребёнок, ребёнок, помнит Ида и честно пытается не раздражаться. Ребёнок через неделю уходит в армию, поэтому машина ему вроде как больше и не нужна. Из армии он будет приходить раз в три недели, зачем ему машина.

Машина, реально, не стоит шести тысяч. Они сами проговорились: в своё время отдали за неё три. Но починили. Но давно. Но с тех пор ездили. «Я подобные машины за семь продавал!», шумит папа, и Эрик щурится: ну, продавай... Они три раза садятся в машину, чтобы уехать, и три раза в последний момент решают «поговорить». День постепенно переходит в вечер. Темнеет. Папа сбавляет по тысяче шекелей, Эрик набавляет по сто. Ида вполуха слушает, как мальчик восторгается витриной магазина «Багз»: там по бархатному темно-синему фону медленно ползают огромные красные божьи коровки.

В последний момент папа соглашается сбросить еще пятьсот шекелей, а Эрик – добавить последнюю сотню, до четырёх тысяч с половиной. Эту самую «половину» придётся добывать уже совсем из воздуха, но плевать. Хорошо, говорит папа, хоть вы меня и режете. Но я согласен, потому что вы – это вы. Эрик кивает головой, делая вид, что верит. Ида напряженно думает, откуда они будут добывать последнюю половину тысячи. А знаете, вмешивается мальчик, добавьте еще сто шекелей, а?

Но уже пятница, уже почти наступила суббота, темнота, почта закрыта, сделку нигде не оформить, дотянули. Эрик выписывает чек, Ида садится за руль, в воскресенье они встретятся с мальчиком в Тель-Авиве, обменяют чек на наличные и оформят сделку. Домой они приезжают поздней ночью, сын уже спит. Купили? – интересуется мама. Купили, мрачно кивает Эрик. Ночь, усталость и уже ничего не хочется. Но машина. Ласточка. Чистенькая и какая-то симпатичная, право слово. Стоит. А тебе не жалко продавать, спросила уже в самом конце Ида у мальчика, твоя ведь машина? Да чего там жалеть, ерунда, ответил мальчик, махнув рукой. Я в армию ухожу, у меня сто других машин будут, а добавь еще двести шекелей, а?

Через два дня мальчик и Ида встречаются в Тель-Авиве, пытаясь оформить сделку. Мальчик неподражаем. Он опаздывает на встречу на полтора часа, сначала умоляя Иду приехать пораньше, а потом утверждая, что поезд, в котором он ехал, неожиданно встал в пробку. Он долго не может найти здание вокзала, в которое Ида очень вежливо просит его пройти, потому что попасть на перрон без билета она не может. Он восторженно крутит головой, показывая пальцем на все большие витрины и необычные машины, которые видит перед собой. Он каждые пять минут сообщает Иде, что сделка у них нечестная, потому что они с Эриком дали за машину слишком мало, и надо добавить, потому что они его облапошили, надули, вообще-то он им верит, но добавьте еще денег, а? Не можете? Нет, ну не надо, не добавляйте, я вообще-то знаю, что мы сделали вам огромное одолжение, смотри, смотри, видишь, там собака идёт, белая, я себе точно такую же куплю, как из армии приду.

Ида с работы, она встала в шесть часов утра, она отработала полный день, она специально едет через Тель-Авив, чтобы встретить там мальчика, она прождала его полтора часа на

улице, ей всё равно, какую собаку он себе купит, придя из армии. Мальчик невыносим, но он почти завораживает её. У него жуткое произношение, будто каша во рту, он всё время подёргивается и улыбается странной хитро-жалобной улыбкой над щенячьим на подбородке пухом, он стреляет глазами вправо и влево, он, кажется, боится Иду до смерти и одновременно был бы не прочь проверить, настоящая ли у неё грудь. Он никогда в жизни не был один в Тель-Авиве. Он два с половиной часа тратит на оформление документов, которые должны быть оформлены за пять минут – потому что не понимает ничего и спорит с каждым словом, хотя условия сделки они с папой подписали еще в пятницу. Потом он всё-таки подписывает нужный документ и заполняет анкету. Левой рукой. С ошибками. Ошибки исправляет Ида. Молча. Потом он очень просит проводить его до обратного поезда и посадить прямо в вагон, «потому что иначе я заблужусь». Он передаёт привет Эрику и просит добавить еще пятьдесят шекелей. Куплю ему на прощание воздушный шарик, мрачно думает Ида, доведу до поезда и столкну на рельсы.

Прикол хочешь, спрашивает мальчик вдруг среди всего этого балагана, я две ночи не спал, вообще. Я думал, мне не жалко будет продавать машину, а мне жалко. Я понял, что больше никуда на ней не поеду. Не сердись на меня, я послезавтра в армию ухожу.

Эй, кричит Ида мальчику в уходящую уже спину, эй, а попрощаться?

Пока, он оборачивается и неловко, боком, суёт ей худую ладонь, езжай осторожно.

Ты тоже, говорит она ему и поправляет на нём сбившийся полосатый шарф.

* * *

Папа сказал, зачем тебе машина, и мальчик подумал – зачем мне машина? Машина была, но денег не было, давай продадим твою машину, сказал папа, продадим машину, а деньги возьмёшь себе. Много денег. Много денег мальчик хотел. Он хотел водить Мейталь в ресторан, и покупать ей всякие дорогие вещи, и себе тоже, и чтобы они с Мейталь ходили всюду, как богачи в кино, и всё могли купить. А так у него была машина, и Мейталь соглашалась с ним кататься, но не было денег, поэтому, покатавшись, она уходила в кино с Лиором. Папа отдельных денег на бензин не давал, давал карманные деньги, но если их даже все тратить на бензин, слишком далеко всё равно не уедешь. А еще надо ведь себе покупать разное. А еще Мейталь. У Мейталь – юбка, красная, короткая, а к ней – белый свитерок, тоже короткий, такой, что между краем свитерка и поясом юбки еще остаётся место, и там заметен пупок.

Мейталь выше мальчика на чуть-чуть, это потому, что она ходит на больших каблуках, так-то он высокий, выше всех почти в классе, кроме Лиора, да еще вот этот русский – Арик? Эрик? – тоже выше него, но русский уже старый, ему уже лет тридцать должно быть, если не больше, а мальчик ведь будет еще расти. У этого русского красивая жена, не то что даже красивая, но такая, странная немножко. Мейталь тоже странная. Мальчику нравится, когда женщины странные, он тогда не знает, что с ними делать, и это ему тоже почему-то нравится. У Мейталь такая спина, узкая и как будто она на ходу немножко танцует, по этой спине мальчику всё время хочется провести ладонью. Он еще ни разу не проводил. И жене русского Эрика ему тоже хочется провести ладонью, но не по спине, а по груди. Этот русский Эрик высокий, поэтому у него красивая жена. Мальчик тоже будет высокий, и у него тоже будет красивая жена. Папа сказал – зачем тебе машина, ты всё равно в армию уходишь, для чего она будет стоять? Возьми лучше деньги, они тебе до армии как раз пригодятся, и в армии тоже. И мальчик согласился, и они дали объявление в газету, сначала никто не откликался, но потом откликнулся этот русский. Мальчик думал, это будет долго – продать машину, а это оказалось быстро, русский с женой приехали, они всего только день поговорили, и уже увезли машину. Вела её почему-то женщина, странный этот русский, почему у него женщина вела машину? Папа никогда не давал своим женщинам садиться за руль своей машины, и мальчик тоже не давал, хотя Мейталь и просила один раз. Он любил свою машину, хотя очень боялся садиться за руль. Каждый раз садился и каждый раз боялся. Он думал – вот, у него будут деньги, и он поедет с Мейталь куда-нибудь гулять. Много денег. Четыре тысячи. Может быть, даже пять.

А потом эта русская увела машину, и высокий Эрик уехал вместе с ней, и мальчик с папой пошли домой, поужинали, потом сидели и телевизор смотрели, и мальчик сказал «ну, я поехал за пиццей», а папа спросил – а на чем ты поедешь за пиццей, и мальчик понял, что за пиццей ехать не на чем, потому что машины у него больше нет. У папы есть, но на папиной машине ехать нельзя, там нет на мальчика страховки, папа не хочет оформлять. И, значит, мальчик уже не сможет повезти Мейталь гулять, потому что без машины она с ним не пойдет, потому что она пойдет с Лиором. И надо ехать в Тель-Авив на поезде, встречаться там с этой русской, заниматься с ней какими-то бумажками, потом ехать обратно, а вечером можно пойти гулять, и даже будут деньги, но не на чем довезти Мейталь до ресторана, да и сколько раз можно на четыре с половиной тысячи сводить Мейталь в ресторан? Ну, десять раз, ну, двадцать, а дальше что?

Армия – три года. Мальчик попробовал подсчитать, хватит ли у него денег, чтобы водить в ресторан Мейталь на четыре с половиной тысячи все три года, но у него не получилось, и он

плюнул и пошел спать. А спать не смог, не заснул, всё вертелся и думал, что вот если бы ему, например, захотелось ночью томатного сока, то никакого сока не получилось бы, потому что за ним не на чем съездить. Мальчик крутился в постели, и ему всю ночь страшно хотелось томатного сока.

Ехать в поезде было довольно интересно, но мальчик боялся, что приедет в Таль-Авив раньше времени и будет стоять там посреди улицы, не зная, что делать, и умрёт от страха. Поэтому он выехал из Хайфы только тогда, когда эта русская позвонила ему и сказала, что она уже стоит в Тель-Авиве на том месте, где они договорились встретиться. Так он был хотя бы уверен, что ему не придётся торчать на улице одному.

И он приехал, они быстро-быстро всё оформили, а в Тель-Авиве столько всего интересного и много красивых машин, у всех там машины, и у этой русской уже тоже есть машина, а у мальчика нет, была, а теперь нет, они всё оформили, и неплохо поговорили, с русской, оказывается, можно говорить, она ничего себе так, не хуже даже Мейталь, но теперь Мейталь уже не будет с ним гулять, и эта русская тоже не будет с ним гулять, потому что у неё есть высокий русский муж, а у мальчика была машина, но теперь её нет. Можно было бы сорить деньгами, но как без машины будешь сорить деньгами, да и с кем, если Мейталь нет, да и надолго ли хватит этих денег? Армия – три года. Если бы была машина, можно было бы ездить из армии к Мейталь. А теперь нельзя. И за томатным соком ночью нельзя.

Эй, а попрощаться, крикнула ему эта русская, и он попрощался с ней, нормально попрощался, как мужчина, сказал «езжай осторожно», это папа всегда всем говорит, и руку пожал, пусть видит, что он умеет делать дела. Он, мужчина, без труда продал машину красивой женщине, попрощался с ней и уехал, не оглянувшись. Может быть, теперь она будет его вспоминать, ведь он уехал от неё навсегда.

Уехал на поезде, потому что машины у него больше нет. Нет. Нет.

Мальчик втиснулся в светлый людный вагон, пошел по нему в глубину, отыскивая свободное место, и на ходу заплакал, уткнувшись носом в сбившийся полосатый шарф.

Анатолий Добрович

СЛУЧАЙ И СУДЬБУ БЛАГОДАРЮ

* * *

Корабль поколенья идет ко дну.
На шлюпках – командный состав.
А ну, забредем в каюту одну,
от мечущихся отстав.

Там листья меж стекол. Они сухи,
но связывают с землей.
Красны, медовы... Это стихи.
Два-три написаны мной.

Взглянуть ли на них, перед тем как пасть
на колени и вверить себя во власть
Того, Кто необходим?..

Он приближается к нам в упор –
Создатель осени, моря, гор
и душ, скользящих по ним.

сентябрь 2005

* * *

В наших зарослях Бах
присмотрел заповедник щегла,
где в тени полусолнечной –
градины ландыша в зной.
Здесь и папоротник,
навсегда освещенный луной,
разветвляется-мыслит
морозным узором стекла.

Только веки прикрыть
и увидеть узор изнутри,
и вот так же помыслить, –
но током души, а не слов, –
настигает посыл:
– Отдали свою боль, разветви.
На одной из развилок
вплетешься в основу основ.

сентябрь 2005

* * *

Случай и судьбу благодарю,
небу восхваленья возношу
за табак – я все еще курю,
за стихи – я все еще пишу.

Кто-то выбрал морфий или крак,
чтоб к тоске не прибивало встык.
Но для этих – очевидный крах.
У меня же – самодельный стих.

Может, и занятно – жить в борьбе
за успех. И тешиться потом,
что потрафил самому себе.
Но не в этом дело. Дело в том,

что в воронку рыхлая земля,
синеву последнюю затмив,
оползнем несется на меня,
а возможно, и на этот мир.

Все, что нам дано из Божьих рук
и навек согрето их теплом, –
это слово, это мысль и звук,
цвет зари на потолке лепном.

Посреди ли рухнувших держав,
посреди ль ухоженных могил –
я исчезну, стих в руке зажав:
всё мое свидетельство, что был.

2004

* * *

Я пропадал. Меня спасала речь.

Ал. Верник

Навеки вечный жид,
я в землю эту сослан,
а сердце не лежит
к ее подсохшим соснам.
И речь ее груба,
и буквы мне в натугу,
и мысль ее – по кругу,
с отскоком ото лба.

Смущен, как пешеход,
обутый сдуру в ласты,
плетусь через народ,
глазастый и горластый.

Как вдруг словцо «паслён»
и вкус полузабытый
всплывает сквозь обиды,
и вроде бы – спасён.

Доступны хлеб и соль,
и дом, и заграница,
нет-нет, а круглый ноль
сменяет единица,
да негде прислониться

к цитате потайной,
к дискуссии интимной,
к симпатии взаимной,
к мелодии родной.

2004

СТАНОВИЩЕ

О поле, поле, кто тебя
утыкал журавлями – в гаме
без умолку? Они, трубя,
над галилейскими буграми
парят, и тонкими ногами,
свисая, падают сюда,
где пожня, почва и вода.

Гляди: чащобой шей торча,
стоит на плоскости в пространстве
курлычущая саранча
евреев, изгнанных испанцем,
а то – сгружаемых у станций…
Да нет, мелькнуло сгоряча.

Их не согнали, а несёт.
Но трудно быть в своем рассудке,
одолевая восемьсот
небесных миль – всего за сутки.
И гвалт без продыху – не шутки.
И страх проспать сигнал на взлёт.

Компостером всесильный Бог
у них в мозгу пробил созвездья,
чтоб с незапамятных эпох
на Юг ночами рваться вместе.
Потом на Север: яйцеклад
не-южных требует прохлад.

Они летят, как род листвы
на черенках, над вольным лугом,
А в профиль – окрыленным луком:
концами вниз, без тетивы.
Без тетивы, но слышен гул
энергетического троса
от сжатых ног до пики носа.
И он же – крылья изогнул.

Следи с ладонью козырьком,
прищелкивая языком,
за граем в солнечном сиянье,
за шевеленьем на поляне,
где приземляются земляне,
которым шар земной знаком.

19 ноября 2005

ОККУПАНТ – ОККУПАНТУ

М.Амусину

В бою, как и в ученье, тяжело.
Но будет кайф – наклюкаться без жалоб
в еврейском поселении Гило,
нависшем над запуганной Бейт-Джаллой.

А то в кафе, полбанки раздавив,
рассядемся, как два холеных графа,
в еврейском поселенье Тель-Авив,
наползшем на разграбленное Яффо.

А там, встряхнувшись под холодным душем, –
по джипам. И вопя до хрипоты,
палить в подростков, вынесших цветы,
в надежде, что дома их не разрушим.

В заморских странах матери-отцу
как раз такие виделись картины,
когда, грызя кровавую мацу,
мечтали о захвате Палестины.

2005

ЮНОШЕ С ВИНТОВКОЙ

Переход с «вей из мир» на «ой-ва-авой» –
без сомнения, некий шаг.
Значит, мат с отрубленной головой
возвещает не всякий шах.

Это правда, солдатик: ты ни при чём.
Но не слишком себя жалей.
М-16 оттягивает плечо,
а судьбу нести – тяжелей.

Погляди: в костюмах от Лакруа
или в робах – люди сошлись
для того, чтоб отнять у тебя права
на винтовку, страну и жизнь.

Ты одет в проказу, обут в чуму,
ты им в грудь, как опухоль, врос.
Никогда не спрашивай, почему:
это их, а не твой вопрос.

2005

Григорий Канович

ИАКОВ

Глава из романа «Очарование сатаны»

– За тобой уже раз приходили, – кутаясь в ячеистую, как рыболовецкая сеть, шерстяную шаль, сказала Данута-Гадасса. – Что будет, Иаков, если не сегодня-завтра придут опять?

Они сидели друг против друга, прислушиваясь к тоскливому завыванию ветра, озоровавшего в кронах старых кладбищенских сосен и по-воровски шнырявшего по вороньим гнёздам, и вели за грубо сколоченным столом неспешный разговор. Тускло светила керосиновая лампа, купленная еще до первой русской революции дедом Иакова каменотёсом Эфраимом, любившим при её желтушном призрачном свете читать перед сном в Пятикнижии про славную победу царя Давида над Голиафом и украдкой уподобляться несгибаемому пророку Иову.

– А я им так просто не дамся, – ответил Иаков.

– А я им так просто тебя не отдам, – грозила его преследователям, как бы притаившимся в зыбком, бархатном сумраке избы, Данута-Гадасса. – Когда меня разозлят, я и придушить могу. Уж не помню, где, кажется, в Гомеле кто-то науськал на меня свирепую овчарку, которая выскочила из подворотни, прыгнула ко мне на грудь и стала рвать ситцевую блузку. Вокруг толпа зевак, кричат, раззадоривают пса: «Так её, воровку! Так!», но я не растерялась – вцепилась в неё и что есть мочи сжала на собачьей шее руки и разняла их только тогда, когда услышала хруст позвонков. Зевак как ветром сдуло, а я, дурёха, стою над бездыханной зверюгой и реву во всю глотку.

Ко всем рассказам матери Иаков относился с недоверчивым снисхождением. Он нисколько не сомневался в том, что она это всё на ходу придумала, что не было никакого Гомеля, никакой свирепой овчарки и толпы улюлюкающих зевак, ни с того ни с сего обвинивших её в воровстве.

– Человек – не собака, – сказал Иаков. – У этого рыщущего по округе Юозаса, наверно, семья, дети...

– Говоришь, человек – не зверюга. Говоришь, у этого подмастерья семья... – повторила она и, словно священнодействуя, распластала над хилым, заточенным в лампу огоньком длинные сухие руки со скрюченными, как гороховые стручки, пальцами. – Но нет, Иаков, зверюги страшней, чем человек, когда он зверюга, и глупо сидеть и ждать, пока придут и начнут тебя рвать на части. По-моему, лучше всего податься туда, где нас никто не знает.

– Куда? – спросил он для приличия. Данута-Гадасса не терпела молчунов и обижалась, когда ей отвечали высокомерным и равнодушным молчанием.

– В Белоруссию, где и люди добрее, и леса погуще.

– Но ведь и там немцы, мама. Бежать от беды к беде?

– Тогда через Белоруссию в Россию. В российских далях легче затеряться. В ту, первую с немцами войну, нищих и бродяг там не трогали. Те, кто подавал милостыню, не требовал паспорта от тех, кто её вымаливал, не спрашивал, поляк ли под окнами, свой ли, русский, еврей...

– Причем тут нищие и бродяги?

– Может, говорю, бросить к чертовой матери эту Литву, это кладбище и отправиться с сумой по миру. Я когда-то замечательно изображала незрячую, не подкачаю и сейчас, тем более что я уже слепну, а ты будешь моим поводырём. Будем ходить от одного городка к другому и на понятном каждому языке говорить: подайте Христа ради. И подадут, обязательно подадут. Кого-кого, а слепых и юродивых в России всегда жалели... Неплохо придумала, правда?

– Придумала ты неплохо. Но сейчас не те времена, – вставил Иаков и негромко зевнул.

– Что значит «не те»?

– Сейчас – волчьи. И в Литве, и в России. Повсюду.

– А ты что думаешь – при царе, в моей молодости они были овечьи? У каждого времени свои клыки, как у той овчарки из гомельской подворотни. Но нечего сваливать на времена, не они на нас охотятся и не они нас преследуют из-за того, что им наши носы не по нраву, а люди...

– В поводыри я, мам, всё равно не гожусь. Посмотри на меня: руки, как кувалды, во всю щеку румянец...

– Ничего. Отрастишь себе бороду, одну – «покалеченную» – руку бинтами перевяжешь, в другую я впрягусь, научишься подёргивать головой, как припадочный, и из тебя, ручаюсь, получится преотличный нищий.

Его не удивляли сумасбродные затеи и предложения матери. Он давно свыкся с её выдумками и склонностями вживаться в разнообразные роли, которые она исполняла с громадным удовольствием и редкостным талантом. Данута-Гадасса жила не в Литве, не в Белоруссии, не в России, а в каком-то созданном фантазией мире между безутешной правдой и утешительным, возвышающим душу вымыслом, между неприглядной действительностью и искромётным лицедейством, которое вошло в её плоть и кровь и придавало ей силы в самых трудных житейских обстоятельствах.

– Преотличный нищий, – с горькой насмешкой повторил он. – К сожалению, у меня нет таких способностей, как у тебя. В первом же русском городке или деревне меня выведут на чистую воду. Да и тебе может не поздоровиться – учинят допрос, собьют каверзными вопросами с толку и как немецкую шпионку сдадут куда следует.

– Послушать тебя, так ничего другого не остается, как сидеть на месте и ждать, когда нас прикончат...

– Керосин на исходе, – сказал Иаков, глядя на фитилёк, едва мерцающий за надтреснутым и закопченным стеклом. – Надо либо подлить в лампу горючего, либо погасить её.

Данута-Гадасса встала из-за стола, прошла в сени, нащупала в кромешной тьме жестяную банку, открутила крышку лампы и осторожно выцедила в проржавевшее нутро остаток довоенного керосина.

– Скоро уже и наш петух закукарекает, и замекает коза, – намекнул Иаков.

– Ты уже, сынок, во весь рот зеваешь. Иди, иди! Не мучайся, – Данута-Гадасса поняла его намёк. – А я еще маленько посижу. Может, что-нибудь путное, кроме попрошайничества, и высижу. На старости все равно не спится. Как только смежишь веки, так обязательно о чем-нибудь вспомнишь, или о чём-то очень и очень пожалеешь...

Ему неудобно было оставлять её наедине с темнотой, разжиженной тусклым светом дедовской лампы, и с неуютной и промёрзлой старостью:

– Если хочешь знать, по ночам и мне не спится. Лежу, смотрю, как в детстве, в деревянное небо – в потолок и вижу то, что давно не видел или очень хочу увидеть.

– Элишеву, да?

– И её тоже, – сдался Иаков.

– Чем любоваться подружкой на деревянном небе, ты бы съездил к ней и заодно лошадь хозяину вернул.

– Съезжу и верну.

– А я схожу в местечко – навещу свата Гедалье. Давно мы у него не были... Куплю керосину у Кавалерчика, соли и муки у Береловича, мяса у Фридмана... – Она помолчала и добавила: – Если Бог их миловал... и в живых оставил. Прошлой ночью ты ничего не слышал?

– Нет.

– Стреляли. Война кончилась, а в Зеленой роще стреляли.

– Может, приснилось.

– Мне всякая дребедень снится. Только не выстрелы.

– А причем тут лавочники? Их-то, скажи, за какие грехи отстреливать?

– За какие грехи? У всех, у них, Иаков, один смертельный грех – они евреи, – сказала она и снова распластала руки над огнем, словно заряжаясь от него теплом и упорством. – А ты поездку к Элишеве не откладывай, пока тебя хозяин хутора ... как его там...

– Ломсаргис.

– Чёрт подери! Что стало с моей памятью? Все фамилии в мою дурную голову влетают, как птицы, но свить гнезда там ну никак не могут. Не мешкай, поезжай, пока этот самый Лонсаргис тебя в конокрады не записал. Он вроде бы мужик ничего... Банквечер абы к кому свою любимую дочку не отправил бы.

– Мужик как мужик.

– А почему бы тебе вообще там не остаться. Летом и осенью работы в хозяйстве навалом. Хватит и на твою долю. К тому же в деревне тишь да гладь да божья благодать. Если кто за новичком и гонится там, то только какая-нибудь голодная скотина. И пуща рядом. Чуть что – нырнул от опасности в дремучие кабаньи заросли, и ищи-свищи.

– Ломсаргис меня в работники не возьмет.

– Почему? У тебя же, как ты сам сказал, руки, как кувалды.

– Одна работница-еврейка у него уже есть. Второго еврея он и даром в батраки не возьмет. Зачем, спрашивается, ему дополнительная головная боль?

– Но ты не еврей, – твёрдо сказала Данута-Гадасса.

– А кто же? – изумился Иаков. – До сих пор был для всех евреем и вдруг перестал?

– В жизни всякое бывает. Ложишься с вечера Иваном, а просыпаешься цыганом.

– Кем же я сегодня, по-твоему, проснулся?– глухо спросил он.

У Иакова накипала какая-то подспудная, въедливая обида на неё. Он никак не мог взять в толк, зачем, она, смущая своими странными и двусмысленными присказками его душу, затеяла этот разговор о том, что никогда по сути его серьезно не заботило и не тяготило. Когда живешь на кладбище, то привыкаешь делить человечество скорее на живых и мертвых, чем на христиан и иудеев.

– Иаков! – с неуместной торжественностью, дрожащим, как хилый огонёк в лампе, голосом возвестила Данута-Гадасса. – То, что я тебе сейчас скажу, я никогда и никому не говорила. Никому. Клянусь всеми святыми! – Она перевела дух и с той же размеренной трагической интонацией продолжала: – Если бы не эта распроклятая война, которую начали эти самонадеянные немцы, перевернувшие всё вверх дном, я бы эту тайну хранила до самой смерти. Ты что – уснул под мою исповедь?

– Нет, нет. Разве уснешь, не узнав, что за тайну ты готова хранить до самой смерти?

– Так вот... Ты, конечно, можешь возмутиться и даже навсегда отвернуться от меня, но я все-таки решила рассказать тебе о твоём рождении, чтобы никто и нигде не принимал тебя за того, кем ты на самом деле не являешься. Дело в том, что Эзра Дудак не был единственным мужчиной в моей жизни. – Поперхнувшись своими откровениями, она тяжело задышала и после долгой и многозначительной паузы продолжила: – До того, как мы встретились с Эзрой в Сморгони и с ним сошлись, у меня были и другие мужчины... Ты меня слушаешь?.

– Еще бы!

– Сначала был роман с Яцеком Братковским из Слуцка, потом с франкофилом Жюлем Пшебиндой из Могилева, а после... – Данута-Гадасса надолго, для вящей убедительности, задумалась и выдохнула: – Ах, эта предательница-память! Минуточку, минутку! Как же этого сердцееда и обольстителя зва-

ли? Вспомнила! Слава Богу, вспомнила! Владислав Шаруга из Витебска, по прозвищу Рыжий Кот. Короче говоря, я до сих пор точно не знаю, от кого забеременела. Не знаю.

Иаков сосредоточенно слушал, не перебивал её, не задавал вопросов. Он был уверен, что мать, как уже не раз бывало, придумала всех действующих лиц под вороний грай и шум ветра, а затем, бродя среди надгробий с неразлучной подружкой-козой, тщательно отрепетировала сочиненную для себя главную роль. Своих «любовников» выдумщица, видно, окрестила фамилиями однокашников по сморгоньской польской гимназии, умышлено оговаривая себя и надеясь, что таким образом защитит сына от беды, если, не приведи Господь, ему не удастся куда-нибудь скрыться, и за ним, застрявшим на кладбище, вдруг явится какой-нибудь досужий немец с автоматом наперевес или воитель за Литву, очищенную от зловредных евреев, вроде бывшего подмастерья Гедалье Банквечера.

– И ты считаешь, кто-нибудь поверит в это твоё вранье... в эти твои байки и небылицы? – тихо, с неподдельным и пронзительным сочувствием уронил свои слова в темноту Иаков.

Некоторое время темнота не откликалась. Только слышно было, как Данута-Гадасса подозрительно шмыгает носом.

– Это не байки, это чистейшая правда, – настроив на спокойный, доверительный лад свой голос, прошептала она без прежнего надрыва. – Пускай меня обзовут шлюхой, уличной девкой, но каждому, кто бы за тобой ни пришёл – подмастерье Банквечера Юозас с обрезом, немец с автоматом или сам Господь Бог – я скажу, что родила тебя на свет не от местечкового повесы Эзры Дудака, а от другого. Эзра Дудак – не твой отец. Твой отец – Яцек Братковский, дальний родственник знаменитого графа Тишкевича. Ты, Иаков, не еврей, ты родовитый поляк, дворянин, которого в детстве обрезали только потому, что иначе богобоязненный Эфраим Дудак, смотритель еврейского кладбища в Мишкине, да простит он меня, блудницу, ни за что не согласился бы приютить у себя двух несчастных бродяг. Тяжело вздорной старухе сейчас признаваться в своих молодых грехах, но когда речь идет о твоём спасении... Если Господь Бог не может ничего хорошего придумать для того, чтобы спасти человека, то мы сами Ему, Иаков, должны прийти на помощь... Вот я Ему и помогаю...

– Я тебе, мама, очень, благодарен. Но ты хотя бы спросила у меня, хочу ли я, чтобы за моё спасение ты расплачивалась унижением и бесчестием?

– А разве спасающий должен спрашивать у тонущего, какой спасательный круг ему больше по вкусу: из резины или из другого материала?

– Но твой спасательный круг весь в дырах! И меня не спасешь и себя с ног до головы грязью заляпаешь! Я не поляк, не потомок графа Тишкевича, я внук каменотёса Эфраима Дудака. Чему бывать, того не миновать. Честь дороже жизни. Дороже!

– Но только не для матери – я умру, если с тобой что-нибудь случится, – прошептала она, стараясь не заплакать.

– А ты подумала, что из-за своих небылиц и сама можешь погибнуть. У кого-то вдруг возникнет подозрение, что и ты вовсе не та, за кого себя долгие годы выдавала – не Данута Скуйбышевская из Сморгони, не полька из богатой и знатной семьи, а самая обыкновенная еврейка. И как ты тогда докажешь, что это не так. Ведь у тебя нет ни одного документа или свидетельства о том, где и в какой семье ты сама родилась. Не предъявишь же ты, как доказательство, свою знаменитую шляпу с перьями, которую всё время пересыпаешь нафталином?

Иаков вдруг вспомнил, как когда-то, еще до советской власти, порывался похоронить эту шляпу с поблекшими перьями на кладбище, чтобы мать навсегда распрощалась со своим прошлым, окутанным туманом, со своей бесшабашной молодостью и вольнолюбивым изгойством.

– Пускай меня заподозрят в чём угодно, пускай не поверят ни одному моему слову, – упрямо повторяла она, всхлипывая. – Без тебя мне не жить.

– Спокойной ночи, мам, – внезапно оборвал он её, поднялся из-за стола и, как бы извиняясь за свою резкость, бросил: – Не слишком ли много ты обо мне думаешь?

– А о ком мне, Иаков, думать. Больше не о ком... Всех других у меня уже отняли.

Данута-Гадасса судорожными глотками затолкала в желудок свое брызнувшее слезами отчаянье, краем шали вытерла глаза и пробормотала: – Спокойной ночи, Иаков.

Наутро она достала из семейного комода Дудаков свое выходное платье (в нём до войны Данута-Гадасса тайком ходила в костёл к ксендзу-настоятелю на исповедь), извлекла откуда-то подаренную Ароном пудреницу, припудрила распаханное морщинами лицо, надела любимую шляпу, оберегавшую её от сглаза и делавшую похожей на актрису из немого кино, покрутилась перед зеркалом и, получив от него благословение в дорогу, отправилась в местечко.

Иаков похвалил её наряд и проводил до просёлка, посоветовав не задерживаться и ни перед кем не изливать душу.

– А ты тоже зря времени не теряй, поломай-ка голову, как помочь Господу Богу спасти тех, кого Он когда-то второпях создал, а сейчас бросил на произвол судьбы...

– Подумаю, – пообещал Иаков.

– И сбегай на развилку. Отнеси что-нибудь поесть бедному Семену. Его мы совсем забыли. Может, уже и подкармливать некого.

– Недавно я его еще видел. Он стоял на том же месте и ждал своего Мессию...

– Может, немцы безумцев не трогают? – она поправила сползшую на ухо шляпу и неожиданно сказала: – Не сойти ли и тебе на время с ума... до конца войны... для безопасности?

– А ты уверена, что на время, что немцы войну проиграют? – грустно улыбнулся Иаков.

– Тот, кто начинает с убийства невинных людей, тот никогда не победит. Такой несправедливости Бог не допустит. – Данута-Гадасса помахала ему рукой и, удаляясь, выкрикнула: – Зря времени не теряй – думай.

Он долго смотрел вслед матери, пока та не скрылась в сосняке.

В безоблачном небе плескалась зыбкая и теплая синева. В звенящем, прошитом солнечными лучами воздухе носились ошалевшие от счастья ласточки; степенные аисты расхаживали по пустому, утыканному одуванчиками лугу и выискивали добычу; где-то вдалеке жалобно и призывно ржала лошадь. Не Ломсаргиса ли, подумал Иаков, но возвращаться на кладбище не торопился. Ему хотелось продлить ощущение покоя и свободы, стать частицей того, что открылось перед его взором и на что никто, как на эту теплую, небесную синеву, не покусится и не подвергнет преследованию, слиться с этими деловитыми аистами, пушистыми одуванчиками и подрастающими сосенками, чтобы стряхнуть с себя клочья темноты, кишащей мнимыми и невыдуманными страхами, ночные прилипчивые слова матери и бессонницу.

Оглядевшись по сторонам, Иаков остановил усталый взгляд на укромном зеленом островке, на котором решил часок отдохнуть, может, даже вздремнуть под стрекот кузнечиков. Но мысли об Элишеве и о том, что творится вокруг, в одно мгновение обрывали тонкую и податливую нить сна. Что это за мир, где надо врать, изворачиваться, отрекаться от близких, бояться быть самим собой, думал он, лёжа в высокой нескошенной траве. Почему он, Иаков Дудак, не имеет права на жизнь только потому, что родился не под той крышей? Что не брат этого Юозаса, подмастерья Банквечера, не внук графа Тишкевича, а внук Эфраима Дудака, который когда-то уверял его, юнца, в том, что смерть справедливее, чем жизнь, костлявая не делит людей на избранных и на отверженных, перед ней все равны. Уговаривая внука взяться за могильную лопату, а не за иголку и шило, дед на собственном примере доказывал, что человек может себе и каблук подбить и одёжку сшить, а сам похоронить себя не может. Господь Бог на долгие годы стелет постель новорожденному, а могильщик – на веки вечные мертвому.

Кто же ему постелет её, вдруг пронзило Иакова. Старая мать? Элишева? Или безумный Семен с развилки?

Раньше он не морочил себе голову такими нелепыми вопросами и невозмутимо занимался тем, что со скорбным рвением и обстоятельностью стелил вечную постель другим. Но теперь? Если с ним и впрямь случится то, чего больше всего опасалась мать, кто выроет ему могилу? Несчастная Данута-Гадасса разок-другой копнет лопатой неподатливый суглинок и упадет замертво. Элишева – за лесами, за долами, она ничего и знать

не будет, а про Семёна, повредившегося в рассудке, и говорить нечего, он и сам уже одной ногой на небесах. Хоть бери и сам себе стели.

Мысль о том, что он может самому себе вырыть могилу, поначалу показалась ему кощунственной и дикой, но, как он ни силился отделаться от неё, она пощипывала виски, не исчезала. Чуждый суевериям и предрассудкам, он в таком поступке ничего дурного и вызывающего не видел. Яма как яма. Взял и вырыл. Вон сколько могил он вырыл за свою жизнь! Считай, не сосчитаешь. Пускай в ожидании обитателя еще одна зияет. Конечно, он не признается матери, что вырыл эту яму для себя, а скажет, что от нечего делать ему захотелось размять затекшие руки – ведь кладбища живы до тех пор, пока на них кого-то собираются хоронить. Может, в Мишкине и в окрестностях какой-нибудь еврей ещё всё-таки сподобится счастья умереть естественной смертью и упокоится, как и подобает человеку, на родном кладбище, а не в заброшенном песчаном карьере возле Зеленой рощи, в которой по ночам гремят выстрелы. Мало ли чудес свершается на белом свете.

Еще задолго до войны Иаков выбрал для себя место рядом с дедом Эфраимом, похороненным под обгоревшей сосной, в которую угодила молния. Кто-кто, а старик не стал бы осуждать его за то, что он не хочет, случись с ним беда, взваливать на плечи матери такое бремя.

Откуда-то, со стороны кладбища, снова донеслось трубное ржание лошади-невидимки, и расслабившийся на лужку среди одуванчиков и беспечных мотыльков Иаков вдруг спохватился, что его путешествие слишком затянулось.

Он встал и быстро зашагал обратно к дому. Уже на подступах к кладбищу Иаков заподозрил что-то неладное. Ворота, как в дни похорон и поминовений, были распахнуты настежь, а во дворе, у выхода, там, где провожане моют руки после посещения могил, стояла телега, в которую был запряжен битюг с нечесаным крупом и свалявшейся гривой. Когда Иаков вплотную приблизился к ограде, он увидел двух незнакомцев, тащивших с кладбища к телеге сваленное каменное надгробье с выцветшими от времени древнееврейскими письменами и шестиконечными звездами. Вскоре из-за деревьев показался и третий незнакомец – верзила с растрёпанными космами и ломом в руке.

– Что вы тут делаете? – вырвалось у ошеломленного Иакова при виде телеги, нагруженной обломками надгробий.

– А кто ты такой, чтобы устраивать нам допрос? – оскалился верзила, который, видно, был у них за начальника. – Не еврей ли случайно?

Иаков понял, что попал впросак. Дёрнул же его чёрт за язык! Он что – слепой? Не видит, что они делают? Грабят мёртвых! Лучше бы он молча прошёл мимо, подчеркивая своё полное равнодушие к их разбойному занятию, дождался под дикой

грушей за кладбищем, пока грабители уберутся, а не навлекал на себя подозрения опрометчивым вопросом. А теперь дай Бог выкрутиться. И чтобы как-то отвести от себя угрозу, он решил, не мешкая, ответить по-свойски, с показной беспечностью – ведь с ними шутки плохи, они с тем же спокойствием, с каким ломами крушили надгробья, вполне могут размозжить ему голову.

– Неужели, мужики, я и впрямь похож на еврея? – Иаков дурашливо ухмыльнулся, пытаясь наигранным задором и дружелюбием если не расположить их к себе, то хотя бы сбить с толку. Он ясно отдавал себе отчёт в том, что только выдержка и хладнокровие могут помочь ему в этом непредсказуемом смертельном противоборстве.

– Пранас, Мотеюс, похож он, по-вашему, на еврея или не похож? – повернулся к своим подельникам верзила, уповая на то, что те должны куда лучше, чем он, разбираться в том, кто еврей, а кто не еврей.

Судьи Мотеюс и Пранас уставились на Иакова и с брезгливой придирчивостью оглядели его с ног до головы.

– А хрен его знает, Миколас? Может, да, а может, нет, – по-крестьянски увильнув от ответственности, сказал самый старый из них – Мотеюс и вытер потную лысину, обрамленную редкой рощицей русых волос.

– С виду вроде бы никакого сходства – нос бульбой, глаза голубые, и говорит без этих «уй-шмуй», – пробормотал Пранас. – Но чем напрасно гадать, лучше, Миколас, снять с него штаны. У всех евреев ответ в штанах.

– С этим уж вы, мужики, полегче. Пока я штаны, слава Богу, без посторонней помощи снимаю, – не растерялся Иаков. – Если и сниму, ничего нового не увидите. Думаете, у меня какой-то особенный – с бантиком или колокольчиком?

– Такой ли, не такой ли, не знаю. В чём я не сомневаюсь, так в том, что кончик у тебя, как и у нас, действительно без бантика и колокольчика, – вдруг вставил Миколас.

– Кончик с бантиком?! Ха, ха, ха! – загрохотал лысый Мотеюс.

– И все-таки что-то тут не так, – промолвил Миколас. – Не очень верится, чтобы литовец мог с бухты-барахты у другого литовца спросить, что он делает на еврейском кладбище, когда и без вопросов ясно. Ну не евреев же он оплакивает

– Ну, глупость спорол. С кем не бывает, – повинился Иаков, смекнув, что наступает развязка, и что избегнуть самого худшего вряд ли удастся. И тут, к счастью, ему на память пришли невероятные выдумки матери, её готовность ради спасения человека не гнушаться и обманом. Что если, осенило его, уподобиться этим нелюдям, стать на словах их сообщником, говорить с ними как равный с равными, – и он, мол, промышляет тем же, шастает который день подряд по всей округе и присматривается к еврейским кладбищам, чтобы чем-нибудь поживиться. – Я сам, скажу вам откровенно, – выпалил он, вос-

прянув духом, – сюда на разведку пришёл. Столько добра без всякой пользы пропадает! А ведь сейчас в Литве всё – наше: и камни, и небо.

– Лучше, брат, не скажешь! Всё наше – и камни, и небо, – согласился Миколас. – Сколько из этих камней можно печей сложить и новых изб построить! И он по-хозяйски обвёл рукой всё кладбище от пригорка до расписных ворот. – Правда, ксендз-настоятель говорил, что беспокоить и обижать мёртвых – это грех и что мертвые не виноваты.

– Но сам-то он живёт не в скособочившейся развалюхе, как некоторые его прихожане, а в хоромах. Все евреи виноваты – и живые, и мёртвые. Никакой разницы, – сказал неуступчивый возница Пранас и, недоверчиво косясь на Иакова, вдруг спросил: – А ты, разведчик, как думаешь?

– Я со своим ксендзом, даже, если он не прав, никогда не спорю. Святой отец – это святой отец, – не моргнув глазом, спокойно ответил Иаков.

– Хватит, Пранас, лясы точить. Разберёмся в другой раз. Никуда от нас не денется, если еврей... Мы тут работу еще только начали... Поехали! – скомандовал Миколас.

Пранас неохотно закинул в телегу ломы, забрался на облучок, подождал, пока на сваленные надгробья примостятся сообщники, хлестнул застоявшуюся лошадь и, обернувшись к застывшему у ворот Иакову, под дребезжание колёс крикнул:

– Эй, ты, проваливай отсюда! Если ещё тут попадешься, мы с тебя и штаны, и голову снимем!..

– Сни-мем, – эхом разнеслось по округе. – Сни-мем...

Разнеслось и затихло.

Оглушенный удачей, он долго стоял у кладбищенской ограды, теряясь в догадках, какое чудо спасло его от расправы – то ли выдержка выручила, то ли рассудительный Миколас, не поверивший в его вранье, но отложивший «снятие с него головы» в надежде на то, что казнь над ним рано или поздно свершится и потому не стоит пока брать на душу еще и грех кровопролития.

Занятый разгадками, он не заметил, как к нему приблизилась коза, которая стала тыкаться невинной мордочкой в штанину, жалуясь, видно, на то, что уже скоро полдень, а её забыли подоить.

Пришлось отправиться в избу за ведерком.

Иаков доил её, прислушиваясь к журчанию тонкой струйки молока, и понемногу приходил в себя от испытанного потрясения. Непривычная к мужским пальцам коза время от времени взбрыкивала от боли, и он просил у неё прощения, ласково приговаривая:

– Потерпи, хорошая, потерпи.

Дойка возвращала к устоявшемуся порядку, отменяла учиненный разор, и в душу, как струйка молока в ведерко, вливалось с безоблачного неба ощущение вожделенного покоя и не-

ги. Даже вечные баламуты-вороны, и те угомонились на сосновых ветках.

Иаков прямо из ведерка отпил козьей благодати, отнес надой в избу и, прихватив с собой лопату, направился к обезглавленным могилам.

Их было больше дюжины. Миколас и его подельники выбирали не заросшие лишаями мха и подпорченные трещинами надгробья, а камни, которые были получше да поновей и годились для стройки.

Данута-Гадасса выхвалялась, что знает, в каком доме живёт на кладбище каждый мертвый. Иаков таким отменным знанием каждой пяди похвастать не мог, но порушенную могилу утонувшего в Немане Цалика Брухиса, малолетнего сына Баруха Брухиса, мебельного фабриканта увидел сразу. Надгробный памятник Цалику был украшением кладбища.

Унаследовавший от деда Эфраима дар резчика, Иаков на огромном валуне вырезал плачущего ангела со сломанными крыльями, парящего над местечком и роняющего слёзы на его черепичные крыши. Сгребая сор и осколки, Иаков то и дело поглядывал на высокие, не тронутые топорами деревья, на небо, куски которого никто, даже ломами, не в силах отколоть и растащить по своим затхлым углам, и в смятении безмолвно обращался к ним, как к живым и беспристрастным свидетелям, с мучившим его вопросом:

– Что случилось с человеком, если без всякого стыда и зазрения совести он может вмуровать в фундамент или стену строящейся избы плачущих ангелов или выложить дорожку к нужнику их каменными слезами?

В сопровождении козы, изнывавшей от скуки и одиночества и неотступно ходившей за ним по пятам, Иаков обошёл все руины, но кроме разоренной могилы утопленника Цалика Брухиса ни одну не опознал. Наверно, даже Данута-Гадасса затруднилась бы назвать тех, кого грабители навсегда лишили имени и права на память потомков. Правда, по преданию, накануне Судного дня, если в раннюю рань прийти на кладбище, когда на нём стоит такая же тишина, как на небесах у Божьего престола, можно услышать перекличку мертвых:

– Лейзер!

– Шифра!

– Берл!

– Эфраим!

Иаков и сам однажды слышал, как кто-то грудным женским голосом настойчиво звал деда Эфраима.

– Это его звала с пригорка любимая жена Лея, – сказала Данута-Гадасса, когда сын рассказал, что ему померещилось. – Пробьет наш час, и мы с тобой тоже будем так перекликаться. Ведь тот, кто любил при жизни, тот и под дёрном хоть окликом постарается напомнить о себе любимому или любимой.

Мать задерживалась в местечке, и чуткий Иаков стал волноваться. Не приключилось ли что-нибудь – ведь от неё всего можно ждать. Часами Дудаки, как и покойники на кладбище, никогда не пользовались; никто к ним не опаздывал, и они ни к кому не спешили. Время определяли просто: закатилось светило – вечер, зажглись звёзды – ночь, зарумянились небеса – утро. По расположению солнца в небе Данута-Гадасса уже должна была вернуться домой. Теперь же до её прихода никуда не двинешься, кладбище не покинешь, к Семену на развилку со снедью не сходишь, на хутор в Юодгиряй, чтобы вернуть Ломсаргису лошадь и повидаться с Элишевой, не поскачешь.

– Что, хорошая, будем делать? – спросил Иаков у своей постоянной спутницы и собеседницы – козы. Как он издавна подозревал, она понимала человеческую речь. В особенности некоторые, постоянно употреблявшиеся на кладбище слова, такие как «смерть», «похороны», «могила», «горе», «слёзы», и относилась к скорбевшим родичам покойников с неподдельным бабьим сочувствием. – Рыть могилу?

Та в знак согласия затрясла белой мудрой головой: будем!

– Но ни одна душа не должна знать, для кого мы её роем. Понятно?

Влюбленным взглядом коза пообещала ему свято хранить и эту тайну.

Они подошли к обгорелой сосне, которую шальная молния рассекла надвое, и Иаков, поплевав на ладони, принялся по соседству с могилой деда Эфраима рыть для себя яму. Он рыл, пытаясь представить, что было бы с ним, если бы компаньоны степенного Мотеюса ослушались своего вожака. Они, конечно же, без долгих разговоров прикончили бы фальшивого литовца ломами, и он бы тут сейчас не вёл задушевные беседы с козой, не размахивал лопатой, а валялся бы у кладбищенской ограды в луже собственной крови. Обнаружив остывший труп, смерзшаяся от горя в сосульку Данута-Гадасса должна была бы сначала втащить его в избу, обмыть, завернуть в простыню, как в саван, и ещё вдобавок самостоятельно выкопать для сына вечное жилище.

Иаков не щадил себя, поддевал лопатой комья пахнущей загробной сыростью глины с таким удальством и лихостью, как будто мстил за что-то самому себе. Он и сам не мог понять, за что именно. Может, за то, что вместо того, чтобы заступиться за поруганных покойников и броситься в драку с нагрянувшими на кладбище дикарями, он в страхе за свою жизнь, не гнушаясь обманом и поступаясь честью, объявил себя их сообщником. А ведь совсем недавно пылко доказывал Дануте-Гадассе, что честь и достоинство дороже жизни.

Он и дальше бичевал бы себя за малодушие и угодничество злодеям, если бы его внимание не отвлекла от вырытой ямы крохотная пичуга-красногрудка, которая сидела на желтеющем среди сосен холмике, словно на царском троне, чистила пе-

рышки, в перерывах беззаботно цвенькала, самим своим существованием наглядно демонстрируя достоинство и подтверждая, что на свете нет ничего дороже жизни, как нет и большей чести, чем радовать Господа Бога, своего Создателя, бесхитростным и бескорыстным пением.

Через миг, испугавшись пристального и завистливого взгляда Иакова, она взлетела в поднебесье, а он еще долго и зачарованно всматривался в набирающую высоту птаху и думал о том, что Создатель зря не приладил человеку крылья, чтобы и тот в опасную минуту мог оторваться от безжалостной, могильной земли и поменять её на розовеющие над Мишкине облака.

Пока он всматривался в небо и предавался непраздным размышлениям, на просёлке выросла фигура Дануты-Гадассы, которая по кочкам и рытвинам медленно катила низкую четырехколёсную тележку с покупками. Первая возвратившуюся хозяйку учуяла коза и тут же, цокая копытцами по надгробным плитам, припустилась к ней навстречу. За козой, переселившись с избавительных облаков на землю и воткнувши в глиняный холмик лопату, зашагал Иаков.

Поравнявшись с матерью, он попытался вместо неё впрячься в тележку, но Данута-Гадасса этому решительно воспротивилась, словно боялась, что он по пути обязательно что-нибудь уронит. Коза плелась сзади, изредка останавливаясь, чтобы щипнуть на обочине еще не засохшую на июньском солнце, вполне съедобную травку.

– Ты всё купила? – после тягостного молчания начал Иаков издалека в расчёте на то, что, разговорившись, узнает от матери в подробностях все новости о положении в Мишкине и прежде всего о ближайших родственниках – Гедалье Банквечере и его дочери Рейзл.

– Купила, купила, – мрачно ответила она и поправила съехавшую набок шляпу с полуистлевшими от времени перьями. – Всё страшно вздорожало. Особенно мясо. Фридман, скупердяй из скупердяев, и то за кило филе брал на целых пятьдесят копеек меньше.

– А сейчас ты что – мясо не у Фридмана брала?

– Брала у Фридмана, но уже без Фридмана. А муку – у Береловича, но без Береловича, а керосин – у Кавалерчика, но без Кавалерчика. Всех их и след простыл. В лавках всё осталось, как было при них. Прилавки, полки, кладовки. И товары на прежних местах... Туши говяжьи со штемпелем как висели под потолком на крюках, так и висят, и мука у самого входа в тех же мешках, и керосин в тех же баках. Нет не только хозяев, которые всегда мне в долг давали, но и жён их нет, и детей нет... И среди покупателей – ни одного еврея... И цены другие...

Данута-Гадасса замолчала и через некоторое время, желая сгладить впечатление от своего рассказа, с подчеркнутой сухостью поинтересовалась:

– А козу ты подоил?

– Подоил, – сказал Иаков, удивляясь тому, что мать ни словом не обмолвилась о судьбе свата Гедалье Банквечера и его дочери Рейзл.

– Ты у меня на все руки мастер! Коза не должна ходить с полным выменем оттого, что весь мир с ума сошёл, – похвалила Данута-Гадасса сына и, когда тележка вкатила во двор, добавила: – Внеси-ка, хозяин, покупки в дом. Что-то я вдруг расклеилась после этого похода за провизией. – Она сняла свою легендарную шляпу, пережившую две русских революции и мировую войну, и, превратив её в веер, стала себя обмахивать.

Иаков внес в дом и разложил по местам всё, что она купила в захваченных мишкинских лавках. Умерив любопытство, он больше не стал допытываться о свате Банквечере и Рейзл, потому что уяснил себе всё из её рассказа о лавочниках... Если за прилавками уже нет лавочников, то и портных за швейными машинками уже нет, и сапожников за колодками нет, и парикмахеров у сверкающих зеркал нет...

– А ты несчастному Семёну еду на развилку отнёс? – прошептала Данута-Гадасса и прилегла на старую тахту, из которой выпирали ржавые кудряшки пружины.

– Не сердись, до твоего прихода никуда не хотел отлучаться. Ведь сейчас, мам, люди зарятся не только на чужую провизию, но и на кладбища.

– На кладбища? – вытаращила она на Иакова свои огромные, не постаревшие глаза. – Зачем, скажи на милость, христианам еврейские кладбища? Настоящий христианин рядом с евреем никогда не ляжет. И потом: кладбищенские камни – не филе и не грудинка, их в горшке не сваришь, не зажаришь и на стол с квашеной капустой не подашь.

– Ты же сама мне рассказывала, что бывший подмастерье Банквечера грозился вымостить нашими камнями улицы в Мишкине. Забыла?

– А я, Иаков, плохое в памяти не держу, а всё хорошее кладу в копилку... каждую кроху кладу, каждую крупицу, потому что у того, кто копит плохое, кровь портится и от грязи высыхает. Так моя тетушка Стефания, царствие ей небесное, мне, гимназистке, говорила.

Он не собирался спорить с тетушкой Стефанией, он мог в доказательство, что и на кладбища уже замахнулись, рассказать о том, что ему сегодня пришлось пережить, из какой смертельной передряги не без её помощи удалось выбраться, но решил ей, старой, не портить кровь. Пусть мать отдохнет немного, пусть отдышится. Все равно от неё ничего не скроешь – как только она встанет, всё своими глазами и увидит.

Можно было наплести с три короба, но врать было бесполезно, ибо каждый вечер перед сном Данута-Гадасса обходит мёртвых, как генерал выстроенное на плацу войско, и уж мимо могилы, вырытой по соседству с надгробьем её благодетеля Эфраима, ни за что не пройдет.

– Я могилу копал.

– Могилу? Неужели Семён не дождался Мессии и помер на развилке?

– Нет.

– Тогда, может, ты для меня копал? По правде говоря, в самую пору.

– Боже упаси! Я вырыл её для себя, – просто и обыденно сказал Иаков, будто речь шла о дойке козы или распиле дров. – Нынче не мешает заблаговременно постелить постельку.

– Я думала, что в доме Дудаков я единственная сумасшедшая. Оказывается, и ты, Иаков, свихнулся! Ишь какой герой – постельку себе постелил! – Данута-Гадасса вдруг поднялась с тахты, подошла к Иакову, обвила его шею руками и без запинки выплеснула то, что столько лет бурлило у неё внутри, требовало выхода, но всегда наталкивалось на какую-то невидимую и непреодолимую преграду: – Дорогой мой дуралей, тебе еще жить и жить, а я... я уже давно мёртвая... меня только все время почему-то забывали похоронить... даже мертвую заставляли страдать и мучиться. Если я изредка и воскресала, то только когда любила. А сейчас мне кроме тебя, милый, да еще козы, больше некого любить. Некого... в целом мире...

– Ты не мертвая... ты всегда живая, – зачастил он. – Я просто хотел, чтобы тебе, случись со мной беда, было легче. Прости меня. Но мне и в голову не приходило, что куда тяжелей зарывать сына, чем рыть для него землю. Прости...

– Прощаю. Я всех прощаю... Завтра твою яму засыплю доверху и посажу какое-нибудь деревцо. Тую или липку. Сегодня у меня нет сил. А ты завтра не забудь накормить Семёна, вернуть на хутор в Юодгиряй лошадь и встретиться с Элишевой. Только ничего ей ни про отца, ни про сестру не смей говорить. Скажи, что мать в местечко до сих пор не ходила, плохо себя чувствует и ждёт, когда всё наконец утихнет. Пускай реб Гедалье и Рейзл будут для Элишевы еще живы. – Данута-Гадасса вздохнула и продолжала: – Кому-кому, а ей-то повезло. Не вздумай она наняться в батрачки к этому Ломсаргису, глядишь, и её вместе со всеми отправили бы к праотцам. Между прочим, на исповеди, а я заходила в костёл исповедоваться, все-таки какая-никакая католичка, ксендз-настоятель по секрету мне сказал, что крестил её недавно.

Жалостливое удивление исказило лицо Иакова. Элишева, которая бредила Палестиной, мечтала о доме для всех евреев, та самая Элишева крестилась? Не может быть!

– Мы со святым отцом и о тебе говорили.

– Тоже о крещении?

– Нет. Крещеного, Иаков, дважды не крестят. Когда тебе было полтора годика, я тебя в Вильне крестила. В костёле Святой Анны.

– Что же получается – я и обрезанный, я и крещеный, – криво ухмыльнулся Иаков.

– Что поделаешь, если у нас всегда получается не так, как нужно. Ксендз-настоятель ищет садовника на лето и экономку. Работа хорошая, чистая. Харчи, приличное жалованье, живи – не тужи. Но мы оба с тобой меченые и не подходим ни ксендзу, ни раввину...

До самого вечера Данута-Гадасса неподвижно лежала на тахте, глядя в потолок, а, может, и сквозь потолок, туда, где, как она уверяла, на летучем, перистом облаке живёт её ослепший ангел-хранитель, которому она из сострадания каждый день рассказывала, что творится на земле, и у которого она иногда отваживалась просить, чтобы он замолвил перед Всевышним слово за её близких и за состарившуюся козу.

Вечер выдался на редкость светлым и звёздным.

Данута-Гадасса попрощалась со своим заступником, встала с продавленной тахты, накинула на плечи свою ячеистую шаль и вместе с Иаковом начала обходить кладбище.

Увидев руины, она вскрикнула, как ночная птица, и, подавив в себе крик, прорычала:

– Что это? Кто это?

Иаков не стал рассказывать матери ни про шайку «старателей», решивших пустить еврейские камни в строительное дело, ни про то, как сам едва уцелел, прикинувшись их братом-литовцем, промышляющим тем же воровством, а пытался усмирить её гнев вопросами. Помнит ли она фамилии тех, кто под этими остатками казненных надгробий лежит, и, может, если она вспомнит, записать их чернилами в завалявшуюся в избе конторскую книгу.

Данута-Гадасса не сводила выжженных ненавистью глаз от руин, вытирала слезы краем шерстяной шали, странно и грозно икала.

– Не помню, не помню, не помню, – повторяла как заведенная. – Вон там... под той елью, по-моему, лежал отец доктора Пакельчика, который лечил в Мишкине всех кроме мертвых. А там, на склоне, под серым валуном покоился, вроде бы, отец Прыщавого Семена – корчмарь Ешуа Мандель...

И снова:

– Точно, Иаков, не помню, хоть убей, не помню. Хорошо еще, что деда Эфраима не тронули.

Она вдруг возвела руки к небу:

– Господи! Может, Ты помнишь? Ты же всё на этом свете помнишь!

– Помнишь, – откликнулось эхо, – ... нишь... нишь...

– Господи! Великий Боже! Неужели Ты оглох и ослеп? Господи, что же будет с живыми, если Ты, Всемогущий и Милосердный, не можешь защитить мертвых?!

Над кладбищем зажглись первые звезды, и в их призрачном свете вечернее небо казалось огромным и нерушимым надгробьем.

Юрий Рященцев

ЛУЧШЕ БЫ СЕСТЬ МНЕ В ЛОДОЧКУ.

ПИРАМИДЫ

Я кланялся и смоквам, и оливам,
верблюду на хургадском берегу.
Но к этим терриконам горделивым
испытывать почтенья не могу.
Конечно, и у спеси есть заслуги,
которыми полным-полна земля.
Но краски Лувра живы и упруги.
Огонь интриг горит внутри Кремля.
А здесь мертвец за мертвыми камнями,
высокими, но только и всего.
Какое чувство управляет нами,
когда мы все о нем да про него?

Вот я взираю медленно и слепо
на эту грань, взлетающую вкось,
Тутанхамона иль Аменхотепа
нелюбопытный и случайный гость.
Но этот недопараллелепипед,
безропотный свидетель дат и вех,
неужто он душа твоя, Египет,
из черной почвы рвущаяся вверх?
По мне, верней следить за ближней ямой,
там змейка, ядовитая, поди,
быть может, пра-пра-правнучка той самой,
послушливой, с царицыной груди.

* * *

Луна светила так, как будто
ей предстояла казнь под утро,
а так хотелось весь свой свет
плеснуть из таза ясной меди
на землю накануне смерти,
плеснуть на землю и – привет!

Но без луны нельзя, наверно.
В глухую ночь куда как скверно
шататься с милой под дождем,
ее причудам потакая,
и промокая, промокая
под романтичным, словно триллер,
и столь же тягостным дождем.

Но нынче-то луна светила.
Да как! Подвыпивший кутила
желал с ней пить на брудершафт,
из-за стола на Камергерском
поднявшись вдруг в порыве дерзком,
не то в гордыне – Маяковский,
не то в горячке алконавт.

Непонятый и одинокий,
пророк шатался одноногий
в распадке уличных кружал.
И постовой смотрел недобро
за тем, чтоб было всем удобно,
но обижал одних лишь нищих,
а принцев втайне обожал.

Никто не спал в ночной столице.
Вид белоснежной кобылицы
Проплыл, как некий общий сон.
И голос юной тунеядки,
просившей на прокорм лошадки,
положенный на мерный цокот,
был наглой силой напоен.

Как быть? Как разойтись сегодня?
Чья это ночь: твоя? Господня?
Пойми, я больше не могу
дышать полночным этим ядом,
когда – луна, когда ты рядом,
когда вся жизнь – беспечный спринтер,
сорвавший ленту на бегу.

Вина! Еще вина! И лета!
И лунного, с безумством, света.
И снега свежего. И льда.
И меж сомнением и верой
прожить всю ночь с набухшей веной.
И никогда... И никогда...

* * *

Когда, от праздника устав,
меняет краски труд,
когда уходит сэр Фальстаф
и Шейлок тут как тут,
то кажется, что это – миг,
простая череда,
и вдруг поймешь, что ты – старик,
и это навсегда.
А развеселый маскарад
исчез в тумане дней,
и чем трезвей теперь твой взгляд,
тем, стало быть, мрачней...

О, как же хочется сейчас
воскликнуть бодро: «Но...»
Но день прошел. И свет погас.
И за окном темно.
И к темноте не привыкать
при вьюге, взаперти.
И утешения искать
почти нет сил. Почти.

* * *

Простор живого белого стиха,
бескрайнего, как снег под Оренбургом
иль поле летом – лишь ковыль, ковыль,
неясный мир метелок серебристых,
колышущийся, как вода в реке.

Я ничего на свете не умею.
На удивленье. Только рифмовать.
Ни умных рук завидная работа,
ни точная работа головы –
ничто в моей судьбе не получилось,
лишь это: «путь – нибудь», «заряд – подряд»,
ну, там еще сомнительная рифма
«покинутую – киноварью». Все.

Да-да, я помню: ритмы, форма строф,
гиперболы, сравнения, литоты –
все это только средства для того,
чтоб выразить страданье или радость,
которые не выразит никто,

а лишь поэт (простите, стихотворец),
и этому нельзя, мол, научиться.

А надо ли? Народ считает: нет,
хоть в этом и себе не признается.

Вот я себя и рифм лишил нарочно,
чтобы свое безделье благозвучьем
не украшать. А все одно: балбес!

Сейчас во двор спущусь я, где неделю
стоит заглохший мой недвижный опель
серебряной чумазой укоризной
беспомощной профессии моей,
и буду шарить безнадежным оком
по белому безлюдному двору,
куда, быть может, выйдет человек,
рифмующий бесстыдно «мой» и «твой»,
но что-то понимающий в моторе.

СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ

Когда это было – такой солнцепек в ноябре,
ни облачка в праздничном небе, когда это было?
Возможно, и было когда-то, еще при царе,
а я не упомню такого осеннего пыла.

Тяжелые желтые слитки – на темной земле,
которой осталось всего ничего до покрова.
И так неохота готовиться к долгой зиме,
которой хоть вовсе бы не было, честное слово.

Горячим воронам ни пуха, скажу, ни пера.
Им жажда любви помогла перепутать сезоны.
В буфете профессорской дачи звенит баккара
от долгих и хриплых восторгов влюбленной вороны.

Как странно, похоже, вообще отменен листопад,
свежи тополя, и ольха, как на праздник, одета.
А желтые звезды на кленах так лихо звенят,
как будто семь сорок танцует кленовое гетто.

И что за примета, что лиственный смешанный лес
и с мнимой обманчивой, смертью не хочет мириться.
И с липы сорвавшийся лист наотрез, наотрез
отказывается упасть и летает, как птица.

* * *

Своих бы не узнали брадобреи,
что прежде стригли Ямну и Пирей:
ведь златокудры греки и евреи!
И грек сегодня черен и еврей.

История обуглила их кудри.
Захватчики их жен не берегли.
Свидетельства о том не так уж скудны
и – налицо. Столетья протекли,
и яркий свет в античных шевелюрах
сменился тьмой. И что о том жалеть?
Забудь про то, как серых и каурых
каппадокийская хлестала плеть.
Похоже, все народы друг пред другом
виновны в чем-то. Но не в том же суть,
что север в их чертах исправлен югом
или испорчен – это как взглянуть –
что Запад где скуласт – так от Востока
и что Восток от Запада подрос...

Вот только как все делалось жестоко:
на седлах пропотевших и без роз.

ПЕРВАЯ БЕСЕДА

Голубое с палевыми облаками небо русских икон...
Это – там, на Урале или на Каме. Ухает геликон.
И хоронит допившегося соседа преданная родня.
И с распятым Богом идет беседа, первая у меня.

Бог считает, что мертвый сосед – в порядке,
принят в небесный сад
чуть похожий на Верочкин, у колодца, где антоновские висят.
Он предъявит свою хромоту как примету райскому вратарю...
Ну, а я считаю, что Бога нету. Но с кем же я говорю?

Там цыпленка – на суп. Тут подсвинка – на сало.
Серый задрал коня
Как теперь бы сказали, ты, смерть, достала, ты достала меня
Я боюсь за родных. И за все живое... Господи, чья мы сыть?
А вокруг – только пение хоровое, с кем же мне говорить?

В нашей Третьей школе все знают точно: Бога придумал грек
потому что жилище было непрочно в мире, где град и снег.

Но хотя у нас снега гораздо больше, трудно здесь небесам.
Так что, с кем я сейчас беседую, Боже, я не знаю и сам...

Похоронный оркестр ушел к погосту. Это недалеко.
Татарчонок в ватнике не по росту козье пьет молоко.
А козу эту в марте от волчьей стаи спас неизвестно кто –
на Тебя все старухи грешат: отстали, темные... Но зато,

но зато, когда проносили соседа мимо ее крыльца,
о, как бабка, зимой схоронившая деда, встала, глотнув сырца,
поминальным блином не заев напитка,
глядя в открытый гроб,
не спеша, как стежки по канве, не прытко,
крест положив на лоб, –

как она прокричала в мертвые уши в лютиках полевых,
как она прокричала в мертвые уши через толпу живых,
как она прокричала, баба Дуняша, – словно не про беду:
– Ты скажи там, Федор, Ивану и нашим: скоро я к ним приду!..

ВЕЧЕР С ИИСУСОМ НАВИНОМ

Перерезавший жилы коням хананейским,
так уж вышло, что пить мне и вовсе уж не с кем,
потому-то и выпью с тобой,
хоть тому, кто мечам предпочел бы орала,
не с руки свой стакан о стакан генерала
ударять, предварив мордобой.

Мне сомнительны будут резоны Навина,
что резня с повеления Бога невинна.
Мне неясен сам Божий приказ,
ибо я, доверяющий сердцу и мозгу,
почитаю за Бога Навинова тезку.
Он убил ли хоть муху? Он – Спас!

А слова о мече принесенном – не мире!
понимаются мной отвлеченней и шире,
чем буквальная весть о ноже,
о гигантской, конечно, но все-таки – финке.
Наша пьянка, Навин, – о Хевроне поминки.
Я другой не приемлю уже.

О, каким пошляком я кажусь полководцу,
проторившему путь небольшому народцу
до народа великих страниц!..

Ну, и пусть. Но ведь пьет, не уходит. И мрачен.
Не раскаян, конечно же, но озадачен.
И беспомощен без колесниц.

Ладно. Он ведь не знал ни Христа, ни Пилата...
Нашим маршалам даже смешная зарплата –
повод к пуле во вражеский лоб.
Убивать даже легче, ничем не владея.
Ну, а у иудея была же идея...
Впрочем разницу – хоть в микроскоп...

Видишь, трезвый Навин, как январская стужа
понуждает к питью нечестивого мужа.
А другой-то причины и нет...
Уходи! Под окошком стоит колесница.
Тут за баксы любой коммунальный возница
хоть – в Мытищи, хоть – в Ветхий Завет.

* * *

Розовыми прожилками светится мой инжир.
Лето еще не все – половину зубов даю!
Господи, да не Ты ли влюбил меня в этот мир –
что же Твой клирик сердится так на любовь мою?

Я ж не одни подарки: брызги, лучи, плоды –
принял с благодареньем, взор свой отворотив
и от травы сожженной, и от гнилой воды,
да и от гнуса, гнусящего гнусный, но свой мотив –

принял и эти хворости в крепкой натуре дня,
где из прибоя древнего полчища Афродит
утром выходят на берег, камни на дне кляня,
и светлая соль океанская чуть на плечах блестит.

Но все это лишь подробности. И выразить не дано
того, что нам всем отпущено для разума и души...
Скажи, Ты и вправду сердишься за бешеное вино,
за злую счастливую девушку? Ну, не молчи, скажи!

Да будь оно вправду проклято это мое житье,
если я жил без памяти, если умножил зло.
А и того не хуже ли это мое нытье?
Лучше бы сесть мне в лодочку, лучше бы взять весло...

Мария Фаликман

ПЕРЕУЛКИ

* * *

М. С., М. Б., Е. Т.

В Кракове осень. На этот раз – без меня.
Гомон туристов и голуби над костелом
блекнут. День все короче день ото дня.
Вместо меня поклоняться святым престолам

едут друзья, знакомые, их друзья,
едет турист и католик всея Европы.
Трудно поверить, но точно так же и я
ехала год назад. Этот град – его бы

славить без устали. Мне бы туда сейчас.
В праздной толпе у ратуши слушать пенье
медной трубы сигнальной, случайный джаз,
местных наречий цоканье и шипенье.

Мне бы к тому холму, где, трубой храним,
тучей укутан, словно ватным компрессом,
Вавельский замок мокнет, а перед ним
дремлет дракон в ермолке, что твой профессор.

Пусть себе спит. А мне разглядеть бы свет
стен, где замрешь сперва, а глаза поднимешь –
камни увидишь и звезды, алеф и бет.
Это не Краков, это уже Казимеж.

Площадь базарная, музыка, ресторан,
девочка на фотографии довоенной.
Старые камни. Евреи из разных стран
пальцами водят по буквам. Обыкновенный

город ли, призрак города? Год назад
так же и я стояла, не разбирая,
где у них бет, где алеф. Где рай, где ад.
Как становилось адом подобье рая.

Как разрушали площадь, трубили сбор,
как во дворах белье под дождем осталось.
Праздничный город Краков, не с тех ли пор
ты чуть печален? А может, мне показалось?

В Кракове осень, дождь. За моим окном
мост через реку. Сделаешь шаг – и снова
шепчет Казимеж на языке родном.
Только ни звука я не пойму, ни слова.

осень 2005

ПРО СЛОВА

Я, как все, в слова играла в незапамятном году:
Рифмовала, выбирала, сочиняла на ходу,

Словно карты, их вертела на поверхности стола.
Если слово не хотело, я и силою могла.

Дело муторное, где уж тут частить, как пулемет.
Кто кота в коляску кукольную втискивал, поймет.

Было больно, было сладко, был прискорбен результат:
Как поставила когда-то, так покорно и стоят.

Но одно из них доселе не дает покоя мне,
Я хожу, смотрю рассеянно, мечтаю в тишине,

Чтобы снова было сладостно и больно оттого,
Что отныне не подвластно мне дыхание его.

Что оно ушло, растаяло и, Бог его храни,
Переулками московскими блуждает в эти дни.

Словно впитывает то, что я не смела дать ему:
Вместо вечных многоточий – подворотен полутьму,

Угловатость подростковую, несдержанность манер,
Те сюжеты, что втолковывал приезжий инженер

Двум несбывшимся поэтам, разомлевшим от жары,
В день, когда определяются условия игры,

Покупается подсолнечное масло и свеча,
В час, когда судьба по рельсам приближается, стуча.

Или это по брусчатке каблучки стучат во тьме,
Или дворники заранее готовятся к зиме,

По ночам в полуподвалах проверяют инвентарь,
И стучат, стучат лопаты – хоть сейчас по льду ударь,

Раздроби его на части, чтобы эти каблучки
Простучали, не поскальзываясь, вдоль Москвы-реки,

И ушли вот так, без имени, без следа, по мосту,
Чтобы слово вслед за ними поспешило в темноту,

К тем бульварам, где на лавочках томятся до утра
Неприкаянные души, дел полночных мастера,

Чтобы стало, папиросами пропахнув и тоской,
Терпким, как Большой Петровский,
крепким, как двойной морской.

А потом все глуше, глуше – и совсем на нет сошло.
Чтобы я, к нему прислушиваясь, думала светло,

Что и знать не знаю, где оно аукнется потом:
В этом облаке над городом ли, в эхе под мостом,

Только некто из-за облака сострит, прищурив глаз:
Мол, случалось быть и Словом. Но в начале. Не сейчас.

январь-декабрь 2005

* * *

За четверть часа до весны я ехала в метро.
Вагон качался и гремел, то полон был, то пуст.
Как в том, важнейшем из искусств, поспешно и пестро
сменялись спутники мои, не размыкая уст.

А голова моя была то музыкой полна,
То, как воздушный шар, пуста, как чугунок, звонка.
С утра гудела в ней весна, ее полутона,
лазурь, капель, глухая трель трамвайного звонка.

И вот уже совсем весной садилась я в трамвай.
В морозных стеклах ничего не видно было мне.
Но март горел в одном окне, апрель в другом окне,
а май терялся, словно мне положен не был май.

Но я, к трамвайному стеклу прижавшись головой,
ловила отзвук мостовой, врастала в лязг и звон,
и снег летел со всех сторон, и сумрак голубой
густел внутри, и пассажир последний вышел вон.

Он шел, он, словно зверь, спешил залечь в своей норе,
а я забылась у окна под треск трамвайных нот,
чтоб, февралем переболев, в трезвящем январе
прийти в себя, когда трамвай обратно повернёт.

15-18 марта 2006

Алекс Тарн

ПЕПЕЛ

Журнальный вариант

ГЛАВА I

«А вот я тебя!..» – Берл сильно гребанул руками, для большей грозности задудев в дыхательную трубку. Но крупная серая рыбина с темными пятнышками по бокам лишь лениво шевельнула хвостом и сразу разорвала дистанцию. Ах ты, черт, ну никак не пугается... Рыба-шар, в просторечии именуемая «абу-напха», имеет обыкновение сильно раздуваться в случае опасности. Но Берл, похоже, не внушал ей особых опасений. То ли дело смуглые бедуинские подростки, вооруженные сетью и блестящими острыми гарпунами. Этих любой абу-напха боится пуще смерти, что, собственно, и является причиной охоты: убитые на пике ужаса и размеров рыбины высушиваются и продаются туристам в качестве экзотических абажуров.

«Дурак ты, бижу, – разочарованно думал Берл, оставив в покое неустрашимого абу-напху и медленно дрейфуя вдоль края коралловой стенки. – Кого не надо боишься, а меня игнорируешь...»

Он фыркнул на собственное легкомыслие:

«Как же, как же, легко тебе говорить, из тебя-то абажуры не делают».

«Гм... потому и не делают, что я от страха не раздуваюсь!»

«А вот если бы делали, то еще как бы раздувался... Вот ведь какой заколдованный круг получается».

Как и всегда под водой, он испытывал необыкновенное чувство, близкое к восторгу и одновременно глубокий покой и уравновешенность. Если бы можно было так и жить, превратившись в рыбу и неторопливо плавать на своем участке рифа, любуясь неимоверными красками подводного царства!

Он успел углядеть раскрытую зубастую пасть, высунувшуюся из кораллового грота, и нырнул – как раз, чтобы оказаться нос к носу с небольшой мурены. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза: Берл с задорным выражением забияки, ищущего приключений на чужой танцплощадке, мурена – с усталостью измученного насморком больного, поневоле вынужденного дышать исключительно через рот. Наконец рыба решила не связываться и попятилась в грот. Зато налетела стайка старшин в полосатых тельниках, никогда не упускающих возможности поиграть с неуклюжим человеком. Берл, конечно же, не отказал им в этом удовольствии, безуспешно пытаясь дотронуться до вертких маленьких наглецов. У большого анемона он был по собственному не-

досмотру атакован крошечным самцом рыбки-клоуна, который самоотверженно охранял гнездо, спрятанное в колышущихся ядовитых зарослях. Желтенький клоун размером с ладонь отважно наскакивал на многократно превосходящего противника и даже разок ущипнул Берла за голень. Пришлось спешно ретироваться.

– Понял? – Берл оглянулся на абу-напху. – Вот как надо, бижу...

Прямо под ним большая рыба-попугай с меланхоличным видом соскребала питание с коралловой ветки. Хруп-хруп... с такимто клювом, отчего бы и не поскрести... хруп-хруп... Еще ниже, сливаясь со дном, шевелила сумасшедшими глазами рыба-крокодил, на дальней отмели покачивались песчаные угри. Берл взглянул на часы. Уже скоро полчаса – как одна минуточка. Эх... пора выходить. Ради остроты ощущений он еще немного погонялся за коричнево-бело-бежевым лучистым скорпионом, который по ядовитости не уступал самым опасным змеям. Слегка обалдев от такой наглости, рыба сначала удирала, а потом, когда пришла в себя и развернулась, чтобы задать Берлу хорошую трепку, трусливый преследователь немедленно покинул поле боя, отступив в сторону берега. То-то же... скорпион расправил иглы и, вернув себе подобающую солидность, снова завис в неподвижности над фантастическим коралловым ландшафтом.

Берл вышел на берег, с сожалением сменив прохладу морской воды на сухую сорокаградусную синайскую жару. Бедуин в белой галабие сидел под пальмой, колдуя с костерком.

– Что слышно, Селим? – Берл говорил на иврите. – Когда чай будет?

Парень поднял голову от закопченного чайника и улыбнулся чернозубой улыбкой.

– Чай готов, господин. Когда назад поедем?

– Вот чаю попьем и поедем... – Берл присел на корточки. Недолгое израильское присутствие в Синае оставило после себя прекрасные дороги и поголовное знание иврита среди местных бедуинских племен. Первое мало-помалу приходило в негодность, зато второе продолжало цвести пышным цветом, подкрепляемое толпами беспечной израильской молодежи, охочей до синайской расслабухи, роскошного рифа и дешевой травки.

Селим протянул Берлу маленький стаканчик черного бедуинского чая, приторно сладкого, горячего, но на удивление подходящего к сумасшедшей жаре. Берл отхлебнул и замер, глядя сощуренными глазами на синюю рябь моря, на голубоватый саудовский берег напротив и на черный сухогруз, неторопливо продвигающийся на север, в сторону Эйлата. Он вдруг поймал себя на мысли, что мог бы вот так сидеть часами, даже неделями... может, даже всю жизнь. Эта слепящая рябь, под которой плавают несговорчивый абу-напха и храбрый клоун, и прочее все... прочее все, что даже невозможно описать, но главное – знать, что оно там есть. Этот дальний берег, плывущий в слоистом от жары соленом воздухе, эти красные синайские горы за спиной и белый

песок под ногами, и обжигающий чай, и финиковая пальма над головой.

– Налей-ка мне еще, Селим...

– А как же... – улыбается бедуин. – Не хочет ли господин курнуть кой-чего хорошего?

– Нет, бижу, господин не курит. Ты сам-то кури, господин без предрассудков.

– Зачем предрассудков? – возражает щедрый Селим, неправильно истолковав незнакомое слово. – Селим угощает. Кури мою, даром!

Берл вздыхает и закрывает глаза, а под веками мечутся солнечные пятна в прозрачной воде и насморочная мурена, и нахальные старшины, и цветастые рыбы-бабочки в зарослях горгоний.

– Поехали, Селим, дружище. Пора домой, в гостиницу.

А Селим что, Селиму – пожалуйста. Бедуин быстро собирает нехитрое добро: коврик, чай с чайником, где копоть – сантиметровыми слоями, деревянные стойки, дровишки... дорого топливо в пустыне... вот и все – поехали, господин. И садятся они на верблюда, а точнее – на тендер «тойота», любимое средство передвижения в новейшей бедуинской истории. Щелчок ключа в замке зажигания – как щелчок кнута по верблюжьей спине – эй, горбатые, эй, залетные!.. Залетные? Нет, заступные... верблюд ведь не летает, даже не бегает, верблюд ступает... чего, впрочем, не скажешь о ведомой обкуренным Селимом «тойоте». Йалла, вперед, прыг-скок по выбеленной солнцем, пылящей пустыне, в объезд армейского египетского поста, где надо платить бакшиш неизвестно за что сонному солдату в стоптанных шлепанцах, йалла-эй, бедуинская вольница, даабское такси!

Сопровождаемые шлейфом пыли, они миновали вади Гунейн, оставив далеко справа армейский блокпост под египетским флагом. Вот и шоссе, и белые дома Да́аба, и длинные вечерние тени разноцветных синайских гор, и свежий ветер, шепчущий на языке пальм. Берл расплатился с бедуином за дневную прогулку, кивнул портье-суданцу, поднялся в номер. Тепловатый душ, упругая кожа... а под веками закрытых глаз – колышущиеся прозрачные анемоны и рыбы-бабочки, и лучистый скорпион, висящий над ярко-зеленым кустом коралла, именуемого "латук" за свою салатную внешность.

Обернувшись полотенцем, Берл сел на диван и принялся гипнотизировать телефон. Условленное время звонка – с шести до семи, утром и вечером, дважды в сутки. Но телефон упрямо молчал, не желая поддаваться гипнозу, молчал вот уже четвертые сутки. Стрелка настенных часов дерулась и, издевательски помедлив, перевалила на восьмой час. Теперь уже все. Сегодня уже не позвонят. Может быть, завтра утром... А собственно говоря, чего расстраиваться? В кои веки отдыхаешь. Расслабься, парень, поплавай, позагорай... чем плохо? На кой черт тебе сдался этот звонок? Ну, как... А вот так!

Берл вздохнул. Он просто давно уже отвык сидеть без дела. Вообще-то и здесь, на берегу синайской Ривьеры, в туристском поселке Дааб, он оказался по делу. Сюда должен был приехать некий серьезный мужчина по имени Збейди, приехать за деньгами. Деньги, проходящие через Збейди, имели неприятную тенденцию превращаться затем в оружие, а оружие – в кровь израильтян. Такая вот цепочка. Конечно, можно было бы заняться самим Збейди, но это не выглядело разумным. Сладко место пусто не бывает. Не успеешь оглянуться – придет другой, пока неизвестный, поди вычисляй его, выцеливай, выслеживай. Нет, цепочку следовало обрубить у самой стенки, с первого звена. Надо было найти источник денег, найти и закупорить. Террор может обойтись без оружия, без обученных исполнителей, без сильных лидеров, без всего, кроме денег. Без денег террор бессилен.

А деньги шли откуда-то из Европы, а может быть, через Европу, чтобы избавить их от слишком явного запаха арабской нефти, контрабандного табака, азиатского опийного мака. В самом деле, отчего бы им не пахнуть французскими духами, бельгийским шоколадом или добрым немецким пивом? Так или иначе, от Берла требовался изрядный нюх, чтобы определить настоящий источник. И старина Збейди, денежный курьер Исламского Джихада и Братьев-мусульман, должен был послужить первой приманкой в этой большой охоте. По надежной информации, очередную передачу планировали произвести именно здесь, в Да́абе, где естественность контакта европейских туристов с местными бедуинами и приезжими арабами представляла собой идеальное прикрытие. Проблема для Берла заключалась в том, что время передачи было известно только ориентировочно: плюс-минус неделя. Теперь он сидел на даабском берегу в вынужденном бездействии, ожидая телефонного инструктажа с более точными координатами курьера, которые предполагалось выяснить только в самый последний момент.

– Охо-хо... – Берл потянулся и стряхнул с себя невеселые мысли. Отдыхай, парень, завтра непременно позвонят. Было уже темно, когда он вышел из гостиницы. Единственная улочка Да́аба сияла ярко освещенными лавками. Медная чеканка, дешевые украшения, бедуинские ковры соседствовали с непременными китайскими безделушками и «настоящими» золотыми Роллексами по десять долларов штука. Праздная расслабленная толпа медленно фланировала в сторону моря, туда, где уже поджидали гостей десятки ресторанов, выставив на подносах у входа свежевыловленную рыбу – выбирай, не хочу. Но у продавцов имелись на этот счет другие планы.

– А вот – кому ковры ручной работы?

– Эй, красивая, заходи, бусы в подарок!

– Часы! Часы!

– Ах, какая у тебя дочка! Продай за сто верблюдов! Нет? Двести! Нет? Ну, тогда купи что-нибудь...

– Зайди ко мне, куда торопишься? Здесь не торопятся, разве не знаешь?

И люди, улыбаясь, заходят в лавки, потому что здесь и вправду никто никуда не торопится, а навстречу улыбается от кальяна толстый усатый хозяин, и шустрые помощнички, пересыпая каждый шаг шутками-прибаутками, вертятся вокруг, расстилая волшебные ткани, снимая со стен ковры-самолеты, прилетевшие сюда прямиком из тысячи и одной ночи. А эта, тысяча вторая, лениво лежит на боку, упираясь голыми пятками в темную гряду синайских гор, свесив в море черные бедуинские косы, и тоже не торопится ровным счетом никуда; да и само море, заразившись общей неторопливостью, успокаивается, и шепчет что-то берегу, и лижет его губы нежным соленым языком.

Берл медленно продвигался к бухте, с переменным успехом уклоняясь от приказчичьего гостеприимства. На полдороге он позаимствовал безмятежную улыбку у красавицы-блондинки, которая самозабвенно булькала кальяном у входа в одну из лавчонок, и теперь эта улыбка не слезала с его собственных губ, делая его похожим на всех обитателей синайского земного рая, временных и постоянных. И потом, возлежа на подушках рыбного ресторана у самой кромки воды, глядя на бухту, расцвеченную гирляндами разноцветных фонариков, терпеливо ожидая заказанный полтора часа назад акулий стейк, Берл в очередной раз удивился своей абсолютной расслабленности, поразительному душевному равновесию, которое Синай непостижимым образом внушает любому человеку, попадающему в колдовское поле его тяготения. Но где же еда, черт возьми?

Повинуясь его поднятой руке, подошел официант.

– Что угодно господину?

Берл заставил себя открыть рот. В тотальной расслабухе души и организма даже язык у него насилу ворочался.

– Господин интересуется судьбой акулы, – сказал он. – Скоро будет два часа, как вы приняли у меня заказ. Вы что, уговариваете рыбу вырезать себе стейк добровольно?

Официант рассмеялся, показывая, что юмор клиента оценен должным образом.

– Стейк будет готов через несколько минут. У нас маленький ресторан, господин. Мы начинаем готовить только после заказа и готовим с душой, не торопясь. В Да́абе вообще никто не торопится – разве господин еще этого не понял?

Берл примирительно кивнул, соглашаясь, и откинулся на подушки. Перед ним на низком столике горела стеариновая свеча в подсвечнике, сооруженном из обрезанной сверху пластиковой бутылки из-под колы. Над головой между крупными звездами покачивалась гирлянда разноцветных лампочек. Море хрупало галькой прямо под подушкой. Хруп-хруп... интересно, что сейчас поделывает рыба-попугай? Дрыхнет, небось, без задних плавников. И никуда не торопится, заметьте. В Да́абе вообще никто никуда не торопится. Господин понял.

* * *

Звонок раздался ровно в шесть утра, как раз, когда Берл брился. Он неловко подхватил трубку, пачкая ее в белой бритвенной пене.

– Алло!

Голос в трубке был женским и, в противоположность даабской традиции, ужасно торопливым.

– Алло! Коби? – она не стала ждать ответа и затараторила без передышки. – Я так по тебе соскучилась, мамми! Когда же ты вернешься к своей мамочке?

Берл поморщился. Мамми... к мамочке... Могли бы придумать что-нибудь менее пошлое.

– Что ты там поделываешь? – продолжала бойкая собеседница. – Небось ведь, трахаешь всех подряд, гангстер ты эдакий. Ну подожди, вернешься, я задам тебе трепку! Шучу, мамми, шучу...

– Гм... – вставил Берл, не зная, протестовать или смеяться.

– А пока я шлю тебе надзирательницу, понял? – трубка противно захихикала. – Мою подружку Лиору со своим хахалем. Уж она-то за тобой присмотрит! Шучу, мамми, шучу...

– Здóрово! – сказал Берл с фальшивым энтузиазмом. – А когда они приезжают?

– Только что выехали из Табы! Она мне звонила, там мобильник еще действует. Взяли какое-то бедуинское такси – знаешь, эти тендеры, как их... Ну ты знаешь... «исузу», что ли... да, да, «исузу». В общем, часика через два будут в Дáабе, встречай!"

– Нет проблем, встречу, – сказал Берл.

– Целую тебя, мамми, – в трубке оглушительно чмокнули. – Смотри, не очень там балуй, мамми! Ах, как все-таки жалко, что я не смогла с тобой выбраться! Бай, мамми! Люблю, люблю, люблю...

– Я тебя тоже, паппи, – ответил Берл со всей чувственностью, на какую только был способен и повесил трубку.

Через четверть часа он уже подходил к площадке, где даабские бедуины ждали заказчиков. Хорошие места для ныряния находились в некотором отдалении от городка, так что, как правило, туристы арендовали тендер вместе с шофером на целый день. Селим бросился к Берлу, радостно улыбаясь.

– Сегодня рано, господин! Куда поедем?

– Да тут, рядом... езжай пока вперед... – неопределенно отвечал Берл.

На выезде из поселка он попросил Селима остановиться.

– Вот что, бижу. Оставь мне машину на весь день, а сам иди домой. Хорошо заплачу.

Селим испуганно замахал руками:

– Нельзя, господин! Запрещено!

Берл молча достал стодолларовую бумажку и расправил на колене. Селим крякнул.

– Нельзя, – неуверенно повторил он. Берл добавил еще сотню.

– Смотри, бижу, ты тут не один такой. Найдутся другие. За двести-то долларов...

– Тебя полиция остановит, – сказал Селим, глядя на доллары.

– Не остановит... – Берл пошуршал бумажками, почти физически ощущая ответный трепет бедуинского сердца. – Ты мне свою куфию одолжишь. Одолжишь ведь, а?.. А впрочем, зачем одалживать? Давай-ка я у тебя куплю все чохом: и куфию, и галабию...

Берл достал третью бумажку.

– Когда вернешь? – глухо проговорил Селим.

– Галабию? – переспросил жестокий Берл. – Галабию не верну, ее я насовсем беру... Да не переживай ты, бижу. Сам подумай – ну куда я денусь с твоей «тойотой»? Да и зачем мне она? На сутки всего и беру, завтра здесь же и встретимся, в то же время. Ну?

– Ладно, – сдался бедуин. – Договорились. Ты только особо по кочкам не прыгай, ладно? Задний мост у нее не очень...

Еще не было семи, когда Берл, облаченный в длинную бедуинскую галабию, с белоснежной куфией на голове, припарковал «тойоту» как раз возле перекрестка на въезде в Дааб. Дорога, прямая, как стрела, улетала от поворота на запад и, в два счета преодолев плоскую, как стол, пустошь, вонзалась в красный горный распадок, соединяясь там с транссинайским шоссе. За спиной тянулся грубый глинобитный забор молодежного кемпинга, еще дальше рябило ярко-синее поутру море. Машин проезжало совсем немного: паратройка израильских легковушек, да местные тендеры с открытым кузовом – «тойоты», «мицубиши», «исузу». Последние интересовали Берла особенно. Он не сомневался, что узнает Збейди в лицо. Водители притормаживали на повороте, так что рассмотреть их не составляло никакого труда.

Кондиционер в селимовой машине не работал, да и зачем бедуину столь бесполезная игрушка? Поэтому к моменту, когда «исузу» денежного курьера вынырнула из ущелья, Берл успел основательно прожариться в кабине. Збейди неторопливо въехал на перекресток, скользнул безразличным взглядом по истекающему потом нехарактерному «бедуину» и повернул в поселок. Подождав с десяток секунд, Берл двинулся следом.

На единственной даабской площади по-прежнему кучковались таксисты, поджидая клиентов. Збейди остановился там же, вышел из машины, потянулся, разминая кости после долгой дороги. Берл лезть в гущу не стал, притулился в тенечке неподалеку, оберегая себя от солнца и от излишних осложнений: селимов тендер на площади наверняка многие бы узнали.

Семьями, компаниями, в одиночку туристы подтягивались к стоянке, лениво торговались, переходя от машины к машине. Такса была известна всем и, как правило, не менялась, но торговля входила в местный ритуал в качестве непременного этапа любой сделки или знакомства – что-то вроде рукопожатия. Никто, как всегда, никуда не торопился. Солнца, моря, гор и душевного равновесия здесь хватало на всех. На этом безмятежном фоне резко выделялся, пожалуй, только один белобрысый парень, лет два-

дцати, нервно топчущийся без дела на самом солнцепеке. Он явно кого-то поджидал. Из большой спортивной сумки, небрежно брошенной на залитый маслом асфальт, торчали не уместившиеся целиком внутри ласты. На спине у парня висел кожаный рюкзачок, по всем признакам, достаточно тяжелый. Подходивших предложить свои услуги бедуинов белобрысый встречал с несколько неестественной заинтересованностью, которая, впрочем, немедленно рассеивалась, стоило им обменяться несколькими словами.

Берл ухмыльнулся и посмотрел на Збейди. Тот спокойно покуривал около своего тендера, поглядывал по сторонам, особо внимательно ощупывал взглядом белобрысого, но подходить не торопился.

«Конспиратор... – насмешливо подумал Берл. – Этого белобрысого неврастеника видно из самого Шарм-аш-Шейха. Что у них там, никого получше не нашлось?»

Збейди затоптал сигарету и неторопливо двинулся к парню.

– Эй, ты свободен?

Берл вздрогнул от неожиданности и повернулся. С противоположной стороны кабины, просунув в окошко выбеленную солнцем голову, на него взирала умопомрачительная блондинка в ситцевой распашонке, скупо застегнутой ровно на одну пуговицу. Он сразу узнал ее – та самая, давешняя, курившая кальян у входа в сувенирную лавку, освещая улицу своей медленной улыбкой.

– Э-э... – протянул он, маскируя свое замешательство затруднениями в английском. – Привез клиента. Утром из Табы. Я не отсюда.

Девица рассмеялась: – Мы тоже не отсюда. Нас четверо. Сорок фунтов. Идет?

– Куда? – осторожно спросил Берл, косясь в сторону площади. Збейди и белобрысый уже шли в сторону «исузу».

– Куда, куда... надо же, какой нерешительный попался, – удивилась блондинка. – Куда поедем, наркоманки?

Она обернулась к трем сонным девицам, молча подпирающим забор в двух шагах от машины. Одна из них непонимающе моргнула и равнодушно дернула ртом. Две остальные не отреагировали никак.

– А черт его знает куда, – весело сказала блондинка, возвращаясь к Берлу и наклоняясь совсем низко, отчего распашонка распахнулась еще больше, демонстрируя обе груди одновременно. – Тут везде хорошо. Разве нет, мужчина?

Она повела плечами движением цыганской танцовщицы.

«Хорошо-то хорошо... – подумал Берл. – Жаль, что не ко времени...»

Збейди и парень сели в машину. Пора было отшивать непрошенных клиенток.

– О! Идея! – воскликнула девушка, торжествующе прищелкнув языком. – Пусть судьба решает. И за нас и за тебя. Езжай следом за первой же машиной... хоть за той «исузу». Куда они, туда и мы.

– Шестьдесят, – сказал Берл.

– Сдано! – Она повернулась к своим товаркам и махнула рукой. – Эй, подружки! Полезайте в кузов! Да не забудьте шмотки!

Между собой девушки говорили на немецком.

«Исузу», переваливаясь на выбоинах, выбралась на шоссе и повернула направо. – Ну-у... – разочарованно протянула блондинка. – Вот тебе и судьба – никакой оригинальности. В той стороне только Голубая Дыра. Повезло тебе, парень.

Она свободно устроилась на пассажирском сиденье, закинув на приборный щиток обе загорелые ноги в шлепанцах. Берл молчал, не поддерживая разговор. Ему стоило немалого труда корежить свой английский тяжелым арабским акцентом. Голубая Дыра располагается совсем недалеко от Дáаба – бездонная коралловая яма метров двести в диаметре, одна из главных синайских достопримечательностей. Около Дыры всегда полно народу. Она, как магнитом, притягивает к себе и начинающих аквалангистов, и чайников, вооруженных одной лишь маской и дыхательной трубкой, и глубоководных ныряльщиков, мечтающих добраться до никем еще не покоренных глубин. Эти-то, глубоководные, и гибнут здесь не реже нескольких раз в год. Обычный восторг, внушаемый даабским земным и подводным раем, на больших глубинах подкрепляется азотным опьянением, и ныряльщики просто остаются там, счастливые последним, зато безграничным счастьем.

Берл не любил это место. Где-то там, в коралловых гротах на относительно небольшой шестидесятиметровой глубине остался его армейский приятель Эли Лис. Теперь его имя было нацарапано среди десятков других на импровизированных мемориальных досках, раскиданных между духанами с колой и мороженым.

Блондинка рядом вкусно зевнула с подвыванием и потягиванием. Распашонка при этом слетела с последней пуговицы и груди радостно вывалились наружу. Берл вильнул, наскочив колесом на камень.

Вредная девица захихикала: – Пардон, мужчина. Не хотела тебя шокировать. Давай познакомимся, что ли? Меня зовут Клара, я из Дортмунда. Знаешь, где это?

Берл мрачно помотал головой из стороны в сторону. Грунтовая дорога, извивающаяся между горами и морем, и так была непростой, а тут еще эта дура в распашонке... Зря он, наверное, взял с собой эту прикольную команду. Хотя, с другой стороны, с тремя девицами в кузове и одной в кабине его «тойота» не вызывает никаких подозрений. Обычное такси, везущее обычных клиентов по обычному маршруту. «Исузу» неторопливо переваливалась впереди с камня на камень.

– Германия, – сказала Клара. – Слышал о Германии? Тоже нет? Ну ты даешь... хотя; это не главное. Мы любим мужчин не за знание географии... – Она расхохоталась собственной шутке. – А в кузове та, которая рыжая, это Фанни, моя подружка. А как двух других обкуренных шлюх зовут, я без понятия. Мы их вчера с Фанькой на берегу подобрали. Откуда-то из Швеции. Знаешь, где Швеция?

Берл мстительно кивнул. Они проехали под узкой скальной аркой, сопровождаемой крутым поворотом, причем непривычный к подобной автомобильной эквилибристике Берл едва не опрокинул тендер в море. Он ожидал услышать визг из кузова, но даже это приключение не вывело его пассажирок из счастливого состояния наркотической безмятежности. Сразу после арки перед ними открылась широкая дуга бухты, тростниковые навесы с набросанными под них подушками, люди, машины, груды аквалангов... и в десяти метрах от берега – ярко-синее, почти круглое пятно, Голубая Дыра.

Берл остановил свой тендер вплотную к «исузу». Девицы выпрыгнули из кузова, вышел и он. Збейди и белобрысый прощались в шаге от него.

– Ну, хорошо тебе отдохнуть, – говорил Збейди, протягивая руку. – Ты где остановился?

– Отель «Ренессанс», – отвечал белобрысый. – Двести пятый номер.

Сумку он держал в руке. Кожаный рюкзачок остался в тендере.

«Боже... – подумал Берл, помогая Кларе выбраться из кабины. – Где они такого идиота раздобыли? Скорее всего, просто одноразовый мальчик. Соблазнили бесплатной поездкой, а теперь...»

– Бай! – Клара потрепала его по щеке. – Подваливай часикам к трем, географ!

Как же, разбежалась... Пора было приниматься за дело. Он вынул из кабины пластиковую бутылку с водой и выронил, да так неловко, что она выскользнула из рук и покатилась под збейдовский тендер. Берл полез под машину, по дороге припоминая все известные ему арабские ругательства. Набралось много. Когда он распрямился, белобрысый уже ушел, а Збейди стоял прямо над ним.

– Что надо? – араб смерил Берла подозрительным взглядом.

– Вот... – Берл показал ему бутылку и расплылся в самой идиотской улыбке, на какую только был способен. Збейди пожал плечами и отвернулся.

Ну и чудненько... Берл вернулся в кабину и тронул «тойоту» с места. По его расчетам, Збейди должен был немедленно покинуть Дáаб. Он уже получил то, ради чего приехал. А раз так, то разумнее поджидать его теперь на каком-нибудь безлюдном участке единственной дороги, ведущей из поселка в глубь Синая. Где-нибудь уже в горах, но еще до египетского блокпоста, миновать который в таком бедуинском камуфляже у Берла не имелось ни единого шанса. Хотелось также надеяться, что скромный подарочек, оставленный Берлом на передней полуоси «исузу», не слетит от сумасшедшей тряски по этой чертовой грунтовке. Проехав через Дáаб, Берл быстро пересек широкую в этом месте прибрежную равнину и въехал в ущелье. Солнце уже стояло высоко и рассчитывать на тень не приходилось. Найдя подходящий участок с поворотом покруче, Берл развернул тендер и остановился на обочине, молясь только о том, чтобы Збейди не заставил его ждать слишком долго.

СВИДЕТЕЛЬ №1

Хорошо, Ваша честь, я постараюсь вспомнить. Нет, это было уже после Рождества... думаю, где-то в середине января. Ну да, конечно, что это я так путаюсь – ведь Йозеф сам рассказал мне потом. Его арестовали в январе 39-го, и сразу направили к нам, в Дахау. Он был совсем свеженький, из тех, кто еще не научился ходить своими ногами. Что? Нет, Ваша честь, это я так фигурально выражаюсь. В лагере очень трудно выжить, особенно поначалу: слишком много правил, которые надо твердо знать и выполнять автоматически, а иначе вас ждут крупные неприятности. То есть, не вас, Ваша честь, а вообще.

Извините меня за путаную речь – мне ведь не так часто приходится свидетельствовать на столь высоком суде. Так вот, с этими правилами сущая беда, настолько их много. Поэтому свежие заключенные и погибали чаще других. Это ведь только так говорится, Ваша честь, что человек учится на собственных ошибках. В лагере никто вам такой возможности не дает. Ошибка в лагере означает смерть, так что приходится учиться на чужих промахах. И тут уже как повезет: можешь оказаться учеником, а можешь... хе-хе... и учебным пособием. Известно, что любое дело вначале сильно зависит от везения, а лагерь, Ваша честь, в особенности, можете мне поверить! Вот такие гво́здики с колечками...

Но все-таки на одном везении далеко не уедешь. Даже самый удачливый человек не может вечно ходить между капель. Нужно еще и уметь учиться... как бы это вам объяснить?.. Это ведь не уроки в школе, где учитель неделями втолковывает всем вместе и каждому по отдельности таблицу умножения, долдоня по двадцать раз одно и то же, пока самый тупой не запомнит. Тут, в лагере – другое. Тут надо многое уметь... ловить взгляды, видеть самые неприметные жесты, слышать самый быстрый шепоток, чувствовать запах чужого страха под густой вонью своего собственного. Тут никто повторять не станет, не усвоил – пеняй на себя.

Йозеф, слава Богу, умел учиться. Но и повезло ему, конечно, тоже. Я имею в виду: повезло, что я взял его под свою опеку. Скажу без лишней скромности – я к тому времени на лагерных порядках собаку съел. Два с лишним года – не шутка. Сам-то я, Ваша честь, оказался в Дахау после Берлинской Олимпиады. По собственной глупости, должен сказать. На время Игр нацисты разрешили заново открыть в городе гей-бары, ну я и купился. А потом Игры кончились, иностранцы разъехались, а я, дурак, остался у гестапо на карандаше. Такие вот гво́здики с колечками... Что? Аа-а... это у меня присловье такое, Ваша честь.

Евреев в Дахау было сначала не так много – больше всё коммунисты, цыгане, криминал, ну и мы, стосемидесятипятники... Конечно, объясню, пожалуйста. Стосемидесятипятниками нас называли по 175-й статье, запрещающей гомосексуализм. Закон-то давний... правда, до Гитлера особо не применявшийся. Но в 35-м году нацисты к нему такие зубы приделали, что просто гво́здики с

колечками... Обнял кого-нибудь – просто обнял, Ваша честь, и ничего другого – шесть месяцев лагеря. И это ведь только так говорилось «шесть месяцев»... на самом деле, сажали до полного, как они говорили, «излечения». А лечили нацисты по-разному. Вернее, даже не лечили, а искали способы лечения, потому что не получалось. Били, накачивали тестостероном, кастрировали... ага, и такое бывало. Водили к женщинам – проверять, вылечился ли. Был у них дом с цыганками, еврейками и проститутками из криминала – тоже заключенными, понятное дело.

Нет, Ваша честь, меня не лечили, Бог миловал. Понимаете, в подопытные кролики брали только здоровых, для чистоты эксперимента. А я как-то всегда ухитрялся держаться ровно посередке: всегда был среди тех, кто еще годен для работы, но уже не подходит для качественного опыта. Это, скажу я вам, целое искусство. Хе-хе... Сначала я симулировал малярию, а потом и впрямь ею заболел, смешно, правда? У нас там минимум треть от малярии тряслась. Туберкулез, тиф... короче, хватало. Но и болеть надо умеючи – так, чтобы не свалиться с той самой золотой серединной тропки: и в лунатики не попасть, и на опыты не загреметь. Лунатики? Хе-хе... Это, Ваша честь, такие доходяги, которые уже совсем на грани. Их можно по походке отличить: идут, как во сне, еле ноги передвигают, и взгляд у них такой... ну... будто глаза смотрят внутрь, а внутри ничего нету, кроме луны, и это их ужасно удивляет. Таких даже эсэсовцы не трогали, потому что – зачем? Ага, так и ходили. А чего не походить, это ведь недолго. Два дня. Максимум – три. А потом в крематорий.

Как вы понимаете, в лунатики можно было загреметь очень даже просто – ведь лекарств никаких не было... иногда доставали всякими длинными путями, но это редкость, да и опасно. А к эсэсовскому врачу идти не стоило совсем, лучше уж в лунатики – та же верная смерть, только не так больно. В общем, трудно там было удержаться, но я умел, причем умел хорошо. Странно, что приходится гордиться такими вещами. Ну и везение, конечно, и здоровье хорошее, спасибо папе с мамой. Так и тянул до 43-го. Это ж сколько получается?.. – семь лет с лишним. Нет, не освободили, Ваша честь. Забили палками, насмерть. Но тут я тоже изловчился: быстро потерял сознание и умер относительно легко. Да, да, я помню, что мы тут говорим о Йозефе, а не обо мне. Я просто подумал, что эта информация вам тоже не повредит, для общего, так сказать, фона. Чтобы вы поняли, как много Йозеф должен был узнать, чтобы выжить в первый свой месяц в Дахау.

Я уже говорил, что евреи в больших количествах в лагере долго не появлялись. Но после Хрустальной ночи как прорвало. Во второй половине ноября и в несколько последующих месяцев их присылали помногу, сотнями за раз, целыми транспортами. А лагерь-то был не резиновый. Ну сколько туда влезало, даже если считать все дополнительные площадки и внешние команды? Пять тысяч? Шесть? Что-то в этом духе... но уж никак не больше десяти. И вот, представьте себе, что уже людей во все блоки набили

столько, что не то что лечь – встать негде... а этих все везут и везут, везут и везут. Уже и дышать нечем, а их все везут. Ну как к ним после этого прикажете относиться? Я, честно говоря, евреев и так не очень-то жаловал, а тут просто невзлюбил. Ведь большинство болезней в лагере происходят от тесноты, Ваша честь. Теснота, если хотите знать, является главнейшим врагом человечества. Там, где одно человеческое существо об другое трется, неизбежно заводится какая-нибудь зараза: то ли бактерия, то ли вошь. Вши-то точно от трения межчеловеческого происходят, это я сам видел, гвоздики с колечками...

В общем, все их невзлюбили, потому что несли они с собой тесноту, то есть большое неудобство для любого лагерного жителя. И поначалу мы даже радовались, когда наши бонзы – старшие по блокам и капо рабочих команд – над ними измывались. Зачем? Ну как зачем... Чтобы поскорее извести и таким образом вернуть тесноту хотя бы к прежнему уровню, о котором уже в декабре вспоминали, как не о тесноте даже, а наоборот, как об удивительном просторе. Я сказал «поначалу радовались», оттого что потом отношение изменилось. Во-первых, привыкли и к новой тесноте. Вы не представляете, Ваша честь, к каким вещам способен привыкнуть человек... да... А во-вторых, поняли, что вернуть прежние условия не удастся – ведь на место умерших немедленно привозили новых. А у нас, у стосемидесятипятников, имелась еще одна причина, думаю, самая важная.

Дело в том, Ваша честь, что, до приезда евреев, мы были самой униженной кастой в лагере, хуже коммунистов. Нацисты придумали систему – как различать, кто за что сидит. Вообще-то заключенные носили одинаковые полосатые куртки. Но на куртках, прямо на сердце, был нашит треугольник определенного цвета. Политическим, понятно, отвели красный, уголовникам – зеленый, цыганы носили коричневый, антисоциальные элементы – черный... ну и так далее. Так вот, в лагерной грязи треугольники часто замызгивались так, что никто не мог отличить, допустим, «коричневого» цыгана от «красного» коммуниста, или «синего» эмигранта – от «пурпурного» свидетеля Иеговы. Ведь все треугольники были одного и того же размера. И заключенным это очень нравилось, потому что, чем лагерная толпа больше и чем меньше ты из нее выделяешься, тем лучше твои шансы на выживание, чисто статистически.

Я сказал, что все треугольники были одинаковыми. Все, кроме нашего, розового. Треугольник стосемидесятипятников отличался своими заметно бóльшими размерами. Как ни замызгивай, все равно любой эсэсовец уверенно выделит тебя издалека из общей толпы. И только с появлением большого количества евреев с шестиугольной звездой на груди, различие в величине треугольника перестало так сильно бросаться в глаза. Наше несладкое место заняли другие, еще более отверженные, чем мы. До этого ведь вопрос стоял так: большой треугольник или маленький? Теперь же он, вопрос, то есть, изменился самым коренным образом и звучал

совершенно иначе: треугольник или звезда? Таким образом, мы, стосемидесятипятники, как бы вернулись в общую массу, и это не могло не облегчать нашу жизнь.

Более того, чем ближе к тебе находился человек со звездой, тем больше было шансов, что палец блокфюрера или вахтмана укажет именно на него, а не тебя. Если вы, Ваша честь, представите себе работу громоотвода, то именно так это выглядело и в нашем случае, и поэтому те, кто посмышленее и поопытнее, стали обзаводиться такими еврейскими громоотводами. Ну, и я тоже решил не отставать. Йозеф был моим вторым по счету громоотводом; первый, адвокат из Штутгарта, продержался менее трех недель. Да, да, Ваша честь, с адвокатом у меня вышла промашка... хе-хе... и на старуху бывает проруха. Так-то, на глаз, он казался вполне крепеньким, хотя и немолодым. Кто ж мог знать, что у него окажется больное сердце?

После первого неудачного опыта я понял, что надо искать себе кого-нибудь помоложе, ну и... Только я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто я каким-то некрасивым образом использовал своих евреев. Это абсолютно не так, Ваша честь. Речь тут шла исключительно о взаимовыгодном союзе, можно даже сказать, симбиозе. Я честно вносил свою лепту, обучая новичков лагерной премудрости, и еще неизвестно, кто кому в этой ситуации был полезнее. В конце концов, это ведь не я решил, что у них на груди должна быть именно звезда, а не треугольник, как у всех нормальных людей!

Йозеф выглядел совсем мальчиком... нежным мальчиком восемнадцати лет. Наверное, в качестве громоотвода больше подошел бы кто-нибудь погрубее, но уж больно он был красив, прямо Иосиф Прекрасный, да и только. Не подумайте, что между нами возникли какие-то отношения, клянусь вам, нет!.. Боже упаси... да и как это в лагере... но на воле я бы непременно в него влюбился, и не я один. Хе-хе... В общем, вышел я искать громоотвод, а нашел... нет, Ваша честь, не любовь... А впрочем, черт с ним, почему бы не назвать вещи своими именами? Конечно, это была безнадежная любовь, без шансов на то, что когда-нибудь, где-нибудь... Но, Ваша честь, разве можно наказывать за фантазии, когда они надежно похоронены глубоко-глубоко в голове? За фантазии о чистом и светлом чувстве между двумя людьми, особенно, когда фантазируешь тайком, крепко закрыв глаза, чтобы не выдать себя даже взглядом... и лежа при этом на кишащих вшами тифозных нарах концлагерного блока, среди крысиного визга и сумасшедшего бормотания лунатиков? Разве это преступление, Ваша честь?.. Можно мне воды?

Спасибо. Это было абсолютно бескорыстное чувство, Ваша честь. Наша любовь всегда бескорыстна... я имею в виду нас, хе-хе... стосемидесятипятников. У нас нету этого вечного перетягивания каната: кто из двоих главнее?.. кто кого подомнет?.. и так далее. Мы просто... да-да, извините, я опять отклонился от темы. Вернее, не так уж я и отклонился, потому что хотел сказать, что

очень к нему привязался, к Йозефу. Если бы можно было поменяться с ним нашивками, я бы, поверьте, сделал это с радостью. Я был бы просто счастлив, Ваша честь, навесить на себя его проклятую звезду, а ему отдать свой проклятый треугольник. Точно так же, как я был счастлив, когда его освободили, хотя и знал, что мы расстаемся, вернее всего, навсегда.

Он был нежный мальчик из профессорской семьи. Папаша у него ходил в героях первой мировой войны, дважды раненый, весь в медальках и орденах. Всю жизнь гордился тем, что защищал родную Германию. Это-то их и сгубило. Когда в 33-м году нацисты провели закон о гражданской службе, всех неарийцев стали выкидывать с работы, и из университетов тоже. Йозефов папаша, не то физик, не то химик, изобретал что-то взрывающееся... а может, стреляющее... короче, деталей я не помню. Помогал своей стране вооружаться, чтобы смыть пятно Версальского позора. Хе-хе...

Йозеф говорил, что мать сразу сказала, что надо бежать, пока еще есть такая возможность. Но папаша отказался. Он, видите ли, верил в здравый смысл и духовную чистоту немецкого народа, старый козел... извините, Ваша честь, сорвалось... Тем более, вскоре выяснилось, что выгоняют не всех. Ветераны войны продолжали работать на прежних местах, даже если им не выпало такое счастье родиться арийцами. Конечно, папаша узрел в этом лишнее подтверждение своей правоты. Из университета его все-таки выперли, правда, только через три года, после того, как нацисты отменили последние поблажки для неарийцев. Но и тут господин профессор отказывался верить своим глазам. Не зря у нас говорят: самый упрямый мул – еврейский. Так вот и получилось, что, когда он, наконец, взялся за ум, бежать было некуда. Во-первых, власти требовали заплатить огромный налог, а денежек-то после двух лет безработицы уже не хватало. А во-вторых, никто теперь не давал виз. Ни Америка, ни Англия, ни Швейцария, ни Франция... никто. Никто, Ваша честь, не хотел моего прекрасного Йозефа. Кроме, конечно, меня и нацистов.

Когда их арестовывали, отец сказал Йозефу, чтобы тот не волновался – он позвонит своему фронтовому другу в Берлин, и все устроится. «Не бойся, Йоселе, нас сразу же освободят! Это ошибка!» – кричал он вслед своему сыну, пока гестаповец не стукнул его хорошенько по глупой профессорской плеши. Нет, Ваша честь, я не злорадствую, мне просто очень обидно за моего бедного несмышленого Йозефа. Мальчик так верил отцу... прямо-таки боготворил его. «Вот увидишь, Карузо», – говорил он мне... Карузо – это моя кличка, Ваша честь. Дело в том, что я просто обожал петь, а слухом меня Бог обидел, причем очень сильно, вот и прозвали меня так – Карузо. Смешно, правда?

«Вот увидишь, Карузо, – говорил он мне. – Не пройдет и недели, как я отсюда выйду. Знал бы ты, какие у папы друзья в Берлине!»

Ага, как же... для того, чтобы выйти оттуда, требовались, как минимум, две вещи: деньги и виза, а у них не было ни того, ни другого.

Я, конечно, изо всех сил старался поддерживать парня, особенно, когда он уже разобрал, что к чему, и начал падать духом. «Не вешай носа, Йос! – так я его называл, Йос. – Папаша вот-вот вызволит тебя из этой вонючей ямы, и ты должен беречь себя, чтобы целехоньким предстать пред его светлые очи!»

Хе-хе... гво́здики с колечками...

Беречь... легко сказать, Ваша честь, да трудно сделать. Работы у нас тогда были такие: щебеночный карьер, осушка канав и слесарная мастерская. В карьере он бы долго не протянул, это точно. Тут молодой, не молодой – не столь важно; все решает ухватка. Если умеешь за тачку ухватиться – протянешь несколько месяцев, а там, глядишь, и соскочишь на какую другую работенку. А не умеешь – пиши пропало. В полдня руки-ноги собьешь, а назавтра уже спотыкаться начинаешь, тачки ронять... а где тачку уронил, там и капо с палкой, и вахтман с хлыстом. Бывало, люди за неделю до лунатиков доходили. И паренек мой дошел бы... с его-то руками да за тачку... хе-хе...

Канавы тоже не годились. Там, хоть и попроще, но уж больно нездорово: вечно мокрый с головы до ног, а одежды-то никакой. Вот тебе и малярия с пневмонией... Так или иначе, оставалась одна слесарка, гво́здики с колечками. Тоже несладко – напильником по четырнадцать часов скрежетать, но, по крайней мере, в тепле и под крышей. Правда, была нешуточная опасность и в слесарке – там особенно следили за нормой. Не выработал норму – карцер. А карцер, Ваша честь, это такое место, рядом с которым лагерный барак кажется президентскими апартаментами в отеле «Эксельсиор». Каменный мешок, где сидели без света, без воздуха и без еды, зато в цепях и в собственных экскрементах. Только самые крепкие, выйдя оттуда, не сваливались в лунатики. Нет, сам я не попадал. Я ж вам говорил, что в лагере выживает только тот, кто учится на чужих ошибках.

Лично я работал в то время в этой самой слесарке и с нормой справлялся легко: так уж получилось, что есть у меня эта ловкость в руках, хватка, то есть. А до этого и с тачкой управлялся лучше всех, скажу, не хвастаясь. Так что, если приналечь, то можно было и за себя отработать, и Йозефу немного помочь. В общем, стал я добиваться, чтобы его в слесарку определили. Да... ну и... добился. Как? А как чего-то добиваются в лагере? – Платишь кому надо и получаешь что надо. Что? Чем платишь?.. Ну... Конечно, мог бы я вам сейчас сказать, что были у меня, как и у всякого опытного заключенного, притырены тут и там всякие заначки на черный день. И ведь действительно были заначки: и денежек немного, и сигареты – лагерная валюта, и лекарства кое-какие, и даже ампула морфия, выменянная у лазаретского медбрата за губную гармошку. Мог бы сказать... но как соврать столь высокому суду, Ваша честь? Всех моих сокровищ не хватило бы и на половину требуемой взятки. Так что пришлось мне заплатить иначе.

У стосемидесятипятника, Ваша честь, всегда есть, чем заплатить, если очень-очень надо... А я так хотел, чтобы паренек уцелел.

«Ничего, Карузо, – сказал я себе. – Потерпи, а потом, на небесах, этот грех зачтется тебе, как благо».

Самое смешное, что так оно и случилось. Натерпеться-то я натерпелся, это да... но по-настоящему опытный человек... Что? Что такое по-настоящему опытный? Ну, это просто, Ваша честь. По-настоящему – это значит в науке выживания. Любой другой опыт – не настоящий. Я так думаю. Вернее, так меня учит мой собственный настоящий опыт, гвоздики с колечками. Так вот, по-настоящему опытный человек знает, что он действительно сотворен из глины, но подобен Богу.

А практически это означает такую интересную вещь. Неважно, что делают с твоим телом, потому что это всего-навсего глина. Пусть себе мнут и давят, как угодно, лишь бы не отрывали от него куски, лишь бы потом можно было аккуратненько слепить себя заново. Но пока они это делают с глиной, ты должен обязательно помнить о своей богоподобности. А Бог, он ведь что сделал? – Сотворил этот мир, будь он прок... извините, Ваша честь, это меня куда-то не туда занесло. Я всего-то и хотел сказать, что в такие моменты нужно сотворить себе отдельный мир, но не такой, где гнут и корежат твою глину, а другой, замечательно красивый и очень удобный для повседневной человеческой жизни... и просто жить в нем, вот и все.

А терпение всегда идет в зачет, особенно бескорыстное... впрочем, это я уже говорил. Кто-то может сказать, что во всем этом деле была у меня своя, личная корысть, но видит Бог, это не так. Конечно, потом, когда мы начали вместе работать бок о бок в лагерной слесарке, я был счастлив, и поэтому вроде бы действительно выходит корысть, но, с другой стороны, это и не корысть вовсе – ведь я был счастлив только тем, что уберег его, Йозефа. Хотя, опять же.... в общем, не знаю, не знаю... совсем я с этим запутался, но вы-то уж точно разберетесь, правда ведь, Ваша честь? Потому что, если не вы, то кто же тогда разберется?

А счастье было. Да, да. Это кажется невероятным, но я был необыкновенно счастлив в той темной слесарке, посередине концлагеря, вжикая напильником рядом с моим мальчуганом. Я спас его от смерти с самого начала. Я спасал его от смерти каждый божий день, проводя по единственно верным тропинкам, подбрасывая недостающие до нормы детали, запихивая в спасительную толпу в моменты опасности. Я был его проводником в аду, как Вергилий для Данте. Грех сказать, но временами я благодарил Бога за то, что он устроил мне эту удивительную декорацию: Гитлера, нацистов, Дахау, Хрустальную ночь и упрямого папашу-профессора. Ведь не случись этого, не случилось бы и самых счастливых недель в моей жизни.

Сначала я смотрел на него, на его чистый профиль, склоненный над тисками, на его тонкие руки, сжимающие напильник, на пушистые ресницы, забавно вздрагивающие при каждом усилии. Я смотрел осторожно, вовремя отворачиваясь, чтобы не смутить и не причинить ему лишнего неудобства. А потом мне уже не требова-

лось смотреть прямо – я видел его и так, самым краешком глаза, боковым зрением, как собака. Я видел его даже затылком, спиною, локтем, чем угодно. Скорее всего, я видел его всем своим существом, Ваша честь, всем телом... по-моему, недавно я назвал тело глиной? – так вот, я видел его всей своей глиной, вернее, его присутствие делало мою глину зрячей. Зрячей и счастливой, да простит меня Ваша честь за неуместную высокопарность. Просто я не знаю, как выразить это по-другому.

Он говорил: «Карузо, без тебя я не выжил бы здесь и дня». И это была сущая правда, как сказать «солнце восходит на востоке» или «эсэсовец не бывает добрым». Но тем не менее, я попадал прямиком на седьмое небо, стоило мне только услышать от него эти слова. Йозеф часто рассказывал мне о своей семье, о том, кем он хотел стать и где учиться, пока не выяснилось, что все эти планы не подходят для нынешней Германии. Папаша толкал его на свою химию или физику, в Геттингенский университет, где сам он когда-то учился у каких-то знаменитостей. А мальчика тянуло к музыке, но он и думать не мог ослушаться своего упрямого родителя. Йозеф как-то сказал мне, что обрадовался запрету на поступление в университеты, потому что избавился таким образом от нелюбимого дела. Ну не смешно ли, Ваша честь? Если я чему-то и научился у Йозефа, так это чисто еврейской манере находить положительные стороны даже в самой что ни на есть черноте.

Зато папашу-профессора я прямо-таки возненавидел. Думаю, эта ненависть происходила от ревности – уж больно Йозеф его боготворил. Часто я не мог удержаться и отпускал разные ядовитые замечания по папашиному адресу, на что Йозеф всякий раз произносил пылкую защитительную речь. При этом он частенько так увлекался, что прекращал работать, и мне приходилось следить в три глаза, чтобы капо, не дай Бог, не заметил. Каждый такой перерыв добавлял мне седых волос и пару дополнительных уголков к моей и без того большой норме, но овчинка стоила выделки. Как он был красив, мой Иосиф Прекрасный! Как сладко лился его голос прямиком в мое замирающее от любви сердце!

Я упомянул, что он был музыкален необыкновенно... а может, и обыкновенно, не знаю, не мне судить. Мне все в нем казалось необыкновенным. Одно я могу вам сказать, Ваша честь: Йозеф мог напеть любую арию, что из Верди, что из Вагнера, а «Лоэнгрина» так и просто знал наизусть, всю оперу, до последнего звука. Каждое утро в слесарке начиналось у нас с того, что мы выбирали сегодняшнюю программу: оперу, состав исполнителей и даже дирижера. Ведь Йозеф мог изображать разные манеры и темп исполнения. А потом он тихонько напевал мне замечательные спектакли. Ах, Ваша честь! Любой скажет вам, что Дахау был адом на земле. Но для меня он стал раем небесным... можно ли такое представить?

А потом настал день, когда все кончилось. Видимо, Господь посчитал, что невозможно давать одному человеку так много счастья в течение столь долгого времени. Но я на Него за это не в

обиде, Ваша честь: в конце концов, что-то должно ведь достаться и остальному человечеству. Да и вообще, я очень благодарен Всевышнему за небольшую сделку, которую мы с Ним заключили немного позже. Но обо всем по порядку. В тот день мы выбрали «Лоэнгрина». Там есть такое чудесная сцена из третьего действия, когда Лоэнгрин и Эльза остаются вдвоем, и он поет:

Приди ко мне, моя отрада,
Прижмись скорей к моей груди!
Твой взор сияет мне наградой,
Мой чудный сон, не уходи!

Гм... Извините, Ваша честь... Теперь вы понимаете, отчего меня прозвали «Карузо»... Поверьте, в моей душе эта волшебная ария звучит без малейшей фальши, с удивительной чистотой и силой. Просто поразительно, как это, выходя наружу, она превращается в такой ужасающе фальшивый скрежет? Но, знаете, если уж Создатель хочет потешить свое тонкое чувство юмора, то пускай смеется над нами только таким образом... В общем, это мое любимое место. Оттого-то я и потерял свою прославленную бдительность, всего на пару минуток, на пару минуток. А у Йозефа ее и вовсе никогда не было. Он уже начал за Эльзу: «О, нет! Я безутешна!»... и тут, сквозь вжиканье напильников мы услышали характерное поскрипывание.

У эсэсовских сапог есть особый звук, Ваша честь, когда их обладатель задумчиво покачивается с пятки на носок, прикидывая, убить тебя тут же, на месте, или прежде помучить. Я обернулся и понял, что произошло непоправимое. Прямо за нашими спинами стоял господин Штайгер, лагерфюрер Дахау собственной персоной. Лагерфюрер, Ваша честь, отвечает в концлагере за дисциплину. В отличие от большинства своих коллег, бывших садистами по призванию, Штайгер был им еще и по должности. За плечом Штайгера виднелся наш капо, зажмуривший глаза от ужаса, как суслик перед надвигающейся грозой. Во всей слесарке уже наступила мертвая тишина, и только Йозеф, как ополоумевший соловей, продолжал выводить эльзину руладу. Это длилось бесконечно, но наконец и он понял, что происходит что-то неладное.

– Так-так, – бесстрастно сказал Штайгер. – Дерьмовый жидовский наглец. Марает Вагнера. Германскую гордость. Германскую честь. Своим поганым жидовским ртом.

Он всегда говорил так – короткими рублеными фразами. Они шелестели в наших ушах, как нож гильотины, а точки падали, как удар, как отрубленная голова в корзину.

– Это Вагнер, – сказал Штайгер. – А это жид. Ты что, не понимаешь разницу?

Он обращался к Йозефу, а тот стоял напротив него с трясущимися губами, белый как полотно.

– Я... я... извините... – пробормотал он.

– Если собака пачкает, собаку учат, – сказал Штайгер и обернулся к капо. – Положите его сюда, – он указал на верстак.

«Ты глина, – сказал я себе. – Ты глина». Но это не помогло, Ваша честь, потому что теперь речь шла не о моем теле, а о Йозефе, о Йозефе, который был мне дороже всего, дороже всех сокровищ в мире и уж, конечно, дороже моей собственной жизни. Если бы это могло помочь, я бы точно бросился бы на Штайгера; я бы задушил его, я бы загрыз его, я бы рвал его на куски и жрал бы их сырыми, лишь бы только спасти моего мальчика от этой гадины. Но, к несчастью, любое сопротивление означало немедленную смерть всех присутствующих, а значит, и Йозефа тоже. Единственный шанс заключался в терпении, Ваша честь, и я терпел.

Йозефа положили на верстак. Штайгер взял в руки напильник.

– Пой, – сказал он. – Сейчас ты поймешь, что Вагнер несовместим с жидами. Пой!!

Йозеф запел. Даже тогда, еле живой от страха, он пел, не фальшивя. Штайгер ударил его напильником в рот. Я отвернулся, Ваша честь, я не мог больше смотреть. Думаю, что сердце мое не разорвалось только потому, что Йозефу могла понадобиться помощь. Я слышал звуки ударов и голос Штайгера.

– Вместе с зубами! – кричал он. – Я вобью в тебя твою наглость вместе с зубами! Пой! Пой!

Потом раздался звон напильника о каменный пол слесарки, и я посмотрел. Йозеф лежал на верстаке с окровавленным ртом, с безумными глазами, но живой! Живой! Штайгер поправил воротничок и пошел к выходу. Неужели пронесло? Однако я рано радовался. На пороге лагерфюрер остановился и обернулся к капо:

– На баум его! Пока не сдохнет.

Я почувствовал, как земля поплыла у меня под ногами. Баум, Ваша честь, это такой столб, на который у нас подвешивали провинившихся заключенных. Связывали руки за спиной, потом цепляли за запястья и, выворачивая плечи, вздергивали на баум, как на дыбу. Боль жуткая, такая, что люди даже кричат как-то особому, как-то блеют будто, а не кричат. А потом перестают и блеять, просто впадают в безумие.

Страшнее пытки люди не придумали за всю историю, Ваша честь, а уж на что способно изобретательное человеческое воображение, вам и без меня известно. Дыба ужасна особенно тем, что не дает умереть быстро. Ни тебе открытых ран, ни тебе воспалений – ничего такого, что помогло бы уплыть в бесчувствие, убежать в смерть. Одна только длящаяся боль, достаточно сильная, чтобы свести с ума, но недостаточная для потери сознания. Даже несколько секунд на бауме кажутся вечностью. Подумайте об этом, Ваша честь, и вы поймете, что означал для Йозефа и для меня приговор Штайгера – «пока не сдохнет». И за что?! За что?! Что он такого совершил, этот мальчик, чтобы заслужить столь ужасный конец, столь неимоверные страдания?!

Конечно, Ваша честь, я не адресую этот вопрос Штайгеру. Нет-нет, я не настолько наивен – эсэсовцам никогда не требовалась

причина. Я спрашиваю Его, Господа Бога. Даже если предположить, что Йозеф самолично распял Господнего Сына на кресте, ага, самолично, Ваша честь, вот этими своими тонкими руками музыканта и профессорского сынка... даже если поверить в это – все равно тяжесть подобной смерти тысячекратно перевешивала любые крестные муки Господа нашего Иисуса, прости меня, Боже, и помилуй, прости и помилуй, прости и помилуй...

Извините... даже сейчас я схожу с ума, стоит мне вспомнить это штайгеровское «пока не сдохнет» и ухмыляющегося капо, и безумные глаза моего мальчика, распростертого на верстаке... а ведь прошло столько лет, Ваша честь, столько лет! Можете себе представить, что происходило со мною тогда. Я никогда не забуду того ужасного ступора, в который я впал: что-то вроде столбняка, из тех, что сковывает вас в разгар ночного кошмара, когда все ваше существо требует немедленного действия – иначе не спастись – и в то же время вы не в состоянии пошевелить даже пальцем. Другие заключенные помогли Йозефу слезть с верстака и повели его к водопроводному крану – промыть рот, а я все стоял без движения, как истукан.

Минуты тянулись и летели – мучительно медленно и мучительно быстро, опять же, как это бывает только в страшном сне. Штайгер был слишком важной шишкой, чтобы собственноручно волочить на баум проштрафившегося заключенного. Поэтому для исполнения приговора наш капо ждал коммандфюрера... так, Ваша честь, называется эсэсовец, который поставлен над каждой рабочей командой. Йозеф там и скорчился, где его оставили – на полу, около крана, а остальным приказали вернуться к работе. Видимо, я продолжал стоять без движения, потому что капо врезал мне дубинкой пониже спины. Я автоматически взял в руки напильник и начал вжикать им по металлу. Странно, но именно эта привычная последовательность действий вывела меня из ступора. И что, вы думаете, что я начал делать, Ваша честь?.. Ничего себе! Как вы догадались? Аа-а... да, я действительно частенько поминаю Бога... с того самого случая. Но в общем, так или иначе, вы правы – я начал молиться.

Я предложил Ему сделку.

«Боже! – сказал я. – Мне ничего не понятно в созданном Тобой мире. Если Ты добр, то зачем создал ад, Штайгера и Дахау? Если же Ты зол, то зачем даровал мне Йозефа и трехмесячное счастье в самой сердцевине своего ада? Как видишь, я не разбираюсь ни в прошлом, которое уже случилось, ни в настоящем, которое торчит передо мною сейчас этой зажатой в тисках деталью и стонет в углу окровавленным ртом моего мальчика. Что уже тогда говорить о будущем? Темны для меня Твои планы и намерения, Господи. Может быть, Ты хочешь именно Йозефа, а может быть, наоборот, тебе сойдет любая душа, даже такая бестолковая, как моя. Возьми меня вместо него, Господи! Возьми меня! Я обещаю Тебе все... все... все, что обещал бы, если бы только знал, что Тебе нужно. Вот Тебе карт бланш, Господи, пустой лист с моей подпи-

сью внизу – заполни сам, напиши все, что пожелаешь; клянусь, не пикну даже единым писком, все приму с радостью и послушанием. Только спаси его, Господи, спаси его!»

Так я молился, Ваша честь, примерно такими словами, только намного горячей. А поскольку Бог, по своему обыкновению, молчал, как рыба, то мне пришлось озаботиться более приземленным вариантом. Под моим вжикающим напильником быстро формировалась острая полосочка металла – заточка, милосердное орудие йозефового спасения. Я творил ее, продолжая разговаривать с Богом, творил из ребра металлической заготовки, в точности, как Бог творил Еву из ребра Адама, чтобы затем снова засунуть ее под ребро, прямо в адамово сердце. Прямо в сердце Йозефу была нацелена эта заточка – быстрая и безболезненная смерть, счастливый побег от мучителей, прямо в сердце. Я торопился, заговаривая зубы Богу, потому что времени оставалось мало. Надо было обязательно успеть до прихода коммандфюрера. Мой план был прост и эффективен. Йозеф сидел прямо около крана, а значит, никто не заподозрил бы ничего особенного в моем приближении: подходить к воде в слесарке разрешалось. Заточка легко пряталась в рукаве. Всего-то и нужно было, что быстро наклониться и воткнуть ее прямо в сердцевину шестиконечной звезды, прямо в сердце моего Йозефа. Дальнейшее не имело никакого значения, поэтому о дальнейшем я и не думал, полностью предоставив его Богу – большому специалисту по этой части.

Я уже заканчивал заточку, когда дверь отворилась и вошел коммандфюрер. Сволочь-капо сразу же бросился к нему, вихляя задом. Он бормотал, кланяясь и показывая на Йозефа, а эсэсовец слушал, брезгливо морщился и почему-то отрицательно покачивал головой. Я взялся за тиски, но руки мои тряслись, Ваша честь; вся моя сила уходила на эту тряску, и проклятые тиски не поддавались, как будто их затянул не я, а какой-нибудь великан. Мной овладела настоящая паника, я ужасно боялся опоздать. Оглянувшись, я увидел, что коммандфюрер оттолкнул капо и двинулся по направлению к Йозефу. В отчаянии я всем телом налег на тиски, они разжались, и заточка со звоном упала под верстак. Мне показалось, что вся слесарка обернулась на этот звук. Раздумывать было некогда, и я нырнул под верстак, ища заточку, а она, гадина, все не находилась, как будто провалилась сквозь каменные плиты.

«Встать!» – услышал я команду эсэсовца, обращенную к Йозефу, и тут заточка, будто испугавшись этого крика, сама прыгнула мне в руку из какой-то укромной складки. Я сунул ее в рукав и распрямился. Эсэсовец стоял над Йозефом и пинал его сапогом, а тот пытался встать и не мог.

– Встать! – снова заорал коммандфюрер. – Эй вы, кто-нибудь! А ну, поднять это жидовское дерьмо!

Ясно, что никто, кроме меня, не отозвался на этот призыв. Кто же пойдет к эсэсовцу добровольно? Я подбежал, схватил Йозефа

под мышки и приподнял. Воткнуть заточку сразу не выходило из-за того, что, пытаясь встать, мой мальчик мельтешил руками, и оттого хорошего, точного удара не получилось бы. А мне ведь важно было закончить дело без боли. Я поднял Йозефа на ноги, уткнулся лицом в его шелковистые волосы, опустил правую руку, и заточка сама скользнула в мою ладонь.

– Не бойся, Йос, – шепнул я ему в самое ухо. – Я спасу тебя, мальчик, сейчас... сейчас...

– Тебе повезло, дерьмо, – сказал эсэсовец. – Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Твои жиды-родственнички из твоей жидовской Америки выкупили твою тощую жидовскую задницу. Даю тебе три минуты на то, чтобы прибыть в регистрационный блок. Шагом марш!

Ваша честь! Люди часто думают, что Бог, если и обращается к человеку, то громовым рыком из грозовой небесной тучи... но это не так, Ваша честь! Он разговаривает самыми разными голосами, уж я-то знаю. Тогда, в Дахау, Он визжал гадким эсэсовским фальцетом, пересыпая каждое свое слово грязными ругательствами, но не было во всем Творении речи божественней, чем та Его речь! Он принял мое предложение! Наша сделка состоялась! Хе-хе...

Вот, собственно, и все, Ваша честь. Бог позволил мне довести Йозефа до регистрационного блока, где я сдал его с рук на руки дежурному вахтману. Он действительно выходил на свободу, мой светлый мальчик! На свободу! Такое случалось в те годы, редко, но случалось. Он выходил с порванным ртом, без зубов – подлец Штайгер выбил ему все передние зубы и еще несколько слева – всего штук десять-двенадцать. Но – кто считает такие мелочи? Главное – он остался жив! Жив! И я был счастлив его свободой и жизнью. Так мы и расстались, Ваша честь, навсегда.

Конечно, расставания всегда тяжелы, но с другой стороны – смотря с чем сравнивать. Не думаю, что я смог бы выдержать вид моего мальчика, умирающего на бауме. Я уже говорил, Ваша честь, что наша любовь бескорыстна и умеет радоваться радостью любимых больше, чем своей собственной. Чудесное освобождение Йозефа было как раз таким случаем, в чистом виде, гво́здики с колечками... Это был самый большой подарок, который я мог бы получить тогда, самый большой. Не знаю, поверите ли вы мне, но своему освобождению я бы радовался меньше. Не верите? Ну и ладно, не важно. Я? А это уже совсем не важно, Ваша честь. Мы ведь заключили с Ним сделку. Баш на баш. Он честно выполнил свою часть, и теперь мне оставалось просто спокойно ждать, когда Ему вздумается наконец прийти за моей. Это случилось не сразу. Хотя, кто знает, как там у Него течет время? Наш день вполне может быть для Него годом, а столетие – секундой. Я же, со своей стороны, не возражал... хе-хе... куда тут торопиться?

Что?.. Ну, только если вы особо настаиваете, потому что, вообще-то, моя смерть к делу Йозефа не очень-то и относится, не

так ли? Да нет, какие там секреты, Ваша честь? Секреты?.. У меня – от вас?..

Лагерь был окружен деревьями, замечательно красивыми, здоровыми и рослыми растениями с множеством листьев. Последнее обстоятельство весьма существенно, Ваша честь. Дело в том, что осенью листья имеют обыкновение осыпаться, такая вот неприятность, гвóздики с колечками... Почему неприятность? – Да потому, что комендант ненавидел мусор в любом его виде. За чистотой территории следила специальная команда, и Боже упаси, если какой-нибудь крохотный желтый листок оставался неподобранным!

Осенью 43-го в слесарку не завезли сырье, и нас от нечего делать направили на уборку. Все обрадовались, потому что листопад уже прошел, и деревья стояли голыми, так что работы, считай, и не было никакой. А погода стояла удивительная. Знаете, Ваша честь, эти осенние баварские утренники, с прозрачным небом, полным чистого прохладного воздуха и мокрыми полями за изгородью? В общем, дышалось поразительно хорошо.

Я быстро убрал свой участок, подмел дорожку, обнаружив при этом замечательно длинный окурок; затем несколько раз прошелся туда-сюда, чтобы окончательно удостовериться, что все в полном порядке и присел на корточки перекурить. Ах, какая все-таки стояла тогда погода, всюду – и на природе, и на сердце! Я курил и думал о Йозефе, представляя, как он гуляет сейчас по Манхеттену или сидит в каком-нибудь бродвейском баре, или, так же, как и я, смотрит на деревья в Сентрал-Парке. Мне было покойно и хорошо.

Господь дал мне докурить мой окурок до самого конца, и только тогда пнул меня в спину эсэсовским сапогом. От неожиданности я ткнулся лицом в землю. Надо мною стоял наш командфюрер.

– Куришь, вонючка? – прошипел он в гневе. – Куришь? А это что там такое, раздолбанная задница? А? Это что такое?

Я посмотрел в направлении его указующего перста. На идеально чистой дорожке лежал лист, обычный осенний лист. Я сразу понял, что это такое, Ваша честь. Ведь на самом деле, прежде чем присесть на перекур, я тщательнейшим образом осмотрел все деревья на своем участке. Готов поклясться на чем угодно – они были абсолютно голыми, ни единого листочка. Ни единого, Ваша честь!

И сразу же мне стало всё так ясно... всё, вся цепочка событий этого дня: и чудное утро, и необыкновенно длинный окурок, и мысли о Йозефе, и этот покой в душе... Он пришел за мною, Ваша честь, и невозможный листок на дорожке был ничем иным, как повесткой, да, да, повесткой. И я принял это, как обещал при сделке, не жалуясь. Мне назначили двадцать пять палок. На этот раз Он решил быть милосердным и отнял у меня сознание почти сразу, на втором ударе. А умер я, наверное, на четвертом. Или на пятом. Впрочем, это уже действительно неважно.

Глава II

«Исузу» вынеслась из-за поворота минут через десять. Збейди и в самом деле спешил. Когда он увидел знакомую «тойоту» со странным бедуином за рулем в пятидесяти метрах от себя, было уже поздно что-либо предпринимать, кроме как еще сильнее нажать на педаль газа. Третья «случайная» встреча в течение последних двух часов могла иметь только одно объяснение. Тендер вихрем пронесся мимо, и Берл прочитал в глазах курьера отчетливое понимание того, что сейчас произойдет. Все-таки, что ни говори, а Збейди был стреляным воробьем. Берл нажал на кнопку дистанционного управления. Раздался негромкий хлопок, переднее левое колесо «исузу» отскочило вбок и вперед, а сама машина, подпрыгнув, резко крутанулась, пошла юзом в направлении неглубокого кювета, зацепилась за камень и взлетела в воздух, как будто собираясь догнать убежавшее колесо.

Теперь следовало торопиться, так что Берл стартовал к месту предполагаемого падения еще до того, как оно произошло. Завершив полный кульбит в воздухе, «исузу» с грохотом ударилась о камни. Брызнули стекла, Збейди вылетел через переднее окно, воткнулся головой в землю и замер бесформенной кучей. Машина перевернулась еще несколько раз и наконец остановилась в облаке пыли, лежа на крыше и нелепо крутя в воздухе тремя бесполезными колесами. Четвертое же, радуясь свободе, продолжало свой последний забег, весело подпрыгивая на кочках далеко впереди. Берл выскочил из кабины и начал поспешные поиски.

Бензобак мог взорваться в любую минуту. На его счастье, кожаный рюкзачок лежал прямо под сиденьем водителя. Он был тяжелым и мягким на ощупь.

«Это же сколько там пачек понапихано? – подумал Берл, взвешивая рюкзак на руке. – Килограммов пятнадцать... или немного поменьше...»

Он подошел к Збейди. Тот был еще жив. Глаза его смотрели прямо на Берла со смешанным выражением боли и ненависти. Берл присел на корточки.

– Похоже, не жилец, ты, бижу, – сказал он по-арабски. – И неудивительно. Человек не птица, чтоб из окошка вылетать, даже с таким количеством бабла... – Берл поднес рюкзачок к лицу умирающего. – Может, повинишься в чем перед смертью, а? Этот твой бледнолицый друг... он откуда приехал?

– Мать твою... – ругательство далось Збейди с огромным трудом. Сзади взорвался бензобак; «исузу» вспыхнула, как факел.

– Мать моя... – наставительно произнес Берл – ...учила меня пристегиваться в машине ремнем безопасности. Если бы твоя мамаша брала пример с моей, то ты бы сейчас весело горел, а не помирал бы в пыли и скуке от перелома шеи... Так, значит, не поделишься знанием с коллегой? Может, все-таки передумаешь? Я ведь все равно от него самого узнаю.

В глазах у курьера мелькнуло странное торжество. Он попытался что-то ответить, но не смог. На губах его выдулся и лопнул кровавый пузырь; Збейди закатил глаза, дернулся и умер.

Берл не стал больше задерживаться в ущелье. Внешне все выглядело банальной автокатастрофой и не должно было возбудить подозрений у местной полиции. В конце концов, не такие уж они специалисты, чтобы отличить взорванную полуось от сломавшейся по собственному почину. Но никогда нельзя знать заранее, так что Берла вполне устраивало полное отсутствие свидетелей, и он намеревался продолжить эту благотворную тенденцию как можно дольше. Да и машину пора возвращать – все-таки уж больно маскарадно он выглядел в этой бедуинской одежке, если, конечно, посмотреть опытным глазом. Через полчаса он остановил тендер у ворот селимовой халупы. Хозяин покуривал травку, сидя в тенечке; вокруг суетилась однородная стая собак, ребятишек и коз. Увидев Берла, он вздохнул с облегчением.

– Спасибо, братан, – сказал Берл, хлопая бедуина по плечу. – Покатался на славу. Люблю поплавать в одиночку.

Селим взял ключи: – Как задний мост? Не перегружал?

– Да что ты, бижу... – ухмыльнулся Берл. – Задний мост у тебя в лучшем виде. Я бы на твоем месте больше беспокоился о передних полуосях. Ломаются почем зря.

В гостиничном номере Берл вынул рюкзачок из спортивной сумки и поставил его на стол перед собой. Интересно, сколько там денег? Если стодолларовыми купюрами, то, наверное, тысяч двести... Он потянул за язычок молнии. Под клапаном рюкзака оказался перетянутый липкой лентой газетный сверток. Газетка, значит... на немецком языке, между прочим... Берл покрутил сверток, пытаясь определить название газеты... ага, «Рейнише пост»... дюссельдорфская, что ли? Точно, дюссельдорфская. А число? А вот и число... это что ж получается? Две недели назад? Что-то непонятно: это какой же дурак позволил такому белобрысому чайнику слоняться две недели с огромной пачкой наличных? А вот и спросишь его заодно. Гостиница «Ренессанс», двести пятый номер.

Берл аккуратно разрезал ленту и развернул газету. К его удивлению, в свертке оказался другой, тоже завернутый в газету... а под второй газетой – еще раз то же самое и в дополнение – несколько туго скрученных газет для объема... Что такое?!. Охваченный дурным предчувствием, Берл лихорадочно сдергивал газеты, как капустные листья с кочана. Количество бумаги на полу неумолимо возрастало, а сверток становился все меньше и меньше. Это была кукла! Кукла для фраеров! Его попросту одурачили, как тупого деревенщину на столичном рынке! Сверток уменьшился до совсем небольших размеров; наконец Берл рванул последнюю газету и на стол выскользнула толстая бронзовая пластина, положенная туда, по всей видимости, для веса. Все. Денег не было и в помине. Ничего, кроме немецких газет двухнедельной давности и металлолома!

Берл перевел дух и, вытирая со лба выступившую испарину, вышел на балкон. Он просто не мог опомниться. Так издевательски нагло его не кидали никогда, даже во время ранних стажерных заданий. Ему вдруг остро захотелось выпить чего-нибудь покрепче, но привезенный из Эйлата коньяк давно уже кончился, а в проклятом мусульманском Дáабе было практически невозможно найти приличное спиртное. И в этой невозможности заключалось еще одно утонченное издевательство, в дополнение к гадской кукле. Перед ним сияло ослепительно синее море, отделенное бежевой ниткой саудовских гор от ослепительно синего неба. Внизу, в тени старых финиковых пальм плескались в бассейне дети, и молодежь играла в шеш-беш под тростниковыми навесами, потягивая ледяную колу в перерывах между джойнтами. Вокруг лениво стучал в бедуинскую тарбуку прежний даабский рай, еще вчера наполнявший покоем размякшую душу Берла, еще вчера... а сейчас глаза его не видели ничего, кроме слепящей ярости, белой занавеской раскачивающейся перед покрытым испариной носом.

Сволочи!.. Да они-то не сволочи... на себя надо злиться, парень, на себя! Тоже мне, гений оперативной работы! Кинули, как ребенка, причем не просто кинули, а прямиком в выгребную яму: дыши, братец, радуйся жизни! Берл саданул кулаком по стене и почувствовал, что близок к нервному срыву, почти к истерике. Он вернулся в номер и встал под душ, чтобы успокоиться. Так... надо взять себя в руки и, прежде всего, оценить размеры поражения. Как ни крути, а размеры эти выглядели ужасающими. Скорее всего, бабки уже ушли по назначению и при этом, что самое главное, не осталось вообще никакого следа: ни местного, ни европейского. Последнее было особенно обидно, ведь задача, собственно, и заключалась в прояснении европейского источника. Но и история с подставленным Збейди тоже смотрелась крайне неприятно. Она говорила о том, что клиенты курьера заметили слежку, а значит, вслед за Збейди, неизбежно попадали под удар ценные поставщики информации, давно и хорошо прикормленные и, вроде бы, надежно законспирированные.

В общем, плохо дело. Берл выключил воду и, не вытираясь, вернулся в комнату, по дороге с ненавистью посмотрев на собственное отражение в зеркале. Надо же быть таким кретином! Шлепая по полу мокрыми ступнями, он подошел к столу, чтобы еще раз посмотреть на металлический брусок. Запустить его, что ли, с балкона? Далеко полетит, сволочь... Берл поднял брусок и взвесил его на руке. Нет, такой далеко не полетит, уж больно тяжелый, килограммов двенадцать... стоп! Погоди, погоди... Боясь верить блеснувшей в голове догадке, он осторожно положил брусок на кровать и сел рядом, глядя на него и отчаянно пытаясь припомнить числа из школьного курса химии. Бронза не могла быть такой тяжелой. Конечно, нет. Значит... Берл поднял голову и снова посмотрел на себя в зеркало. Перед ним опять сидел гениальный оперативник, сияя широченной улыбкой во всю будку, от уха до уха.

Берл ни черта не понимал в золоте, но не сомневался, что захваченный им брусок был золотым. Он-то, дурачок, вбил себе в башку, что надо найти непременно банкноты, и оттого прошел мимо столь очевидного объяснения.

Недаром Мудрец так любил занудно повторять ему на каждой ориентировке: «Не верьте стереотипам, Берл! Пройденные дороги не повторяются!»

Берл и сейчас будто слышал его скрипучий голос, видел зрачки, мечущиеся за толстыми стеклами очков, как две сумасшедшие белки. Это был тот самый случай, когда старик оказался совершенно прав. Деньги – вовсе не обязательно банкноты. Вот лежит желтый брусок, который тоже является деньгами. И этот простой факт ставил все на свое место! Все, вплоть до самой последней детали! Как истолковать, к примеру, газеты двухнедельной давности? Очень просто: пронести брусок через аэропортные металлоискатели не представлялось возможным, и поэтому белобрысый воспользовался поездом и пароходом – вот тебе и две недели!

Кстати о газетах и о белобрысом... газеты надо бы собрать, а белобрысым следует заняться вплотную, причем, чем быстрее, тем лучше. Многого он, скорее всего, не расскажет – не из упрямства, а просто потому что не знает. Попросили передать рюкзачок, а за это оплатили дорогой круиз и синайский отдых, да еще и, наверное, прибавили круглую сумму наличными. Он, конечно, спросил, не идет ли речь о чем-то незаконном. И ему, конечно, ответили, чтобы не задавал глупых вопросов: естественно, речь идет о чем-то незаконном. Но беспокоиться нечего – незаконность эта совсем маленькая, можно сказать, крохотная незаконность. Никаких тебе наркотиков или оружия, или плутония, Боже упаси. Золотой брусок, вот, сам посмотри. Даже если попадешься, то почти ничем не рискуешь. Отнимут и отправят восвояси. Ну как, согласен? И он, бедолага, согласился. Уж больно заманчиво...

Берл скомкал газеты и запихнул их обратно в рюкзак, а брусок обернул полотенцем. Заворачивая, рассмотрел получше. На одной из граней стояло четкое клеймо: пять латинских букв готическим шрифтом – PrStM, и чуть ниже число – 1938. Год?.. Скорее всего, год. А вот что это за пы-ры-сы-ты – непонятно... Ничего, эксперты прочитают. Берл сунул все вместе в большую спортивную сумку, застегнул молнию и посмотрел на часы. Половина второго. Пора двигать к Голубой Дыре. Он с удовольствием подмигнул самому себе в зеркало. Бедуином ты там сегодня уже побывал. Кем нарядишься теперь? Индейцем? Вперед, Чингачгук! Тебя ждет встреча с белобрысым братом!

Он вышел из гостиницы в превосходном настроении. Недалеко от площади ему попалась на глаза вывеска отеля «Ренессанс». Номер двести пять, как же, как же... Зайти сейчас или подождать до вечера? Берл немного поколебался и, повинуясь скорее инстинкту, чем рассудку, завернул в лобби. Портье приветливо улыбнулся навстречу.

– Привет, бижу, – Берл небрежно бросил сумку на пол и облокотился на стойку. – Есть свободные номера на втором этаже?

Улыбка египтянина стала еще теплее:

– Конечно, господин. На сколько дней, господин?

– Дня на три. Вообще-то я остановился в другом месте, но там мне не нравится... – интонация Берла была окрашена в особо доверительные тона. – А тут у вас живет мой приятель, в двести пятом номере.

– А! – воскликнул портье. – Господин Гюнтер?

– Ага. Познакомились с ним на пароходе. Похоже, его турагентство умеет выбирать гостиницы намного лучше, чем мое... – Берл сокрушенно покачал головой.

Портье с готовностью закивал:

– Скажу вам не хвастая, господин: наша гостиница лучшая в Дáабе. Возможно, она не такая большая, но...

– Ээ-э, слушай, бижу, – сказал Берл, перебивая собеседника на полуслове. – Ты не мог бы оказать мне одну услугу? Я хочу немедленно позвонить в гюнтерово турагентство. Менять так менять, правда?

– Правда... – недоуменно подтвердил портье. – Но как я могу помочь господину?

– Очень просто. Телефона я не знаю, а Гюнтер сейчас на берегу, так что спросить не у кого. Но он ведь наверняка звонил в свое агентство отсюда, не так ли?

Лицо египтянина выразило некоторое сомнение.

– Господин хочет, чтобы я распечатал ему номера телефонов, по которым звонил господин Гюнтер? Вообще-то нам категорически...

Берл положил на стойку двадцатидолларовую бумажку.

– Это тебе бумага для печати. Э, бижу, не будь таким бюрократом. Я хочу как можно скорее покончить с делами и ехать на берег. Не задерживай меня, ладно? От дня и так уже почти ничего не осталось.

Портье облизнул губы и быстрым жестом смел бумажку с прилавка. Потыкав пальцем в клавиатуру, он сказал, не отрывая глаз от экрана: – Не знаю, подойдет ли вам, господин. Был всего один звонок в Германию, два дня назад, сразу по приезде.

Старый лазерный принтер зашумел, заскрипел и с некоторым трудом выдавил из себя листок.

– О! – воскликнул Берл, разглядывая напечатанное. – То, что надо. Спасибо тебе, бижу. Я в долгу не останусь.

Он подобрал сумку и пошел к выходу. Один телефонный номер, конечно, негусто, но для начала неплохо. Теперь – вперед, к белобрысому Гюнтеру. Ответы на главные вопросы можно получить только непосредственно от него.

Селим стоял на площади, с безнадежным видом поджидая маловероятных в этот час клиентов. Увидев Берла, он оживился.

– Поехали, бижу. Голубая Дыра... – сказал Берл, со вздохом влезая в кабину. – Похоже, мне в твоем тендере еще ездить и ездить. Ты бы починил кондиционер, что ли...

– Сорок лир, – радостно провозгласил Селим, предвкушая торговлю и нацеливаясь остановиться на обычных двадцати. Но Берл, к его разочарованию, торговаться не стал, а просто кивнул и откинулся на спинку сиденья. Бедуин обиженно засопел и тронул машину. Навстречу попадалось много машин: люди возвращались в Дааб, устав от непривычной яркости мира, возвращались, чтобы перевести дух в щадящем полумраке гостиничного номера, дождаться вечера, и тогда уже выбраться в прохладные сумерки, на пеструю от бедуинских ковров улицу, а потом лежать под гирляндами разноцветных фонариков и, никуда не торопясь, смотреть на дальние огоньки, отражающиеся в черной воде, вдыхать запах моря и не думать ни о чем, ни о чем, ни о чем...

Перед аркой, где утром Берл чуть-чуть не опрокинул в море своих пассажирок, Селим притормозил, пропуская встречный тендер. В кузове мелькнула рыжая голова. Фанни! Утренние берловы клиентки возвращались в Дааб навстречу новым вечерним приключениям. Берл усмехнулся, вспомнив кларину распашонку. Это слегка отвлекло его от невесть откуда взявшегося нехорошего предчувствия. Оно возникло сразу же после выхода из отеля «Ренессанс», как будто Берл сунул его в карман вместе со сложенным вчетверо бумажным листком.

У Голубой Дыры еще оставалось достаточно много народу. Кто-то купался, кто-то возлежал на подушках, а несколько туристов вперемежку с бедуинами сгрудились под одним из навесов и что-то обсуждали, оживленно жестикулируя. Белобрысой головы не было видно ни в море, ни на суше. Неужели разминулись?

– Подожди-ка здесь, Селим, – сказал Берл, вылезая из «тойоты». – Вполне возможно, что прямо сейчас и вернемся.

Селим отчужденно кивнул. Непонятная суматоха, затеянная Берлом с самого утра, раздражала его и портила настроение, несмотря на заработанные за один день огромные деньги. Деньги приходят и уходят, а раз и навсегда заведенный порядок остается. Что дороже?

Под крайним навесом Берл увидел двоих давешних шведок. Они лежали бок о бок на одном матрасе, передавая друг дружке мастерски скрученный джойнт, и щурились на море все в том же блаженном молчании.

– Привет, сестрички! – Берл присел перед ними на корточки.

Девицы посмотрели на него симметричным затуманенным взором. Потом они так же синхронно вернули глаза к морю, и та, что слева, устало произнесла одно только слово: «Бедуин...»

– Индеец, – жизнерадостно поправил Берл. – Чингачгук. А вас как зовут, о прекрасные пери?"

Девицы молчали.

– Ладно, – сказал Берл. – Тогда ты будешь Грета. А ты... дай подумать... ты будешь... ну, скажем, Гарбо. Идет?

Грета и Гарбо безразлично кивнули.

– Ну вот и славно, – подытожил Берл. – Я ищу своего приятеля. Белобрысый такой немец, зовут Гюнтер. Не видали, случаем?

Грета кивнула и выпустила через ноздри сладкий дурманный дым.

– Он давно уехал? – терпеливо спросил Берл.

– Мертв, – коротко ответила Гарбо, принимая у Греты джойнт и мечтательно улыбнулась. Грета кивнула и, с третьей попытки подняв руку, указала на дальний навес, туда, где толпились люди.

– Инфаркт, – сказала она и вдруг прыснула. Гарбо покосилась на нее, поперхнулась дымом и тоже затряслась в приступе беззвучного смеха. Берл встал. Девицы катались перед ним по матрасу, изнемогая от хохота. Зрелище было не из приятных. Брезгливо морщась, он сделал несколько шагов по направлению к группе людей и заглянул через плечо низенького бедуина в серой полотняной галабие.

Белобрысый лежал на земле, мертвее мертвого. На лице его застыла удивленная гримаса.

– Что случилось? – спросил Берл у всех сразу, странным образом заражаясь белобрысым удивлением, хотя удивляться, в общем, было решительно нечему. Человек европейского вида, сидящий на корточках рядом с телом, поднял голову:

– Внезапная остановка сердца. Мгновенная смерть. Только успел окунуться и сразу отключился... Спасибо, девицы его на берег вытащили, а то бы еще утонул. Дыра трупы не отдает, а так родственники хотя бы тело получат.

– Какие девицы?

– Да вон те, смешливые, – человек махнул рукой в сторону ухохатывающихся шведок. – Они, оказывается, не только курят. Иногда еще и купаются заодно.

– Я так понимаю, вы врач?

– Так точно, – кивнул европеец. – Кстати, искусственное дыхание пробовали. И массаж сердца тоже. Не помогло.

Берл вздохнул. Еще бы. От таких «инфарктов» массаж сердца не помогает. Он не сомневался, что парня убили. Можно было бы поискать на теле след укола, но зачем? Мальчика уже не вернешь. Да и лишний шум сейчас ни к чему. Берл обвел взглядом сгрудившихся вокруг людей. Убийцей мог быть любой из них, даже обкуренные Грета с Гарбо. Но какое это имело значение теперь, когда белобрысого уже невозможно было спросить ни о чем? След оборвался, едва начавшись. В руках у Берла оставались лишь золотой слиток и номер неизвестного немецкого телефона. Вот же черт! Если бы он не задержался в лобби «Ренессанса», паренек, возможно, уцелел бы. И уж во всяком случае, была бы хоть какая-то вероятность вычислить убийцу и таким образом получить дополнительную зацепку. В нынешней

же ситуации, да еще и после визита в отель, Берлу не оставалось ничего, кроме как сматывать удочки. Он торчал тут один, как невезучий медвежатник в банке с включившейся сигнализацией – с кучей улик на шее, с золотым слитком в сумке и со всеми шансами самому превратиться в объект охоты.

Шведки еще смеялись, когда он проходил мимо них, возвращаясь к тендеру.

– Ой, какая красивая сумка... – протянула Грета, привставая на локте.

– ...у такого некрасивого бедуина, – закончила за нее Гарбо, и обе снова зашлись безудержным хохотом.

Берл обернулся. Грета смотрела на него и взгляд ее был абсолютно трезвым. Он плюнул и влез в кабину.

– Вот что, Селим. Давай-ка в Табу, прямо сейчас. И побыстрее. В гостиницу заезжать не будем.

Селим глянул на него выпученными глазами: – Прямо сейчас?

День обещал закончиться так же безумно, как и начался.

– Сто долларов.

Берл помотал головой: – Двадцать и ни центом больше.

– Восемьдесят, – сказал Селим, расплываясь в радостной улыбке. Торговля была его любимым занятием. – И два чайных привала по дороге.

– Тридцать, и чая не надо. Но с заездом в Нуэйбу.

– В Нуэйбу, но без чая? – Селим задумался, с уважением поглядывая на достойного противника. Торговля обещала быть сложной.

В итоге сошлись на полтиннике, без чая, но с заездом, и бензин за счет Берла. Глядя на сияющего бедуина, он облегченно вздохнул. Как, в сущности, мало нужно человеку для счастья. Потеряно всего-то пять минут, но зато отношения перед дальней дорогой налажены в лучшем виде.

В Нуэйбе они заехали в лавку подводного снаряжения за балластным поясом и свинцовой краской. Там же Берл выбросил рюкзачок с газетами. На египетской стороне границы одинокого туриста не проверяли вообще, зато израильская таможня душу вывернула, копаясь в его багаже в поисках кораллов или пакетиков с травкой. На балластный пояс с прикрученным к нему большим свинцовым бруском никто не обратил особого внимания. Разве что таможенник, вытаскивая пояс из сумки, выразил удивление необычной тяжестью.

– Уж больно я легкий человек, бижу, – ухмыльнулся Берл. – В воде не горю...

– ...и в огне не тонешь? – подхватил шутку чиновник и задумчиво покачал головой. – Вот вижу я, братан, что ты что-то везешь... а что – не пойму. Ладно, проходи, черт с тобой.

В десять вечера Берл уже подъезжал к своему иерусалимскому дому на улице Шамир. Такие длинные дни у него выпадали нечасто.

СВИДЕТЕЛЬ №2

«Сент-Луис Блюз»... Господин судья наверняка слышал эту песенку. Помните: «I hate to see the evening sun go down...» – вот-вот, та самая. Что вам сказать? Музыкант редко выбирает, какую музыку играть. Музыку заказывает тот, кто платит. Заплатил – получи. Клиент всегда прав. И я тоже не выбираю. За одним исключением: «Сент-Луис Блюз» я не исполняю никогда. И не буду, предложите мне хоть целую тысячу долларов. Хотя, правду говоря, никто и не предлагает. Свой последний «Сент-Луис» я сыграл очень-очень давно, в июне 39-го, когда Йосеф сходил по трапу океанского лайнера с тем же названием: «Сент-Луис».

Не скажу, что эта моя странность всегда встречала понимание. Подавляющее большинство клиентов и коллег квалифицировали упрямое нежелание играть «Сент-Луис Блюз», как необъяснимый каприз артиста или, еще того хуже, как обидное высокомерие. Однажды это даже стоило мне места.

Работа есть работа, господин судья. В противоположность расхожему мнению о музыкантах, я человек весьма дисциплинированный и положительный. Разве я похож на какого-нибудь анархиста, который станет рисковать местом из-за принципа? Полагаю, что нет. Так что дело тут не в принципе, и уж конечно же, не в капризе. Я бы, скорее, определил эту свою ээ-э... особенность, как аллергию, вроде того весеннего насморка, который случается у многих, когда в городе зацветает какая-нибудь особенно вредная растительность.

Вот и у меня такая же проблема, только не с пальмовым пухом или цветом акации, а с этой несчастной песенкой. Случай редкий, но все же встречающийся. Тот же Йосеф, к примеру, слышать не мог музыку Вагнера, а стоило при нем напеть что-нибудь из «Лоэнгрина», так просто весь покрывался красными пятнами и убегал куда подальше. Вагнер, великий композитор, титан... и вдруг такое неуважение! Как это можно объяснить? – А никак. Аллергия и все тут. Так что моя так называемая странность еще не столь велика, господин судья. Могло бы быть намного хуже. А так – всего лишь одна мелодия, хотя и весьма популярная. Тем более, «Сент-Луис Блюз», если разобраться, не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему репертуару. Я ведь исполняю латинскую танцевальную музыку, господин судья: румбы, меренги, танго, линди-хоп...

А упомянутый блюз вошел в мою жизнь только тогда, когда я, вместе с другими ребятами, нанялся на это судно, «Сент-Луис», где он был чем-то вроде официального гимна. Чушь, конечно – ну какая, скажите на милость, связь между американским блюзом и роскошным германским лайнером, совершающим прогулочные круизы между Гамбургом и Гаваной? Название, исключительно – то же название и все.

За год до этого, летом 38-го я покинул оркестр вредного жучилы Эрнесто Ринкона. Покинул, надо отметить, со скандалом. Никто не спорит, что Эрнесто неплохо сочинял музыку, но пианист,

на мой вкус, из него никакой. Отчего же, спрашивается, он возомнил о себе невесть что – настолько, что счел себя вправе указывать всем и каждому, когда можно выпить стаканчик рома, а когда нельзя? Видимо, господин судья, успех нашего европейского турне вскружил ему голову. Как нас принимали!.. Впрочем, я отклоняюсь от темы.

Ради исторической точности я должен упомянуть свою... ээ-э... некоторую... ээ-э... склонность к спиртному. На качество моего исполнения она всегда влияла только в лучшую сторону. Эрнесто возил специально для меня стул со спинкой и подлокотниками. Дело в том, что с обычного табурета я иногда... ээ-э... падал. Но играл при этом бесподобно – при условии, конечно, что мое физическое положение было зафиксировано при помощи кресла. Скажу вам без всякого преувеличения, господин судья: большей частью своего успеха оркестр Эрнесто Ринкона обязан мне, Гектору Салазару! Если бы не бесконечные переезды, постоянно являвшиеся причиной моих опозданий на поезд и прочих неприятностей, я бы до сих пор блистал на сценах всего мира!

В Будапеште я в очередной раз отстал от оркестра, заснув, сраженный внезапной усталостью, в одном уютном кабачке. Так получилось, что я догнал их только через неделю, в Гамбурге, пропустив два или три концерта. Не спорю, это была досадная промашка, но даже она не оправдывала того грандиозного скандала, который закатил мне Ринкон. Мне, звезде его оркестра! Я честно пытался воздействовать на него доводами разума.

– Эрнесто, – сказал ему я. – Стоит ли ломать нашу многолетнюю дружбу из-за такой мелочи? Разве ты не можешь понять меня, Эрнесто? Мы вот уже четыре года безостановочно кружим по Европе, собирая полные залы. Четыре года на колесах! Четыре года без дома, Эрнесто! Ну какой человек выдержит такую гонку без глоточка-другого?

Но он не желал ничего слушать. Он вопил так, будто десять сутенеров одновременно режут его под гаванским пирсом своими выкидными ножами. По-моему, он был пьян, господин судья, но даже это его не оправдывает. Мы поссорились, и я хлопнул дверью. А вечером того же дня встретил в кабаке на Рипербане своего давнего нью-йоркского приятеля Винсента Ромеро.

– Брось расстраиваться, – сказал Винсент. – Есть отличная работенка как раз для тебя. Прогулочные круизы через Атлантику. Играем танцы по вечерам. Платят хорошие деньги, плюс чаевые, плюс полное содержание. Плюс Гавана, Гектор! Гавана! Неужели ты не соскучился по Гаване?

Что за вопрос! Так я оказался на «Сент-Луисе» После сумасшедшего концертного режима это был сущий рай. Две недели в один конец, несколько дней на берегу и снова в путь. И никаких, заметьте, поездов и постоянного дерганья из города в город. Никакой опасности отстать от группы, хотя бы просто потому, что деться решительно некуда – восемь палуб, небо, океан и больше ничего, кроме чаек и дельфинов.

Через полгода я забыл, как укладывают чемодан, потолстел и даже пить стал намного меньше. Чтобы уже закончить с питейной темой, позвольте заметить вам, господин судья, что вопрос не так прост, как кажется. Общеизвестная склонность музыкантов к спиртному в нашем случае усугублялась дополнительными объективными причинами. В нашем, я имею в виду – в случае музыкантов-латинос. Дело в том, господин судья, что, не будь на свете выпивки, большинство из нас так бы и прозябали в полной неизвестности в трущобах Гаваны, Сан-Хуана и Акапулько. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду сухой закон, пригнавший к нашим берегам толпы умирающих от жажды американских туристов. А с ними уже пришли и деньги, и отели, и казино, и дансинги, и мода на нашу чудесную музыку. Вот и получается, что всему лучшему в нашей жизни мы обязаны бутылке виски, как ни крути... Да-да, я и в самом деле сильно отклонился от темы.

В начале мая 39-го года, не помню, какого числа, капитан Шредер собрал всю команду и вспомогательные службы для важного сообщения. Мы тогда стояли в Гамбурге у своего привычного 76-го причала.

– Наш следующий рейс будет особенным, – сказал капитан. – Компания продала его целиком, все 930 мест. Но необычно не это, а состав пассажиров: все они германские граждане еврейского происхождения, дальнейшее присутствие которых на территории Германии признано нежелательным. Некоторые из них являются открытыми врагами Рейха. Они освобождены в обмен на значительный выкуп, с условием покинуть пределы страны в течение двухнедельного срока. До других руки гестапо еще не дошли, что, впрочем, не отменяет их враждебности идеалам национал-социализма.

Тут один из групповодов, весьма неприятный тип по имени Отто, ударил кулаком по столу и крикнул: – Утопить их всех и точка!

Но капитан, казалось, только того и ждал.

– Я собрал вас, – сказал он, – именно потому, что предвидел подобную патриотическую реакцию. Учтите, этот рейс исключительно выгоден для Компании. Повторяю: исключительно. Цены на круиз, включая билеты и посредничество в получении кубинских виз установлены весьма и весьма высокие, и тем не менее, спрос оказался колоссальным. Вы должны понять, что Компания видит в подобных рейсах превосходную деловую возможность и не собирается упускать ее из-за излишне... мм-м... эмоционального поведения экипажа. Я требую, – сказал он, – чтобы вы относились к пассажирам этого рейса в точности так же, как вы обычно относитесь к пассажирам «Сент-Луиса». Повторяю: в точности так же. Любые отклонения и эксцессы будут безжалостно пресекаться. В интересах Компании.

Групповод Отто Шендик пренебрежительно фыркнул, но промолчал.

День отхода я запомнил точно, потому что он пришелся ровно на тринадцатое число. Музыканты, господин судья, суеверный на-

род. Пассажиры начали прибывать с самого утра. Обычно настроение у отъезжающих праздничное, и это понятно: впереди прекрасный отдых, море, развлечения, танцы, легкий флирт на палубе, необременительные круизные романы, а в конце, как главный приз – экзотическая Гавана. Едва завидев огромный черно-белый лайнер и еще даже не вступив на борт, они уже поглядывают на провожающих с некоторой снисходительной дымкой во взгляде: кто, мол, вы такие, господа хорошие? Из какой-такой жизни? По-моему, вы не с нашего корабля...

Но тринадцатого мая 39-го года пассажиры выглядели совершенно по-другому, господин судья. Они непрерывно озирались, как мыши, загнанные в угол, а вид у них был не испуганный даже, а скорее ожидающий... и истерический одновременно. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что их поведение казалось истерическим от безумной надежды на то, что все будет хорошо, а ожидающим – от закаменевшей уверенности в том, что с минуты на минуту на пирс влетят черные машины гестапо, и эсэсовцы в блестящих сапогах пинками загонят их в глухие фургоны без окон. Но так я понимаю сейчас, а тогда эти люди просто выглядели, по меньшей мере, странно.

Иначе происходили и проводы-расставания. Провожавших пришло намного больше, чем обычно, и они стояли вперемежку с отъезжающими, на удивление неотличимые от них. Стояли как... как... не знаю даже, как это описать... больше всего это было похоже на каменные изваяния, если бы каменные изваяния умели плакать. Но если бы они умели плакать, то, без сомнения, плакали бы именно так, как плакали те люди – осторожно и беззвучно, как будто боясь, что их услышат и накажут за неуместный шум. Граммофон играл «Сент Луи Блюз», а они стояли на пирсе и точили свои слезы, и я ушел в зал, потому что мне стало неприятно.

Почему?.. Не знаю, господин судья... никогда не задумывался об этом... просто стало неприятно и все. С чем бы это сравнить?.. Ну... Представьте себе, что вы веселитесь на замечательной вечеринке, где все молоды, красивы и модно одеты, пьют вина, танцуют и целуются без разбора. И вы знакомитесь с очаровательной девушкой, и начинается тонкий и томный флирт, который обещает бурную, но ни к чему не обязывающую ночь на песчаном пляже под шепот моря и пальм. Так что вы уже начинаете рисовать себе дух захватывающие картины; в ваших ушах уже звучат ее будущие страстные стоны, ваши руки все крепче сжимают ее во время танца, а она и не думает возражать, но напротив, еще больше дразнит вас обдуманно-нечаянными касаниями...

Но тут вдруг каблук ее попадает в щель, ломается... вывихнутая лодыжка, слезы и так далее. Надо везти девушку домой – конечно, вы будете ее сопровождать, а как же иначе? Она отказывается наотрез, но вы твердо стоите на своем. А дома у нее – тесная конура, мать-карга с проваленным носом, запах застарелой нищеты, засаленная клеенка на столе, драные простыни на кровати и золотушный ребенок в люльке. Да и сама она уже не

кажется вам такой красавицей: дешевая тушь потекла, помада размазалась, из швов самопального платья торчат нитки, да и черты лица как-то вдруг погрубели... и как это вы ничего этого не замечали прежде? И вот тут вам сделается неприятно, господин судья, обязательно сделается. И вы поскорее уйдете, убежите, как убежал я.

Не скрою, что все это выглядело досадно. В конце концов, круизный лайнер предназначен для праздника, для каникул и прочее. Какого же, спрашивается, дьявола надо было тащить сюда эти плачущие изваяния, это забитое, перепуганное стадо? Неуместно, не правда ли? Вопрос только: на кого досадовать? На корыстную Компанию, готовую на все ради лишней сотни тысяч зеленых? На германское правительство, решающее свои внутренние проблемы столь экстравагантным образом? Нет, и то, и другое не подходило: компании всегда стремятся заработать, в этом смысл их существования, да и власти здесь тоже ни при чем: насколько я успел понять, проблема евреев заключалась не в выезде из Германии, а во всеобщем несогласии других стран предоставить «изваяниям» въездные визы. Оставалось досадовать на них самих, на самый факт их назойливого и неуместного существования. Получалось так, что мы здесь, на «Сент-Луисе», обязаны отдуваться за весь остальной мир, отказавшийся от этих никому не нужных людей, от этого, как говорил групповод Отто, «дегенеративного генетического дерьма».

В общем, настроение у меня, да и у всей команды было, как вы понимаете, не из лучших. В зале сидел Винсент. Я прекрасно помню, как он сказал, указывая на висевший там большой портрет Гитлера: «Не больно-то уютно будет им здесь танцевать».

Характерно, что я никогда не обращал на портрет особого внимания; для меня он представлял собой часть обстановки, нейтральную и значимую не больше, чем стул или гардина. Понимаете, господин судья? Еще не вступив на борт, беженцы уже произвольно влияли на мой мир, на мою среду, смещали акценты и сдвигали вещи с привычных мест. Это было вторжение, господин судья. Вторжение чужаков, насилие над моей, над нашей жизнью, над ее стилем и распорядком. И самое неприятное заключалось в том, что, совершая это насилие, они всем своим видом продолжали претендовать на звание жертвы, что автоматически превращало любой ваш законный протест в нечто бессердечное.

– Не думаю, что они из тех, кто танцуют, – ответил я Винсенту.

– Ерунда! – засмеялся он. – Вот увидишь, не пройдет и двух дней...

Я, конечно же, не поверил, господин судья, но Винсент оказался прав. Видимо, плавание на прогулочном корабле действительно творит чудеса. Знаете, открытый морской простор, чайки, купание, кинозал, удобные каюты, превосходная еда... Сначала оттаяли дети. Уже на следующее утро они весело носились по палубам, плескались в бассейне и уминали за обе щеки все, что придется. А потом и взрослые... Казалось, еще в субботу они без-

вылазно сидели в своих каютах, глядя в иллюминаторы на медленно удаляющийся германский берег, и никакая сила не могла бы вытащить их оттуда. И в самом деле, в субботу мы играли в совершенно пустом зале. Каково же было мое удивление, господин судья, когда в воскресенье буквально яблоку негде было упасть!

По традиции, я начал с корабельного гимна. «Сент-Луис Блюз» немного смутил моих слушателей, напомнив им неприятные минуты вчерашнего отплытия. Но смущение длилось недолго. Я сразу перешел на «Эль Манисеро», и они тут же принялись кивать головами в такт этой замечательной румбе. Потом, когда мы выдали «Маму Инесс», я с радостью отметил в зале первые робкие улыбки. И тогда, тонко рассчитанным ходом, наш маленький оркестрик выплеснул на них танго. Можно ли устоять перед «Брызгами шампанского», господин судья? Они дрогнули... вот поднялась первая пара, за ней еще несколько... и через минуту танцевал уже весь зал. Винсент подмигнул мне, лукаво улыбаясь. А люди... их будто прорвало. Они не собирались садиться. Румба сменяла танго, за нею следовал фокстрот и меренга, и снова румба, а наши пассажиры все танцевали, с какой-то жадной готовностью крутя бедрами в такт музыке.

И мне стало стыдно, господин судья, за то мое давешнее настроение. Мне стало не просто стыдно, а ужасно стыдно, так, что даже слезы выступили у меня на глазах, и Винсент, заметив это, беспокойно заерзал на стуле, видимо, решив, что я пьян существенно больше обычного. Но я не был... то есть, был, но не больше. Мы играли долго, очень долго, раза в полтора дольше, чем положено по контракту, пока Винсенту не надоело, пока он не ушел, сказав, что завтра, мол, будет новый день; затем ушли и остальные мои партнеры, один за другим, как в той симфонии Гайдна, а я все играл и играл, стараясь хоть как-то загладить свою вину, и несколько оставшихся пар медленно покачивались на паркете под мое фортепьяно. Я закончил только после того, как последняя пара покинула зал, и ни секундой раньше.

Тут-то, господин судья, он и подошел ко мне, этот юноша. На вид ему можно было дать лет восемнадцать. Высокий, очень худой, с относительно свежими шрамами вокруг рта, как после хорошей поножовщины. Такие шрамы остаются на всю жизнь, как ни зашивай, а у него, надо сказать, швы были наложены очень аккуратно. Да и весь он выглядел очень аккуратным, с ног до головы, скромный такой, симпатичный молодой человек.

– Извините, – сказал он. – Уже поздно, но я вас долго не задержу. Не знаете ли вы, случаем, как зовут автора «Продавца арахиса»?

– Автора чего? – переспросил я.

– «Продавца арахиса», – повторил он и, протянув руку к инструменту, сыграл несколько нот.

Это был «Эль Манисеро». Я в жизни не слышал, как звучит это название в переводе на немецкий, но автора его знал, причем неплохо.

– Еще бы! – сказал я парню. – Еще бы я не знал старину Мозеса! Да будет тебе известно, дружок, что эту румбу он написал при мне, в гаванской таверне, причем на салфетке и за какие-то четверть часа! И если ты будешь хорошо себя вести и слушаться маму, то я обещаю ровно через две недели показать тебе ту самую таверну и тот самый стол.

Конечно, здесь я немного приврал, господин судья – все по той же причине излишнего рвения. Нет, в общем и целом, сказанное было чистой правдой, хотя и с небольшим исключением. Мозес Симонс и в самом деле написал «Эль Манисеро» на салфетке в гаванской таверне, вот только я рядом с ним тогда не сидел. Впрочем, если собрать всех тех, кто клятвенно уверяет, что присутствовал при сем историческом моменте и даже пролил ром на салфетку с нотами шлягера всех времен и народов, то они не поместятся не только в этой небольшой таверне, но и во всей Гаване. Да что там в Гаване – на всей Кубе не хватит места, чтобы разместить эти миллионы очевидцев!

Так что можно считать, что я преувеличил совсем чуть-чуть. Следует также принять в расчет, что после каждых пяти номеров я имею обыкновение пропускать стаканчик рома, а поскольку играть пришлось намного больше обычного, то и, соответственно...

– Как ты, говоришь, тебя зовут? – спросил я паренька. – Йосеф? Очень приятно. Ты видишь перед собой самого Гектора Салазара! Слушай, ты, я вижу, тоже немного стучишь по клавишам. Отчего бы тебе не сыграть что-нибудь эдакого для дяди Гектора? А он пока выпьет за твое здоровье...

Последнее, что я запомнил из того вечера, перешедшего в утро – это его игру, превосходную для любителя. Проснулся я уже около полудня у себя в постели. Паренек непонятно каким образом выпытал у меня номер каюты и доставил прямиком в койку. Так мы, собственно говоря, и подружились, я и Йосеф.

Я думаю, что его притягивала ко мне музыка. Он мог рассуждать о ней часами, сравнивая композиторов и исполнителей, их стиль и манеру. Как-то сказал мне: – Я хочу быть, как ты. Инструмент всегда под рукой, и никто не запрещает тебе играть, а наоборот, все тебе рады и даже платят за это деньги.

Вроде бы, отец Йосефа не больно-то одобрял это увлечение... и я, честно говоря, понимаю его вполне. Это-то я и пытался объяснить своему новому приятелю.

– Смотри, парень, – говорил я. – Это будущее не для тебя. Ты красивый образованный мальчуган из хорошей семьи. Зачем тебе вертеться в обществе таких пьяниц, как я? Даже самые знаменитые из нас проводят всю жизнь на колесах, в вечной заботе о куске хлеба, а кончают все равно где-нибудь в канаве или на заднем дворе кабака. Думаешь, твоего любимого Мозеса Симонса ожидает другая судьба?

Тут я оказался плохим провидцем, господин судья. Прославленный автор «Эль Манисеро» умер не в канаве, а в Мадриде, шестью годами позже, в 45-м. Два года до этого он провел в Бухенвальде.

Я и понятия не имел, что он еврей, а вот гестапо разобралось. Или французская полиция – не знаю уж, кто там арестовал его в Париже. Так что, как видите, и музыканты подыхают не только от передозы или цирроза печени.

Но Йосеф и слышать не хотел моих увещеваний. У него был четкий план: немедленно начать зарабатывать и на эти деньги выкупить у немцев своих родителей и сестер. Дело в том, господин судья, что, судя по рассказу Йосефа, выезд из Германии стоил очень больших денег, так что у его семьи не было никакой возможности выехать всем вместе, впятером. Единственный вариант, который казался в такой ситуации разумным, заключался в том, чтобы выслать кого-нибудь вперед, а уже потом, зацепившись за него, как за якорь, перетащить и остальных. Отец Йосефа, важный профессор и научное светило в чем-то там, подходил для этой цели лучше всего, но немецкие власти не давали ему разрешение на эмиграцию из-за каких-то секретных работ, с которыми он был связан в прошлом. Оставался второй мужчина в семье – Йосеф.

Снаряжая его в дорогу, продали все, что еще оставалось ценного.

– Даже сделали мне новые зубы, – сказал Йосеф. – Потому что отец уверял, что в Америке никто не станет разговаривать со щербатым человеком, особенно о работе. Неужели это правда, а Гектор?

Я пожимал плечами. Что сказать, профессор был, похоже, действительно мудрым человеком.

Чего я никак не мог добиться – так это того, чтобы Йосеф рассказал мне, зачем вообще понадобилось вставлять новые зубы и чем были плохи старые? Восемнадцать лет – не слишком распространенный возраст для подобных операций. Или это как-то связано со шрамами на лице? Но парень молчал, как рыба, и я отстал – в конце концов, какая разница?

Корабль плыл, пересекая Атлантику, погода стояла великолепная, и наши пассажиры все больше и больше напоминали обычную каникулярную публику. Загорелые дети шумно играли в прятки, забираясь в самые укромные уголки, а вечерами, когда мелюзга отправлялась спать, те же самые уголки занимали влюбленные парочки. Невозможно было пройти ночью по палубе, господин судья, чтобы не услышать звук поцелуя или сдавленные вздохи, доносящиеся из зачехленных шлюпок. Как говорится, жизнь брала свое.

И в то же время постоянно чувствовалось какое-то напряжение, какой-то неприятный, угрожающий фон. В чем проявлялось это напряжение? Ну, я не знаю... в поведении людей, в странных перешептываниях, в нервозности... К примеру, один господин из первого класса, не переставая, утверждал, что никому не дадут сойти на берег, что все путешествие представляет собой очередную дьявольскую гестаповскую шутку и затеяно исключительно с целью помучить людей пустыми надеждами перед неминуемым возвращением в концлагерь. Он говорил об этом непрерывно, теребя скатерть или постукивая пальцами по стене, и глядя совершенно бе-

зумными глазами куда-то вбок, на ему одному видимую беду. Жена и взрослая дочь безуспешно пытались его урезонить, а он устраивал в ответ шумные истерические сцены, одна другой тяжелее. Понятно, что этот псих нервировал и остальных.

Но даже у тех, которые внешне выглядели абсолютно нормальными, видна была сильная тревога, хотя и закопанная поглубже. Уж больно много они танцевали, слишком шумно радовались, чересчур громко стонали под брезентом подвешенных на палубе шлюпок. Все эта ситуация походила на огромный баллон, наполненный водой. Как-то я видел один такой на ярмарке, уже не помню где. Стоял себе посреди площади гигантский такой баллон, слегка накренившись на один бок, словно раскормленная болонка, статичный и оплывший... и все люди на площади знали, что он может лопнуть в любой момент – то ли от озорного ножика, то ли от неимоверной тяжести, распирающей оболочку. А уж коли лопнет, то хлынет так, что только держись, причем в какую сторону – неизвестно. И вот народ, хотя и гуляет будто бы беззаботно между лотками и балаганами, но постоянно на баллон этот поглядывает: мол, когда же, когда? Ну давай уже...

Йосеф, кстати, сначала стеснялся своих шрамов, а потом ничего, разошелся. Нашел себе подружку... вернее, она его нашла – симпатичная девчушка по имени Ханна. И тут музыка помогла – к тому времени я уже доверял ему заменять меня в некоторых номерах, чтобы почувствовал сцену. Ну а мужчина на сцене кажется девушкам вдесятеро привлекательнее, это уж вы можете мне поверить, господин судья. В общем, так все и катилось само по себе, пока не начались неприятности.

В середине второй недели умер старик, из пассажиров. Говорили, что он дышал на ладан еще до отплытия, так что непонятно, какого дьявола потребовалось тащить в Америку через океан смертельно больного человека? Возможно, это прозвучит нехорошо, но я думаю, что лучше бы посадили на пароход кого-нибудь помоложе, чем зря место занимать. Вы полагаете, что я не прав? Ладно, не будем спорить... да и не мое это дело. Вы судья, вам и решать.

Труп на корабле – плохая примета. Понятно, что капитан сделал все, чтобы о дурной новости узнало как можно меньше народу. В первый момент эта задача выглядела простой: ведь старик с самого Гамбурга ни разу не выходил из каюты, так что никто не обратил бы внимания на его исчезновение, кроме, конечно, вдовы, судового врача и капитана. Увы, иногда мертвецы приносят намного больше хлопот, чем живые. Старикан умер своей смертью, господин судья, но удивительным образом все, кто приходил в соприкосновение с ней – я имею в виду, с этой смертью, чувствовал себя не в своей тарелке. А иначе, как бы возник вечный вопрос, всегда занимающий преступников в детективных романах: что делать с телом? Я не думаю, что капитан, врач, и уж тем более, вдова чувствовали на себе какую-то вину... но факт: любой, кто узнавал о смерти – а в конечном счете, несмотря на предосторожности, о ней стало известно всем, включая последнюю ко-

рабельную крысу, так вот: любой, кто о ней узнавал, испытывал либо страх и неловкость, либо возмущение. А почему? Вроде бы обычная смерть.

Не могло быть и речи о том, чтобы везти тело на Кубу – до Гаваны оставалось еще несколько дней пути, а трупного холодильника на корабле не было. Вдова немного поупиралась, но иного выхода, кроме как похоронить тело в море, просто не существовало, и она согласилась. Но – на одном условии: похороны будут по всей форме, то есть с молитвами и так далее... не знаю, господин судья, я не больно-то сведущ в еврейских обрядах. Капитан раздобыл для вдовы раввина, чтобы тот прочел соответствующие молитвы, и думал этим ограничиться. В конце концов, это увеличивало число посвященных всего лишь до четырех, причем с раввина капитан намеревался взять слово о неразглашении. Увы, к его потрясению оказалось, что для нормальной церемонии непременно требовалось присутствие еще девяти евреев.

Неудивительно, что через несколько часов весть о смерти разнеслась по всему пароходу. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что капитан, опять же, во избежание огласки, задержал церемонию до наступления полной темноты. Лично я узнал о предстоящих похоронах от Йосефа, сосед которого по каюте был дальним родственником жены одного из девяти приглашенных «счастливчиков». Зачем я решил пойти? Гм... может быть, профессиональный интерес? В конце концов, музыкантам иногда приходится играть на похоронах, так что... Аа-а, ладно, что там петлять, господин судья... я пошел потому, что чувствовал себя виноватым, вот что. При этом злился я чрезвычайно – прежде всего, на самого себя, ведь никакой вины на мне не было, а кроме того – на евреев, которые снова каким-то образом поселили во мне этот необъяснимый психоз.

Вы не представляете, сколько народу собралось на корме. Думаю, там присутствовали все пассажиры, плюс команда, исключая вахтенных... впрочем, даже насчет вахтенных я не уверен. По капитану было видно, что он с трудом удерживался, чтобы не начать ругаться последними словами – и это наш капитан Шредер, человек, интеллигентней которого я не встречал никогда! Да уж... дискретность удалось соблюсти в полной мере... Тело, обернутое в светлую тряпку, лежало на широкой доске, которую мы обычно использовали в качестве задника на своих концертах. С одной стороны доска была разрисована пальмами, морем и золотым песком, а поверху шла красивая надпись: «Добро пожаловать на Кубу!» Зато на другой стороне имелся силуэт Гамбурга с его домами и шпилями и соответственным «Добро пожаловать в Германию!» Мертвый старик лежал на правильной, кубинской стороне.

Кто-то сзади тронул меня за локоть и прошептал:

– Он все-таки попал в свою Гавану!

Я обернулся и увидел Генриха, нашего гитариста. Он выглядел просто ужасно, господин судья. Генрих был единственным немцем в нашем ансамбле. Я думаю, что странное чувство вины, ко-

торое я описал, у Генриха превратилось в вид одержимости... или как это называется? Обсессия? Вот-вот, обсессия. Думаю, что это из-за того, что он слишком долго играл с евреями – знаете, среди них есть много хороших музыкантов... вот... ну, и когда началось это самое... да... то есть, когда германские оркестры начали редеть совершенно определенным образом, то это произвело на Генриха очень неблагоприятное впечатления. Винсент говорил мне, что там не обошлось без какой-то личной истории, а иначе трудно объяснить то рвение, с которым Генрих помогал нашим нынешним пассажирам при посадке в Гамбурге. Например, этому, ныне усопшему старику Генрих просто поднес в каюту чемоданы, как обычный носильщик, чем вызвал град насмешек со стороны групповода Отто Шендика.

Кстати, Шендик стоял здесь же, на корме, насмешливо подвывая в такт гнусавым еврейским молитвам. Против моих ожиданий, никаких песен или другой музыки не было – вот уж не думал, что у них похороны проходят настолько уныло.

– Прощай, и будь благословен, – сказал сзади Генрих.

И тут только я догадался, господин судья, об истинных причинах его расстройства.

– Ты что, знал покойного? – спросил я его. Он кивнул и быстро зашептал мне на ухо. Оказалось, что старик был его учителем, и даже, более того, Генрих жил у него в доме, как сын, и когда подвернулась возможность вывезти его с женой из Германии на «Сент-Луисе», то Генрих в лепешку разбился, чтобы собрать необходимые бумаги и деньги. Теперь он плакал, не скрывая слез.

– Он был святой, Гектор... – бормотал наш бедный гитарист, дыша прямо в мое ухо. – Святой... и вот, не доехал! Не доехал! Как же так?..

Мне стало неприятно, и я отодвинулся, тем более что молитвы вроде бы закончились, и несколько человек взялись за края доски, чтобы поднять тело на уровень фальшборта и сбросить его в океан.

И тут, господин судья, настал звездный час оргцгруппенлейтера Отто Шендика. Надо сказать, он и до этого отличался довольно-таки мерзкой активностью: например, разбрасывал в обеденном зале номера «Штюрмера», горланил с группой своих приятелей нацистские песни и не упускал случая запустить соответствующую германскую хронику перед демонстрацией фильмов. Но на этот раз Шендик превзошел самого себя.

– Капитан, – сказал он с наглой ухмылкой. – Я протестую. Есть установленный законом порядок церемонии. Мне плевать, какие именно кошачьи вопли издают эти... гм... типы перед тем, как похоронить свою падаль... это их дело, а не мое. Но поскольку территория судна представляет собою территорию Рейха, то тело, согласно закону, должно быть обернуто в государственный флаг Германии. И при этом совсем не важно, обкорнан ли у трупа его стручок, как у этих... гм... типов... или нет, как у всех остальных нормальных людей.

И с этими словами подонок оттолкнул остолбеневшего раввина и рванул за край тряпки. Тело старика крутанулось и, распеленываясь, скатилось с доски на палубу, разбросав прямые негнущиеся руки. Все буквально окаменели, все, кроме ортцгруппенлейтера и его подручных. Один из них уже держал наготове красный флаг со свастикой. Он подскочил к телу и поддал ногой отлетевшую руку, чтобы было сподручнее заворачивать. И тут, клянусь вам, с неба раздался стон. Клянусь, это был стон, и шел он сверху и одновременно как бы отовсюду. И сразу же после этого закричала вдова. Она кричала так, как будто кто-то воткнул в нее нож и теперь медленно тянет лезвие вверх по живым тканям. Я слышал точно такой же крик, когда в портовом кабаке бандит резал матроса. И тут началось... Господин судья! Я прожил долгую жизнь, но никогда не видел сцены безобразнее той, что разыгралась тогда, на корме парохода «Сент-Луис».

Люди кричали что-то бессвязное, кто-то просто упал на колени и, раскачиваясь, выл, как волк, запрокинув голову и воздев вверх руки... другие, рыча, метались, пытаясь добраться через толпу до Шендика и его банды, а те, в свою очередь, работали кулаками... и мертвое тело, как кукла, свесив седую голову, болтало конечностями и переходило из рук в руки, а с затоптанной доски все так же сияли пальмы и море, и песок, и надпись «Добро пожаловать на Кубу!» Его так и сбросили, без всякой доски и савана, просто так, перевалили через фальшборт во время той безобразной драки. А вслед за ним, примерно через полчаса, спрыгнул и Генрих. За борт, к своему мертвому учителю, так и не попавшему в Гавану, даже в нарисованную. Покончил с собой, господин судья. Остался наш ансамбль без гитариста.

Капитан Шредер остановил корабль, и мы потратили всю вторую половину ночи и часть утра на безнадежные и безуспешные поиски Генриха. До Гаваны оставалось три дня пути. Они прошли тяжелее некуда. Групповод Шендик ходил гоголем и многообещающе подмигивал всем, кто чувствовал себя в силах посмотреть в его наглые оловянные гляделки. Я не понимал тогда, почему капитан Шредер не может поставить мерзавца на место. Йосеф полагал, что, скорее всего, ортцгруппенлейтер не совсем тот, за кого он себя выдает, что в других обстоятельствах он носит не гражданский костюм, а черную форму с сапогами. Уже потом, по прошествии многих лет, когда про наше путешествие были написаны статьи и книги, я узнал, что Йосеф ошибся только в цвете мундира: Шендик принадлежал абверу, а не гестапо, что, впрочем, не делало его меньшим подлецом.

Пассажиры вернулись в подавленное состояние первых суток путешествия. О танцах и речи не шло, так что отсутствие бедного Генриха никак не сказывалось на качестве нашего исполнения: вполне хватало пары скрипок и фортепьяно. Даже духовые и ударные звучали диссонансом. Люди в обеденном зале молча двигали челюстями, вздрагивая при каждом громком звуке. Единственным, кто парадоксальным образом пошел на поправку, оказался тот пас-

сажир из первого класса, о котором я уже рассказывал. Помните, тот самый, который был уверен, что в Гаване никому не дадут сойти на берег и вернут в концлагеря? Он и на этот раз не сомневался, что две случившиеся на судне смерти – дело рук гестапо. Но в его болезненном алогичном сознании это странным образом опровергало первоначальную версию о возвращении. Он рассуждал так: зачем бы гестапо понадобилось убивать этих двоих, если оно могло мучить их и дальше? Значит, скорее всего, повернуть корабль вспять не под силу даже всесильной политической полиции. Согласитесь, господин судья, определенная логика в этом была, хотя и совершенно извращенная. Так или иначе, один самодовольно разглагольствующий безумец на фоне мрачно молчащего зала еще больше усиливал общую депрессию.

Приближающаяся Гавана, хотя и являлась для пассажиров «Сент-Луиса» целью желанной, но ни в коей мере не окончательной. Как объяснил мне Йосеф, все они, без исключения, заполнили просьбы на въездные визы в Штаты и рассматривали Кубу лишь в качестве промежуточной базы, где можно спокойно подождать разрешения американской иммиграционной службы. Что, естественно, означало переход в новый этап гонки за выживание, новые, неизвестные пока еще, хлопоты в чужой стране с незнакомым языком и непонятными обычаями. На короткий период морских каникул они позволили себе расслабиться, забыть о своем непростом положении и об оставшихся в Германии родных, но тяжкая сцена похорон разом вернула их к действительности.

Йосефа в эти дни я видел редко, хотя и очень старался поговорить с ним при любой возможности – ведь он оставался для меня единственной радостью в гнетущей атмосфере, которая воцарилась на корабле. Дело в том, что мальчик был совершенно поглощен неожиданно свалившимся на него чувством, и, честно говоря, мои глаза, уставшие от созерцания мрачных физиономий, просто отдыхали при одном взгляде на его счастливое лицо. Мне приходилось напоминать ему о его же собственных планах зарабатывать в Гаване музыкой – только так и получалось завладеть драгоценным вниманием господина Йосефа. Как и всем впервые влюбленным, жизнь казалась ему и его Ханне полностью изменившейся. Еще вчера мир, как голодный лев-людоед в сказке, угрожающе разевал перед ними свою зловонную пасть, и вот сегодня, как по мановению волшебной палочки, он уже покорно ползает у их босых ног, лижет палубу, трясет блохастой гривой и умоляет поделиться хотя бы крупицей счастья, а взамен обещает, обещает, обещает... А им-то что... им не жалко... на, бери, косматый, – вон у них его сколько, этого счастья: льется через край, того и гляди, затопит этот крошечный океан за бортом.

Что там говорить, господин судья... любовь – тоже вид сумасшествия, особенно первая. Так что в этом отношении Йосеф не выглядел нормальнее того свихнувшегося господина из первого класса. Помню, я подумал тогда, что они представляют собою разные крайности: господин наделяет людоеда несуществую-

щими клыками, а Йосеф безмятежно записывает опасное чудовище в свои лучшие друзья. Кто ж мог знать, что правы окажутся не нормальные люди, обладающие взвешенным взглядом на вещи – например, такие, как я... а именно безумец, причем не просто безумец, а именно безумец-пессимист? Скажите, господин судья, зачем придавать этому миру признаки разумности и в то же время произвольно швырять его в самых безумных направлениях? Нельзя ли остановиться на чем-нибудь одном? Что?.. Ах да, извините, конечно. Вопросы здесь, несомненно, задаете вы. Извините еще раз.

Огни Гаваны показались на горизонте в ночь на субботу, 27 мая. После всего того, что я рассказал, думаю, вам будет понятна радость, с которой все встретили это известие. Один лишь капитан казался озабоченным. Как выяснилось потом, он уже знал, что никому не будет дозволено сойти на берег. «Сент-Луис» даже не был допущен к своему привычному пирсу – мы просто встали на якорь в середине гавани. Я готовился сойти на берег вместе с Йосефом, Ханной и ее родителями. Мы предполагали, что на первых порах они вполне могут пожить в доме моих стариков. Контракт обязывал меня вернуться в Гамбург, но я собирался воспользоваться старыми связями и попробовать за пару дней, пока пароход стоит в Гаване, пристроить мальчика пианистом в какую-нибудь таверну поуютней. Мне не пришлось бы за него краснеть, поверьте, господин судья.

– Разве мы не должны подойти к пирсу? – спросил меня Йосеф, когда все уже стояли на палубе, ожидая возможности сойти на берег.

– Не знаю, – сказал ему я. – Наверное, какие-нибудь искусственные формальности, решаемые, как всегда, горстью долларов. Здесь, на Кубе любой чиновник, от почтальона до президента живет только за счет взяток. Скоро сам увидишь.

Я так и думал тогда, господин судья, в точности так. Даже преувеличенно серьезное лицо полицейского у трапа не насторожило меня.

– Слушай, парень, – сказал я Йосефу. – Судя по задержке, вы тут пробудете еще часик-другой. Но мне не хочется терять времени – будет гораздо разумнее, если я заранее извещу родителей о вашем приезде. Как только спуститесь, берите такси и езжайте прямиком ко мне.

Я написал ему адрес на клочке бумаги и пошел к трапу, где уже стоял Винсент. Полицейский изучал наши документы так долго, как будто впервые видел кубинские паспорта. Наконец мы спустились в полицейский катер. Кроме нас позволили сойти еще четверым членам команды с испанскими паспортами.

На берегу шумела кучка местных нацистов, размахивая плакатами. На плакатах было написано: «Возвращайтесь откуда приехали!» и еще конкретнее: «Евреи, вон!» Винсент вздохнул и покачал головой. Помню, я тогда рассмеялся:

– Не бери в голову! Шендики везде одинаковы.

Дома отец, после первых приветствий погрозил пальцем и с шутливым упреком сказал:

– Что это твоя компания сюда коммунистов возит, как будто нам своих мало?

– Каких коммунистов?

Он бросил мне сегодняшнюю газету. Ее заголовки немногим отличались от лозунгов портовой демонстрации. Что происходит? Отец удивленно развел руками:

– Ты ничего не знаешь? Вся Куба бурлит. Пару недель назад в Гаване была огромная демонстрация – тысяч пятьдесят, не меньше. Я такой и не упомню. Люди недовольны. Работы и так мало, а тут еще тысяча коммунистов на нашу голову.

– Каких коммунистов, отец? Что ты несешь?»

– Ну как же, – сказал он уверенно. – Это ведь евреи, правда? А евреи все коммунисты, разве не так? Ладно, хватит об этом. Пойдем-ка лучше выпьем рому.

Но даже славный гаванский ром не лез мне в глотку. Я провел на берегу четыре дня, не находя себе места. Чужим трудно понять кубинскую голову, господин судья. Но я-то был свой. В первый же момент мне стало ясно, что должно произойти неимоверное чудо, чтобы пассажирам «Сент-Луиса» дали сойти на гаванский берег. Там сошлось все – политика, безработица, местные нацисты, германская пропаганда, коррупция, газетные мерзавцы... и все это сплелось в неимоверно прочный узел, развязать который не мог уже никто. Я пытался представить себе, что происходит сейчас на корабле. Ад! С моей стороны было просто идиотизмом возвращаться туда, но сидеть на берегу было почему-то еще хуже.

Я вернулся в среду, на следующий день после того, как сумасшедший господин из первого класса бросился за борт, предварительно вскрыв себе вены. К счастью, я этого не увидел. Беднягу выловили из воды и отправили в госпиталь. Ирония судьбы заключается в том, что он оказался одним из очень немногих, кто в итоге попал на берег. Вот вам и безумец... В пятницу «Сент-Луис» запустил двигатели и снялся с якоря. В обратный путь. Капитан предусмотрительно выбрал для этого обеденное время – видимо для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Ведь реакция могла быть всякой. Что бы сделали вы, господин судья, почувствовав толчок судна под вашим стулом – как толчок земли, уходящей из-под ног во время землетрясения? Толчок, означающий конец последних надежд, насмешку судьбы, гадкой, как торжествующая улыбка ортгруппенлейтера Отто Шендика? Что бы сделали вы?

Нет-нет, вопрос мой риторический, я не жду от вас ответа. Я помню: вопросы здесь задаете вы. Те люди в обеденном зале замерли на какое-то мгновение, все, как один, и глаза их смотрели не наружу, а вовнутрь... замерли, а потом опустили головы и просто продолжали есть, молча, как и за минуту до этого. Можно ли представить себе такое? Они даже не плакали; плакали официанты, а эти – нет! И я еще тогда подумал: это же что нужно пройти, чтобы выработать в себе такую бесконечную меру терпения! Да и потом...

потом, уже дней через десять, два парня из обслуги покончили с собой. Беда происходила не с ними – им самим не угрожало ровным счетом ничего! Вы понимаете? Посторонние парни повесились оттого, что не могли вынести одного только вида происходящего с этими людьми... или от стыда... не знаю, да это и не важно, отчего... важно то, что из самих несчастных не покончил с собой никто! Никто, если не считать неудавшейся попытки того, оставшегося в Гаване господина, который, правду говоря, был помешанным с самого начала и потому не в счет. Хотя в целом свете трудно было сыскать людей, у которых нашлось бы больше оснований прыгать за борт, чем у этих терпеливых изваяний, с глазами, устремленными вовнутрь, молчаливо пережевывавших свою пищу, в то время как спасительный берег за окнами дернулся и поплыл, неудержимо отдаляясь.

Они уже не рассчитывали ни на что, в отличие от капитана, который продолжал бороться, стараясь выиграть время. Мы обогнули остров, но решение кубинского правительства осталось тем же, несмотря на упорные попытки изменить его со стороны всевозможных сочувствующих организаций. Кстати, сочувствующих нашлось уйма, вот только въездных виз не давал никто.

– Надо идти к берегам Флориды, – говорил я Йосефу. – Здесь, с кубинцами, капитан только зря жжет топливо. Америка – вот ваша надежда.

Но этот восемнадцатилетний мальчик только грустно улыбался, глядя на меня глазами семидесятилетнего... нет, тысячелетнего старика.

– Пойми, Гектор, – сказал он мне как-то. – мы не нужны никому. Мы тут чужие, как марсиане, на этой планете. Все человечество будет только радо, если мы исчезнем. Просто никто до сих пор не брался за это дело серьезно. А Гитлер взялся, и теперь никто не станет ему мешать, вот увидишь.

Это звучало дико, господин судья. Совершенно нерационально. Я, хоть и человек искусства, но мистики абсолютно не перевариваю. Америка, страна беженцев и иммигрантов, должна была их взять, без сомнений. Тем более что телеграмма, которую отправили президенту Рузвельту, попала прямиком в газеты – для большей верности, чтобы не затерялась среди других бумаг на столе самого занятого в мире человека. Но, тем не менее, она затерялась, господин судья, можете себе такое представить? Там, на столе Овального кабинета, в ворохе опросов общественного мнения. Президент могучей державы молчал, как скромный мышонок в своей норке. Молчал, когда «Сент-Луис» лег в дрейф последней надежды прямо напротив сияющего огнями Майами, молчал, когда катера американской береговой охраны отогнали нас, как паршивого пса, от беспечных берегов Флориды, молчал, когда, отчаявшись, капитан взял, наконец, курс назад, на смерть, на Гамбург!

Так что прав оказался Йосеф, а не я, умудренный опытом лабух. Мы плыли через Атлантический океан, и он казался уже деревенской речки – так стремительно приближалась к нам старая подлая

Европа, распахнув ворота своих концлагерей, дыша огнем своих крематориев, истекая газом своих душегубок. Мы возвращались туда, молча склонившись над тарелками, пассажиры и члены экипажа, евреи и прочие, Йосеф и я, с глазами, устремленными вовнутрь... с тем лишь отличием, что я видел внутри только стыд и смятение, а он что-то другое, о чем никогда не говорил, да и кто расскажет?

Чудо произошло на самом подходе к Британским островам. Четыре европейские страны согласились предоставить пассажирам «Сент-Луиса» временное убежище до окончательного выезда на постоянное жительство в Соединенные Штаты. В совместном заявлении они особо упирали на временность и исключительность принятого решения, дабы сотни тысяч остальных германских евреев ошибочно не истолковали его, как готовность спасти от Гитлера и их. Йосеф и Ханна сошли на берег в Антверпене. У ханниных родителей были родственники в Брюсселе, поэтому чиновники оставили их в Бельгии. Я сошел вместе с ними. У профессионального лабуха везде есть связи, и мне без особого труда удалось пристроить мальчика в приличный брюссельский ресторан. Какая-никакая, а работа.

На «Сент-Луис» я не вернулся. Честно говоря, при одной мысли об этом судне у меня начинало ныть в животе. Распрощался с Йосефом, пожелал ему удачи и рассказал, как найти меня в Нью-Йорке. По самым пессимистичным расчетам, он должен был оказаться там не позже, чем через два года.

– Не расстраивайся, мальчуган, – сказал я ему. – Мы еще сбацаем вместе твоего любимого «Эль Манисеро»!

Как же! Не расстраивайся... я сам с трудом сдерживал слезы, а паренек только улыбался своей грустной улыбкой. Может, они и впрямь марсиане, господин судья? Больше мы с Йосефом не встречались.

Я отплыл из Бельгии в августе 39-го. А еще через восемь месяцев туда вошел Гитлер. Вот и все, господин судья. Единственное, что у меня осталось на память о том путешествии – это аллергия на корабельный гимн, «Сент-Луис Блюз». Стыдно сказать, но в первый раз меня стошнило прямо на клавиатуру. Что ж, как я уже отмечал, у каждого из нас – свои человеческие странности.

Глава III

К своему непосредственному начальнику Берл относился сложно. С одной стороны, Мудрец раздражал его своим безграничным занудством, своими бесконечными претензиями, которые с первого взгляда выглядели просто дурацкими, на второй – оказывались еще более дурацкими и только с третьего захода в них обнаруживалось некое рациональное зерно. Но до третьего взгляда в сумятохе событий, как правило, не доходило, что, естественно, не добавляло теплоты к их взаимоотношениям. Так или иначе, по изоби-

лию взаимных уколов, деловые разговоры между Берлом и руководителем Службы больше напоминали фехтовальный поединок. Подобное положение дел, очевидно, вполне устраивало Мудреца, который странным макаром получал удовольствие как от собственных удач, так и от уколов противника, что бесило Берла дополнительным образом.

С другой стороны, Берл привык к этому дышащему на ладан старичку в толстенных очках, к его длинным жалобам на здоровье, к его убаюкивающей манере разговора, из которой вдруг неожиданно выскакивало, как стилет из бархатного рукава, острое и блестяще продуманное лезвие оперативного плана. Он мог сколько угодно жаловаться на занудство Мудреца, но, в конце концов, именно это занудство, эта педантичная подготовка, о большей части которой Берл имел весьма отдаленное понятие, не раз и не два выручали его из довольно неприятных ситуаций.

На встречу Берл ехал в плохом настроении. Он знал, что Мудрец редко что делает просто так – в особенности, когда требуется выбрать место встречи. Если уж ему, с его больными коленками взбрело в голову ковылять по лесным тропинкам вместо того, чтобы спокойно сидеть в кондиционированном кафе, попивая любимый тыквенный сок, то для этого наверняка существовали весьма серьезные причины. Неужели будет делиться воспоминаниями о своем героическом прошлом? Парк назывался «Иерусалимский Лес» и располагался с тыльной стороны горы Герцля, вплотную примыкая к военному кладбищу и «Яд-ва-Шем» – музею, посвященному жертвам Катастрофы. Он и впрямь больше походил на лес – по своему свободному характеру, не стесненному чрезмерным вмешательством садовника. О парке, пожалуй, напоминали только мусорные баки, водопроводные краны и врытые в землю столики для пикников.

Берл миновал ворота, проехал по асфальтовой дорожке до небольшой площадки и припарковался рядом с машиной Мудреца.

«Тоже «тойота», – подумал он, выходя и оглядываясь в поисках старика. – Везет мне на них в последнее время».

Сопоставление дряхлого интеллигентного начальника и синайского бедуина выглядело забавно само по себе, и Берл слегка развеселился. Вредный старикан, конечно, давно заметил его, но не торопился окликнуть. Остановившись у кромки деревьев, Берл с наслаждением вдохнул горьковатый иерусалимский воздух, пахнущий сосновой хвоей и солнечной пылью. В конце недели и по праздникам это место кишело любителями пикников, водка лилась рекой, запахи стейков и шашлыков заглушали аромат сосен, а дым мангалов возносился прямиком ко Всевышнему. Но сейчас, в этот будний день, парк был абсолютно пуст.

Лес карабкался в гору вверх от площадки. Приглядевшись, Берл обнаружил знакомую фигуру за одним из расставленных по склону деревянных столов и стал подниматься, хватаясь за ветки и ловко перемахивая с камня на камень. Мудрец сидел, сложив

перед собой маленькие морщинистые руки, и скорбно смотрел на приближающегося подчиненного.

– Здравствуйте, Хаим, – сказал Берл, с многозначительным звяканьем ставя на стол сумку для пикника. – Ума не приложу, как вы сюда взобрались. Дайте угадать... неужели фуникулер? Но где же тогда вагончики?

– Очень остроумно, – хмыкнул Мудрец. – Я пришел по тропинке, как и все нормальные люди.

Слово «нормальные» он выделил особо.

Берл благожелательно улыбнулся: – Вы же знаете, что нормы я обычно не выполняю. Оттого и кочую с завода на завод. Но где же ваша сумка, Хаим? Доставайте продукты. Гулять, так гулять.

– Какие продукты?

– В это место обычно приезжают только на пикник, – невинно заметил Берл, расстегивая сумку. – Отчего бы и нам не расслабиться?

Он последовательно выставил на стол хлеб, сыр, фрукты и плоскую бутылку Мартеля. Старик с изумлением наблюдал за его действиями.

«Один-ноль в мою пользу»... – подумал Берл и добавил вслух:

– А это специально для вас, Хаим.

На стол со стуком стала бутыль тыквенного сока. Нижняя челюсть Мудреца дернулась, но он вовремя поймал ее, не доводя до полного отвисания. Старый хрыч умел держать удар.

«Все равно два-ноль», – торжествующе отметил Берл про себя и достал бокал. – Вы не возражаете, если я буду пить из хрусталя? Мартель как-то не согласуется с одноразовыми стаканчиками. Но я все-таки захватил и их, специально для вас. Зачем лишать старого человека привычной посуды?

Берл заботливо положил стопку пластиковых стаканов поближе к начальнику. Мудрец только скрипнул всем телом. Три-ноль! Театральным жестом отбросив в кусты пустую сумку, Берл плеснул себе коньяку и дружелюбно наклонился над столом:

– Что же вы все молчите, Хаим? То, что вы заявились на пикник без продуктов, еще куда ни шло, хотя тоже не очень красиво – так я еще, чего доброго, подумаю, что вы скуповаты. Но если выяснится, что у вас нету даже слов, то я совсем заскучаю...

Инициатива была захвачена всерьез и надолго. Старик все так же молча достал из кармана клетчатый носовой платок и вытер обширную лысину.

– Я одного не пойму, – сказал он скрипучим голосом. – Чему вы так радуетесь? Задание-то, по большому счету, провалено. Тот кусок металла, который вы приволокли из Дааба, не может заменить информацию об источнике.

– Металла? – обиженно переспросил Берл. – Золота!

– А золото – не металл? – сварливо парировал Мудрец. – Чему вас только в школе учили?

Он явно приходил в себя.

– В школе меня учили многому, – терпеливо возразил Берл. – Например, тому, что, если помножить вес этого куска в унциях на пятьсот долларов, что является нынешней рыночной ценой золота, то стоимость его составляет примерно двести тысяч американских баксов. Или я ошибаюсь?

Старик фыркнул и, раздраженно вытащив стаканчик из затянутой в полиэтилен стопки, налил себе сока из бутылки.

– Нет, вы правы в своих вычислениях. Но позволю себе заметить, что от вас ожидается вовсе не проявление недюжинных способностей в области арифметики. Нам нужны сведения об источнике, Берл, понимаете? Об источнике. То есть, именно то, чего вы не принесли. Двести тысяч – это, конечно, деньги. Но кого они волнуют, Берл? Завтра же из Европы отправится еще один слиток, а за ним еще и еще. Куда? Кому? Откуда? Единственное известное нам звено – Збейди – уничтожено. Уничтожено кем, позвольте спросить? А? Молчите?.. Уничтожено вами, Берл, причем самым безответственным образом. Зачем?

Берл молчал, крутя янтарную жидкость по широкому дну бокала. Мудрец был прав, как ни посмотри. Главной целью являлся белобрысый, с ним и нужно было оставаться. Не спускать с него глаз, не отлучаться ни на минутку, охранять и тщательно фиксировать каждый контакт. Он же, как полный идиот, погнался за Збейди, которого, наоборот, следовало оставить в покое. Вздохнув, он проглотил коньяк.

– Хорошо, – сказал он. – Признаю. Виноват. Но поймите и вы меня, Хаим. Курьер выглядел явным любителем, случайной импровизацией, одноразовым мальчиком на побегушках. Я был уверен, что он никуда от меня не денется.

Старик снял очки и протер их все тем же клетчатым носовым платком. Очки имели прямо-таки монументальный вид: массивная роговая оправа, толстенные стекла со сложными накладками, мощные черные дужки. Без них карие навыкате глаза Мудреца выглядели какими-то детскими.

– Вы знаете, в чем ваша главная беда, Берл? – старик снова водрузил очки на крупный мясистый нос и взял со стола персик. – Вы чересчур подвержены инстинкту охотника. Вид убегающей добычи рождает в вас совершенно излишний зуд. Запомните: не все то, что бежит, подлежит автоматическому преследованию...

Берл налил себе еще. Мудрец молчал, ожидая ответа.

– Послушайте, Хаим, – Берл говорил с видом оскорбленного достоинства. – Не выставляйте меня, пожалуйста, гепардом-однолеткой. Конечно, я совершил ошибку, согласен. Но вовсе не потому, что забыл о курьере, погнавшись неизвестно за чем. Я просто недооценил уровень противника. Ничто не указывало на то, что за пареньком ведется слежка. Более того, мне и в голову не могло прийти, что его станут убивать. Повторяю, мальчик был случайным любителем, не более того. Информация, которой он владел, не могла угрожать из-за своей минимальности. В этой

ситуации убийство приносит намного больше вреда, потому что привлекает внимание. Разве не так?

Старик молчал, сосредоточенно пережевывая персик. При этом во рту у него что-то ритмично щелкало.

– Да и вообще, – продолжил Берл более уверенно. – Разве моя ошибка не стала, среди прочего, следствием полного отсутствия предварительной информации? Разве не вы должны были ориентировать меня заранее? Я действовал абсолютно вслепую, а теперь вы же рассказываете мне сказки про инстинкт охотника! Мне кажется, что вы, Хаим, с таким же успехом можете отнести провал и на свой счет.

Мудрец подумал и кивнул головой.

– Ладно, Береле, – сказал он, резко меняя тон на сугубо мягкий и доверительный. – Кто старое помянет, тому глаз вон. Давайте смотреть вперед, а не оглядываться назад.

– Давайте, – согласился Берл. – Но, оглядываясь на прощание, скажу вам еще кое-что. Те, кто убрали паренька, сделали это действительно мастерски. Я почти уверен, что официальной причиной смерти так и запишут внезапную остановку сердца. Разве что родственники будут настаивать на вскрытии. Да даже если и вскроют, не исключено, что найдут яд какого-нибудь морского скорпиона. Не повезло парню, накололся, нелепая случайность... Я ж вам говорю: настоящие профессионалы работали. Так что и я вполне мог бы не заметить, кто его там кольнул под водой. И что бы тогда у нас осталось? Вообще ничего. Ни одного факта. А так – хотя бы слиток и телефонный номер. Вот и получается, что не зря я за Збейди погнался. Что скажете?.. Эй, Хаим!..

Старик молчал, вхолостую двигая челюстями и уставившись не то на Берла, не то через его плечо – на лесистую долину в распадке иерусалимских гор, где жаркий полдень дрожал высокой и чистой нотой над верхушками сосен. Зрачки Мудреца метались в роговой оправе, фокусируясь на всех объектах одновременно, и ни на одном объекте в отдельности. Как всегда в таких случаях, Берл почувствовал неловкость. Болезнь старика – кстати, одна из многих – именовалась красивым словом «астигматизм», но временами Берл готов был поклясться, что Мудрец совершенно сознательно использовал затейливый танец собственных зрачков для того, чтобы сбить собеседника с толку. Обычно в этой ситуации люди терялись и принимались нести абсолютно незапланированную чушь. Но Берл был стреляный воробей. Он просто снова плеснул себе коньяку и приготовился ждать, сколько потребуется.

Внизу под ними послышался шум мотора; подъехала машина, постояла, будто сомневаясь, стоит ли выпускать своих пассажиров из кондиционированного салона в горячую сухость сосен, и наконец отважилась. Оставив двигатель включенным, вышла пара, он и она. Женщина потянулась, выгнувшись всем телом и заведя руки за спину, словно собиралась взлететь над обрывом и плыть себе дальше в компании ястребов, а мужчина принялся

фотографировать, приседая, вставая на одно колено, кренясь и приподымаясь на цыпочки. Мудрец сокрушенно вздохнул.

– Не сочтите меня параноиком, Берл, – сказал он. – Но это факт: они преследуют меня повсюду. Повсюду. Уже больше шестидесяти лет.

Берл озадаченно взглянул вниз.

– Извините, Хаим, но женщине на вид не больше тридцати. Мужчина, правда...

– При чем тут эти люди? – раздраженно перебил старик. – Я говорю не о них! Получено заключение по вашему слитку. Этот брусок отлит в Берлине. В нацистской Германии. На нем стоит клеймо Прусского Государственного Монетного Двора. И год – 1938.

– Что ж, тогда все сходится, – Берл бодро прихлопнул ладонью по столу. – Немецкий курьер, немецкие газеты, немецкий слиток, немецкий банк. Вот вам и источник!

– Глупости! – презрительно фыркнул Мудрец. – Если бы вы хоть немного интересовались новейшей историей, то знали бы, что ничего из этого не следует. Ровным счетом ничего. Во время войны немцы ограбили многие европейские банки. Золото вывозили из Франции, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов... Потом их заставили все это вернуть. С избытком, включая репарации. Ваш слиток мог оказаться в любом банке Европы, даже мира.

Внизу хлопнули дверцы; машина дернулась и уехала. Над лесом снова повисла жаркая тишина, составленная из монотонного скрежета цикад, сухого шелеста сосен и отдаленного монотонного гула автомобильной магистрали.

– Хорошо, – не выдержал Берл. – Убедили. В любом банке мира. Что вы теперь от меня хотите?

Он снова плеснул себе коньяку.

– Вы слишком много пьете, – брюзгливо заметил старик.

– Ага, – кивнул Берл. – Завтра же перехожу на тыквенный сок и заодно уже заказываю очки. Чтобы совсем уже походить на обожаемого начальника. Знаете, Хаим, сегодня вы меня совсем заклевали. И то не так, и это не эдак.

Мудрец неожиданно улыбнулся и сменил тон.

– Что вы, Береле, – сказал он примиряюще. – Вовсе нет. В общем, вы правы – все могло кончиться намного хуже. А так хоть слиток...

– И телефонный номер, – напомнил Берл.

Мудрец пренебрежительно скривился.

– Номер, скорее всего, пустышка. Турагентство под названием «Колумб» в Дюссельдорфе. Хотя, забежать туда тоже не вредно.

– Вы хотите, чтобы я ехал в Дюссельдорф?

– Нет, – покачал головой старик. – В Брюссель. Видите ли, у нас есть догадки относительно вероятных европейских источников. Всего лишь догадки, причем смутные. Надеюсь, слиток поможет сделать более конкретные заключения. Вот ориентировка... – Он положил на стол пухлый конверт. – Вылет послезавтра. Используйте оставшееся время, чтобы походить по тель-авивским кафе на

улицах Шенкин и Дизенгоф. Свежая терминология местных борцов за мир во всем мире очень вам пригодится.

Он встал, закряхтел, разминая ноги. Беседа закончилась. Берл сунул конверт в сумку.

– Скажите, Хаим, – сказал он как можно небрежнее. – Что вы имели в виду, когда сказали, что они преследуют вас повсюду? Ну, про шестьдесят лет?

Мудрец снял очки, подул на них, хотел надеть снова, но почему-то передумал, положил на стол и уставился невидящим взглядам на иерусалимские горы, голубеющие над верхушками сосен.

– Это длинная история, Береле. Вы вот все время дразните меня моими годами...

– Я? Это вы непрерывно прохаживаетесь насчет моей зеленой молодости! – возразил Берл, но старик только отмахнулся и заморгал, будто смаргивая берловы возражения, как попавшую в глаз ресницу.

– Ничего страшного, мой мальчик. Я ведь и в самом деле стар. Стар и болен. А вы молоды и здоровы. Так что все в порядке, каждый из нас может хвастаться только тем, что имеет. Езжайте в Брюссель и будьте осторожней. Голуби – жестокие птицы... Идите, идите. Я тут еще посижу.

Берл стал спускаться по склону. Старик, жуя губами, смотрел на его высокую широкоплечую фигуру, на то, как ловко и безошибочно он перепрыгивает с камня на камень. Удачи тебе, мой мальчик... Берл помахал ему снизу рукой. Старик не ответил. Берлов БМВ рванул с места и исчез за близким поворотом. Сильные парни любят быстрые сильные машины. Немецкие машины. Сам старик органически не переваривал ничего немецкого – ни автомобилей, ни одежды, ни съестного. Ничего... хотя сейчас, когда прошло столько времени, такой бойкот выглядел бессмысленным. Да и чем, в принципе, поведение немцев в той войне, в Катастрофе, отличалось от поведения французов?.. латышей?.. бельгийцев?.. австрийцев?.. Если уж быть последовательным, то следовало бы бойкотировать всю Европу. Все это старик понимал и не раз досадовал сам на себя, когда в магазине автоматически откладывал в сторону понравившийся утюг, обнаружив его немецкое происхождение. Глупость ведь, глупость... а вот поди ж ты, ничего с собой не поделаешь. Аллергия какая-то необъяснимая – не мог и все тут.

В июле сорок первого года им исполнилось одиннадцать. Ему и Йохевед, сестре-близняшке. Жили они тогда под Советами в маленьком белорусском местечке. Большая семья... В ту пору были очень большие семьи, даже огромные, невзирая на высокую детскую смертность... а может быть, именно из-за нее. Бабка Мудреца рожала семнадцать раз, а выжили только девятеро. Чуть больше половины, и то слава Богу. А все равно ведь большая семья получилась. Мудрец задумчиво кивнул. Очки снова запотели – странно в такую сухую погоду. Он снял их и протер клетчатым платком. Внизу под горой неуверенно ударил колокол и тут же смолк, будто испугавшись.

Дома у старика лежала столетняя фотография, непонятным образом уцелевшая в кровавой суматохе минувшего века. Тогда делали снимки на совесть, будто предчувствуя тяжесть грядущих испытаний. Твердый картон, хорошая печать, точная выдержка, ретушь, где требуется. Дед и бабушка сидят, старшие дети стоят вокруг, младшую девочку бабушка держит на коленях. Это будущая мама Мудреца, Мирьям. Бабушке, должно быть, лет тридцать пять, на ней длинное платье с пышным рукавом, твердо сжаты тонкие губы, взгляд прямой и уверенный – хозяйка дома, глава семейства. Дед в темном мешковатом костюме; мягкие черты лица, мягкий взгляд, мягкая улыбка... Все мягкое, только руки твердые даже на глаз – узловатые руки ремесленника, отдыхающие сами по себе на дедовых коленях, как четырехлетняя Мирьям – на бабушкиных.

Семья работала по шорному ремеслу – конскую упряжь делали для всего уезда. Искусство это тонкое, долгой учебы требует. И все равно, сколько ни учись, а настоящим мастером можешь стать только по чему-то одному. Ничего удивительного, так оно во всем, кому что Господь назначил. У кого-то хомуты получаются, а у кого-то седла. Да... Мудрец начал осторожно спускаться к шоссе – не напрямик, сломя голову, как его молодой напарник, а по длинной спиральной тропинке, осторожно придерживаясь за ветки и темно-серые каменные зубья. Обидно сломать ногу в такой ситуации. Один, в будний день... лежи тут потом, жди, пока обнаружат. Надо было спуститься вместе с Берлом.

В молодости человек уверен, что принадлежит сам себе... да не только он, но и весь мир заодно. А потом обнаруживается, что пределы владений не столь широки. Сначала из списка собственности исчезают внешние объекты: люди, предметы, события... все, весь наружный мир без остатка, все, кроме тебя самого. Но уж это-то, последнее – мое? Уж сам-то я могу поступать с собой, как вздумается? Ан нет, и тут ошибка. Старик остановился, чтобы отдышаться. На лбу выступила испарина, он присел на каменный обломок, поерзал, устраиваясь поудобнее. Последнее открытие заключается в том, что даже сам ты не принадлежишь себе, вот ведь какая штука. А кому?.. Или – чему?.. А какая, собственно, разница? Важно, что не себе. Эта нога, к примеру, чужая, и ломать ее у тебя нету никакого права, понял, старый ты хрыч? Внизу проехала машина. Все-таки ездят, хоть и будни. Ну, давай дальше, осторожненько, осторожненько...

Бабушка вот эту простую истину насчет собственности поняла очень рано. Она не принадлежала себе с ранней молодости. Семье – это да, а себе – нет, не принадлежала. Особенно, когда дед умер. Деда Мудрец не знал, они с Йохевед родились намного позже. От деда осталась только та фотография, где он с руками, живущими отдельно. Бабушка положила ее в маленький фибровый чемоданчик – видимо, потому, что она идеально подходила по размерам – как раз закрывала все дно. Это было летом, и она жутко ссорилась со всеми одновременно. Бабушка требовала уходить немедленно, бросить дома и уходить, бежать. И это выглядело со-

вершенным безумием, потому что кто же так бросает свой дом, свою печь и кровать, и обеденный стол, и одежду в сундуке, и посуду в шкафу... и всю свою жизнь? Разве так можно?

Самое странное, что к этому призывала именно бабушка, именно она, прожившая на том месте дольше всех, родившая там семнадцать детей, из которых выжили девять, и вот они, все девять, уже взрослые люди с семьями, и у каждого свои дети, и никто из них не понимает, как это так можно – все бросить и бежать неведомо куда. И тогда бабушка заплакала и сказала, что коли так, то она спасет кого можно, а можно было только близнецов – Хаима и Йохевед, потому что их родители в тот момент как раз уехали в Витебск на неделю, и получалось так, что совершенно некому было защитить близняшек от вдруг обезумевшей бабушки. А они ревели и ни за что не хотели уезжать, они хотели оставаться вместе со всей семьей, с дядьями и с тетками, и с несметным количеством двоюродных братьев и сестер, со всеми, кто спустя всего три дня уже лежал в лесном рву, глядя мертвыми глазами на верхушки сосен.

Мудрец снова остановился, держась рукой за сосну. Здесь сосны другие – низкорослые, корявые, с длинными мягкими иглами. Там, в Белоруссии, были стройные, высоченные деревья, и крона у них начиналась под самыми облаками, а они ехали втроем на подводе – бабушка, он и Йохевед, и из вещей у них был узел с одеждой, мешок картошки и фибровый чемоданчик с фотографией. Бабушка увезла их от смерти. Вся остальная семья погибла, все до одного, включая младенцев, тридцать четыре человека. Бабушка умерла через месяц после этого, в Перми. Просто легла вечером на кровать, а утром не проснулась, как будто посчитав свои обязанности выполненными. Без семьи она не значила ничего в собственных глазах... но в собственных глазах – не важно, собственные глаза, как уже говорилось, далеко не видят. Без семьи она не значила ничего в чьих-то важных, хозяйских, решающих глазах, и поэтому, когда хозяин решил забрать ее, то он просто открыл кровать, как дверь, и увел бабушку за собой туда, где она казалась ему нужнее.

А близняшки длинным путем оказались в Земле Израиля, вместе с фибровым чемоданчиком, одним на двоих. Здесь, в апреле 48-го, по дороге в осажденный Иерусалим, погибла Йохевед, семнадцатилетняя медсестра «Кровавого конвоя», расстрелянного арабами в ущелье Баб-эль-Вад. Мудрец оторвался от сосны, сделал еще несколько осторожных шагов и по ступеньками спустился на шоссе, на ровный, надежный асфальт. Вот видишь, ничего не случилось, даже ноги целы. Теперь он не торопился уезжать, стоял у края обрыва, глядя на запад, в сторону Баб-эль-Вада, а гора Герцля огромным горбом висела у него за спиной, у него на спине; гора Герцля, с военным кладбищем, плиты которого пестрят знакомыми именами, с памятником Яд-ва-Шем, в молчании которого слышны вздохи и плачи его семьи, всех тридцати четырех человек, оставшихся там, во рву, в лесу под белорусским местечком. И зо-

лотой брусок с клеймом Прусского Государственного Монетного двора от 1938 года, нежданно-негаданно выплывший из синайской пустыни, странным образом соединял Мудреца, военное кладбище и Яд-ва-Шем в один болезненный треугольник. Лысый, морщинистый, в огромных очках и с горой на спине, старик напоминал черепаху, вставшую на задние ноги.

СВИДЕТЕЛЬ №3

Меня зовут Ханна, Ваша честь. Я – жена Иосифа, музыканта. Мы поженились весной 41-го года, в мае, 15-го числа, в Антверпене. Мы были очень счастливы вместе в течение всего времени, которое нам подарил Господь, хотя времени этого оказалось не так уж и много. И все равно: мы были счастливы каждую отдельную минуту, а это чего-нибудь да стоит, правда ведь? Мы были тогда еще очень молоды, настолько, что найдется немало людей, которые скажут, что жениться в таком возрасте неосмотрительно, что надо прежде покрепче встать на ноги, да и вообще проверить истинность чувства. Возможно, они правы: не знаю, как бы я сама отреагировала, если бы мой сын вдруг заявился ко мне с подобным требованием, едва перевалив через собственное двадцатилетие. Действительно, рановато, что и говорить. Но у нас с Иосифом имелись смягчающие обстоятельства.

Во-первых, конечно же, война. Не подумайте, Ваша честь, что я из тех, кто списывает на войну все, что только возможно. Война или не война, но жить надо всегда по-человечески. И тем не менее, что-то она меняет, и даже сильно. Во-первых... ну вот, так и знала! Это у меня такая глупая привычка, Ваша честь: постоянно вставлять это дурацкое «во-первых». Иосиф часто посмеивался надо мной из-за этого. Он даже мне кличку придумал такую: «Вопервых».

– Эй, Вопервых! – кричал он, возвращаясь с работы. – Где твое Вовторых?

Потому что до «во-вторых», Ваша честь, у меня обычно не доходит. Ну да все равно, не важно. Так вот, война отличается тем, что лишает тебя возможности планировать свою жизнь. А я спланировала свою жизнь заранее, еще подростком. Во-п... в общем, так: я хотела впервые влюбиться в семнадцать лет, но замуж выйти только в двадцать один и сразу родить шестерых детей.

Много, правда? Это потому, что мне самой очень не хватало брата или сестры. Я росла единственным ребенком в семье, причем поздним, а это нелегко. Отец владел большой обувной фабрикой в Кобленце и мог исполнить любой мой каприз, что и делал с такой нерассуждающей готовностью, как будто предчувствовал, что это ненадолго. В конце концов, мы лишились всего – и фабрики, и денег. Году в 37-м... или 38-м, не помню точно. Нацисты заставили отца переписать фабрику на них. Это тогда делали со всеми евреями, у кого был хоть какой-то грош за душой. Приходили и предлагали на выбор: отдать имущество или отправиться в

концлагерь. Отец, естественно, выбрал первое. Я помню, как однажды он пришел домой, сел за обеденный стол и долго молчал перед тарелкой со стынущим супом, а потом сказал:

– До концлагеря все равно дойдет, но пока это хотя бы дает нам какую-то отсрочку. Все-таки, лучше так, чем смерть, правда? Кроме того, немного денег удалось спасти, так что с голоду не помрем.

И лукаво подмигнул мне. Все-таки он любил меня без памяти, Ваша честь. У меня действительно было счастливое детство.

Увы, относительно денег отец оказался неправ. Нацисты были совсем не дураки. Тогда многие переводили деньги в Швейцарию, в самые надежные и честные банки. Ха! Надежные и честные... Не знаю, насколько они надежные, но уж относительно честности... Я не утверждаю, Ваша честь, что швейцарские банки работали *на нацистов*, но то, что они работали *вместе с нацистами*, не подлежит сомнению, во всяком случае, для меня. А иначе как объяснить, что номера счетов моего отца и многих других оказались в руках нацистов? Ну, а дальше понятно: деньги или концлагерь. Между прочим, и фабрику тоже отец переписал не на германскую, а на какую-то швейцарскую фирму... не помню ее названия. Так что, если вы носите швейцарскую обувь, то не исключено, что сшита она из нашей кожи. Из нашей – в смысле – украденной у нас. Хотя Иосиф бы сказал, что из нашей кожи – во всех смыслах.

У моего мужа была странная теория, Ваша честь. Он полагал, что все гонят нас так дружно потому, что мы, евреи, существа с другой планеты. Когда из Польши стали приходить страшные слухи, я им совершенно не поверила. Во-первых, такого просто не могло быть, потому что ни один человек не в состоянии сделать другому человеку такого ужаса. Хотя нет... не так... бывают всякие сумасшедшие и садисты, но это ведь больные, Ваша честь, их немного, а в основном-то люди нормальны. И поэтому ужасы не могли совершаться в таком огромном масштабе одними лишь садистами, обязательно потребовалось бы участие обычных, нормальных людей – просто потому, что одних садистов не хватило бы, чтобы поднять такое большое предприятие, хоть собери их со всей Европы. А нормальный человек такого сделать не может – следовательно, слухи лживы. Доказательство от противного, как в школе.

Но когда я привела это рассуждение Иосифу, то он улыбнулся – у него была такая грустная, смутная улыбка, похожая на фонарик одинокого велосипедиста на пустынной ночной дороге – и сказал:

– Глупости, Вопервых. Посмотри, разве твой отец делал обувь из искусственной кожи?

– Но при чем тут это? – возразила я. – Там кожа животных, а не людей.

– Вот-вот, – сказал он. – В этом-то все и дело. Мы для них тоже не люди, и поэтому нет никакой причины, отчего бы не сделать с нами то же самое...

– Но мы же люди!

– Откуда ты знаешь? Если мы говорим одно, а все остальные, все человечество, столь дружно утверждает обратное, то кто, по твоему, прав?

Иногда он был совершенно невыносим, Ваша честь. Но красив. Мой муж был исключительно красив. Я пропала моментально, едва лишь увидела его в первый раз там, на «Сент-Луисе». Это было 15 мая 39-го года, за два года и один день до нашей свадьбы. Конечно, точно, Ваша честь. У меня вообще превосходная память. А! Кстати! Я вспомнила название той швейцарской обувной фирмы: «Балли». Так она называлась. «Балли».

Мне исполнилось тогда семнадцать с половиной лет, а я, как вы помните, по плану предполагала впервые по-настоящему влюбиться в семнадцать. Другими словами, прошло целых полгода, а я еще не встретила никого и, честно говоря, начала уже слегка беспокоиться. Нет, кавалеров у меня всегда хватало, но все они были какие-то не те... хотя... нет, все-таки не те. Иосиф играл на фортепьяно вместе с корабельным ансамблем, так что я даже сначала подумала, что он один из музыкантов. Ах, Ваша честь, если бы вы видели его на сцене! Высокий, худой, с голубыми глазами, вдохновенным профилем и очень короткой стрижкой. Я еще, помню, подумала с досадой: ну зачем он постригся так коротко, как после тифа? С длинной спутанной шевелюрой он был бы, как две капли воды, похож на великих пианистов прошлого. На кого?.. Ну, например, на Шопена... или на Листа... то есть, на их портреты. Рахманинов? Ах да, действительно... А разве Рахманинов тоже был в концлагере? Нет ведь, правда?

Дело в том, что мой Иосиф не сам выбрал свою короткую стрижку – его постригли в лагере, в Дахау. И худоба имела то же происхождение – лагерное. И, видимо, шрамы у рта тоже. Видимо – потому что никакие уговоры не могли заставить его рассказать что бы то ни было о Дахау. Так что мне приходилось довольствоваться одними лишь редкими обмолвками, намеками, кивками и прочими мелочами. Женщины, Ваша честь, очень наблюдательны и умеют пользоваться интуицией намного лучше мужчин. Так что мне никогда не составляло особого труда понять, что происходит в голове у моего мужа – во всех отношениях, кроме того, лагерного. Просто утыкаешься в непроницаемую перегородку, как в каменную стену, и все – кричи или стучи – не достучишься, не докричишься.

Но это все выяснилось уже потом, а тогда, на «Сент-Луисе», мы просто переглядывались в течение целого дня, пока я не поняла, что успею состариться, прежде чем он отважится заговорить со мною. В итоге я подошла к нему сама – но не как к незнакомому мужчине, что выглядело бы неподобающе, а как к музыканту. Я всего лишь попросила его сыграть тему пилигримов из «Тангейзера», знаете: та-та, та-та, та-та-рам... я очень люблю Вагнера, Ваша честь, как любой человек, родившийся на Рейне. Иосиф посмотрел на меня ошеломленным взглядом, как-то автоматически кивнул, взял первый аккорд и опустил руки с клавиш.

– Пожалуйста, извините меня, госпожа, – сказал он. – Но я не могу играть Вагнера. Он слишком напоминает мне напильник.

В жизни не слышала более странного сравнения, но поскольку цель у меня была все-таки совсем не музыкальная, то я легко согласилась на Шопена. Так мы познакомились, во вторник... а уже к пятнице губы у меня распухли от поцелуев.

Ах, Ваша честь... мы вцепились друг в дружку, как сумасшедшие. Счастливее тех недель у меня не было ничего в жизни. Стыдно сказать, но я даже не особо огорчилась, когда нас не пустили на берег. Люди вокруг находились на грани отчаяния, один даже бросился за борт, а я просто светилась от радости. Странно, не правда ли? Думаю, что та безнадежная, жуткая ситуация только усиливала наши чувства. Ведь отчаяние и счастье очень близки по природе, Ваша честь: и то и другое дает ощущение пропасти. Уж мне-то можете поверить, как побывавшей в обоих этих состояниях. Кто-то говорил, что в самом крайнем отчаянии, когда уже совсем-совсем дальше некуда, и от надежды не осталось ничего, даже имени, там, на самом краю, есть крохотный пятачок, где человек чувствует себя счастливым. Свободным от всего и счастливым. Это действительно так. Жаль, что добираться до этого пятачка так неимоверно больно.

И на обратном пути я расстраивалась не оттого, что нас возвращают в Германию на вполне вероятную смерть, а оттого, что кончаются наши свидания на палубе, в волшебном, пахнущем дегтем, мире шлюпок и корабельных канатов. Мне очень стыдно в этом признаваться, Ваша честь. Я и тогда изо всех сил корила себя, напоминала о несчастной судьбе моих бедных родителей, давших мне так много, ругала свое поведение эгоистичным и бессердечным, но ничего, ничего не могла поделать с собственным счастьем. Так же, как и потом, через четыре года – с собственным отчаянием... в этом тоже заключается их большое сходство. Ими невозможно управлять – они сами управляют тобой. Вот и там, на «Сент-Луисе», нами управляло наше счастье и общее несчастье.

Когда стало окончательно ясно, что мы возвращаемся прямиком в руки гестапо, я вынуждена была скорректировать свои подростковые планы. Конечно, Ваша честь, я не планировала становиться женщиной в столь раннем возрасте и уж, во всяком случае, не до свадьбы. И хотя за те две недели наши с Иосифом отношения несколько устали от одних только поцелуев, а губы так просто отваливались, и хотя на ощупь мы уже знали друг дружку наизусть, до самого последнего квадратного сантиметра, но все это еще не являлось поводом для того, чтобы позволить ему перейти последнюю границу. И несмотря на то, что мне хотелось этого не меньше, чем ему, я всегда помнила о необходимости сохранять голову даже когда ты ее совершенно теряешь. Но война, как я уже говорила, имеет обыкновение расстраивать самые благоразумные планы.

Так и получилось, что я потеряла невинность не на роскошном ложе с балдахином, после торжественной брачной церемонии на полтысячи приглашенных гостей, а в корабельной шлюпке под гру-

бым брезентовым пологом. Я пошла на это только потому, что «Сент-Луис» уже подплывал к Европе, а значит, и к гестапо, концлагерю и смерти, и хуже того – к неминуемому расставанию с моим любимым. Таким образом, продолжая следовать плану, я рисковала просто не узнать, что это означает – быть женщиной. И я сама затащила Иосифа в ту жесткую шлюпку. Он был еще неопытней меня, так что невинность мы потеряли одновременно, как Адам и Ева, честное слово, прямо как Адам и Ева. Так мы и чувствовали себя, Ваша честь – Адамом и Евой, одни в целом мире под брезентом, на палубе вечно гудящего своими котлами корабля, с обрывками румбы, доносившейся из танцевального зала, где тогда уже никто не танцевал. И знаете, я ни о чем не жалею. Наоборот, я была счастлива тогда совершенно неимоверным, невозможным счастьем. Верно, что шлюпка совсем не входила в мои первоначальные планы. Но и такое огромное счастье – тоже.

А наутро капитан собрал пассажиров и известил о том, что нас согласны принять в Антверпене для распределения по четырем европейским странам.

– Вот видишь, Вопервых, – сказал мне Иосиф на ухо. – Стоило нам заняться любовью по-настоящему, и все немедленно устроилось. Что бы нам было не сделать это еще до Гаваны! Глядишь, и сидели бы теперь на Кубе. И вообще, сколько времени потеряно...

Вот-вот... я ж вам говорила, что временами он бывал совершенно невыносим. Это ж надо такое сказать... хотя, потерянного времени было действительно жалко. И все равно – как можно думать о таких вещах, когда все вокруг безумно радуются неожиданному спасению?! Конечно, я устроила ему выволочку – и немедленно, там, в зале, и потом ночью – в шлюпке... Он был неутомимым любовником, мой Иосиф. Ах, Ваша честь, лучшего мужа трудно себе представить!

У отца были дальние родственники в Брюсселе, и поэтому нас распределили туда. Отец представил Иосифа, как моего жениха, так что сошли мы на бельгийский берег вчетвером. Вернее, впятером. Понимаете, нам всегда очень везло на добрых людей. Вот и на корабле Иосиф подружился с одним добрым пьяницей-музыкантом по имени Гектор. Примерно через два дня на третий Гектор срывался в запой, и тогда буквально не мог усидеть на стуле. А без пианиста ансамбль не справлялся, и поэтому они привязывали Гектора к стулу, чтобы он не падал, и это выглядело ужасно комично. И хотя при этом играл он замечательно, время от времени отвлекаясь только на то, чтобы пропустить еще стаканчик, но впечатление у многих оставалось все равно не слишком благоприятное. В общем, Иосиф сильно выручал их в такие моменты: он просто садился и играл вместо Гектора весь репертуар, даже без нот, со слуха. Он был потрясающе музыкален, мой муж. Ну и тогда Гектор получал, во-первых, передышку от веревок, а во-вторых – вот видите, я иногда говорю и «во-вторых» – а во-вторых, возможность беспрепятственно напиться у себя в каюте совсем уже до положения риз.

Так что, в определенном смысле, он хотел отблагодарить Иосифа за помощь. Но знаете, Ваша честь, в его добром отношении к нам чувствовалось еще что-то, помимо желания отблагодарить и понятного стремления пожилого человека пообщаться с красивыми молодыми людьми. Не сочтите мое замечание за бахвальство, но вы ведь знаете, что старики часто тянутся к нам, молодым, именно по этой причине. А Гектору было, я думаю, не меньше тридцати пяти лет. Возраст еще не преклонный, но все-таки... Что чувствовалось? Вина. Он постоянно смотрел на нас виноватыми глазами, как будто был причастен к тому, что происходило на «Сент-Луисе».

Что?.. Да в том-то и дело, что – не был! Просто никаким боком.

Уверена ли я? Конечно, Ваша честь. Причем, здесь вы можете положиться не только на мою женскую интуицию. Дело в том, что однажды я невольно подслушала его разговор с Иосифом на эту тему. Я совершенно отчетливо слышала, как Иосиф успокаивал Гектора, доказывая, что нет на нем никакой вины, просто ни капелюшечки. А Гектор молча пил стакан за стаканом и время от времени вставлял всякие нехорошие слова, которых я даже повторить не могу, особенно в вашем присутствии.

Он очень хотел нам помочь, но не мог поделать ничего. Уж если сам Бог не мог, то что же говорить о простом круизном музыканте, да к тому же еще и пьянице! Но одно Гектор обещал твердо – помочь Иосифу с работой. Сначала в Гаване, а потом, когда выяснилось, что мы остаемся в Бельгии, – в Брюсселе. Поэтому он просто самовольно разорвал контракт со своей компанией и сошел с нами на берег. И действительно, помог! Знаете, у музыкантов везде знакомства, особенно в таком продвинутом возрасте. Перед тем, как уехать в Америку, он даже какое-то время поиграл вместе с Иосифом в кабаре рядом с площадью Сент-Жан, куда им удалось устроиться. Это нас здорово выручило – ведь тогда из всех четверых работал только Иосиф. Тащил все на себе в неполные девятнадцать лет. Без него мы просто бы не выжили.

...Гектор уехал в конце августа.

– Не спешите со свадьбой, Ханна, – сказал он мне на прощанье. – Отпразднуем в Нью-Йорке. Будут тебе и тысяча гостей, и кровать с балдахином. Обещаю.

Я поцеловала его в губы, пахнущие столетним перегаром. Он был настоящим другом, этот Гектор Салазар. Думаю, насчет свадьбы Гектор сказал в шутку, но я подумала, что, по сути, он прав. Куда торопиться? В глазах всего света мы уже были женаты, хотя и соблюдали определенную степень внешних приличий. Тем не менее, я не сомневаюсь, что мои родители прекрасно слышали, как по ночам я пробираюсь в иосифову комнату. Слышали, но понимали, что война меняет самые лучшие планы. Из этого факта, кстати, следовал еще один вывод: если уехать подальше от войны, то вполне возможно вернуться к нормальной, планируемой жизни. А уехать от войны было можно только через американскую визу. В момент расставания с Гектором никто не сомневался, что это вопрос нескольких месяцев.

– Получим визы в декабре, максимум – в феврале, – рассуждала я. – В Нью-Йорке будем не позднее марта. А в мае сыграем свадьбу. Уж я припомню Гектору его обещание!

Что может быть красивее свадьбы весной, в мае!

Но прошел декабрь, и февраль, и май, а виз все не было.

– Ничего, ребятишки, – говорил мой оптимистичный папа. – Никто из моих знакомых еще не ждал визы дольше двух лет. Не падайте духом, недолго осталось.

И лукаво подмигивал мне, как делал всегда, когда хотел скрыть собственную растерянность. Иосиф молчал, не возражал, но я-то знала, что он уже ни капельки не верит в то, что мы вот-вот окажемся на Бродвее.

Он говорил: – Американцы дают евреям чуть больше двадцати тысяч виз в год. А спастись хотят миллионы. Представляешь, сколько лет надо ждать очереди? Надо Бога благодарить за то, что мы здесь, а не в Германии. Уж сюда-то нацистам не добраться.

– Почему? – спрашивала я.

– Ну как это почему, – уверенно отвечал он. – У короля сильная армия. Франция и Англия тоже помогут. Гитлеру в жизни не преодолеть Арденны. Там знаешь какие укрепления!

Потом отец нашел работу, хорошую, на алмазной фабрике в Антверпене, и они с мамой переехали туда, а мы с Иосифом остались в Брюсселе. Теперь мне уже не приходилось прокрадываться в его постель по ночам, осторожно ступая босиком по холодным скрипучим половицам. С одной стороны, это было удобнее, а с другой – исчезло что-то такое... не знаю, как и сказать. Единственно, что я знала твердо: свою свадьбу я сыграю в мае, несмотря ни на что. Уж если мне не суждены полтысячи гостей и кровать с балдахином, то будет хотя бы май. Нельзя же так уж во всем себя ограничивать, Ваша честь!

Мы назначили свадьбу на 15 мая – ровно через два года после того, как впервые увидели друг друга, день в день. Планировать, так планировать! Виз все еще не было, но на этот раз я решила больше не откладывать. Во-первых, мы с мамой сшили красивое платье. Иосиф свой фрак должен был взять напрокат. За неделю до свадьбы он заранее заказал праздничный ужин. А 10-го числа Гитлер вошел в Бельгию и стало уже не до свадеб. Сильная армия короля даже не пыталась сражаться. Все было кончено за две с половиной недели. Блицкриг. Эсэсовцы маршировали по улицам Брюсселя, и восторженные горожане бросали им цветы. Оказалось, что множество людей ждали немцев, как манны небесной. Повсюду, не только в Брюсселе, потому что с Голландией и Францией случилось ровно то же самое. О бродвейской свадьбе можно было забыть. Мы снова оказались в руках у Гитлера.

Они не сразу начали нас убивать, Ваша честь. Сначала все казалось не так уж и страшно. Люди продолжали жить, как жили, шли утром на работу, а вечером – в кафе, так, как будто бы страна не перешла из рук в руки, словно подержанная автомашина.

Выходили те же самые газеты, даже коммунистическая. Разве что тон их слегка изменился.

– Все еще будет хорошо, вот увидите, – сказал мой папа, когда мы приехали к ним в гости в Антверпен. – Бельгия – это вам не Германия. Тут штурмовики не водятся. – И подмигнул мне.

Но оказалось, что штурмовики водились и в Бельгии. По всей стране шел набор в дивизии СС; молодые люди записывались тысячами – очищать от евреев и коммунистов объединенную Гитлером Европу.

Осенью были объявлены новые правила. Всем нам приказали зарегистрироваться заново и получить особое удостоверение личности, поперек которого стоял крупный штамп «Еврей». Отныне евреям запрещалось заниматься многими профессиями, посещать парки, рестораны, театры... любое место, где мы могли бы осквернить своим видом взгляд добропорядочных граждан арийского происхождения. Для нас ввели специальный комендантский час. Иосиф потерял работу почти сразу. Надо сказать, что внешне он выглядел идеальным арийцем – светловолосый юноша с голубыми глазами и прямой линией носа. Но, видимо, люди гестапо обладали сверхъестественным нюхом на такие вещи. Затем, когда начали конфисковывать еврейское имущество, потерял работу и отец.

Тогда-то Иосиф и потребовал немедленной свадьбы. Почему немедленной?

– Ну как же, – сказал он. – Ты что, не помнишь «Сент-Луис»? Там тоже все шло наперекосяк, пока ты упрямилась. А стоило нам, наконец, залезть в шлюпку, как тут же произошло чудо, и все устроилось.

– Как же мы сыграем свадьбу без гостей? – спросила я. Понимаете, Ваша честь, комендантский час не очень-то способствовал хождению в гости. Да и вообще люди уже тогда предпочитали не высовываться из своих нор. С мечтой о сотнях приглашенных я уже рассталась, но все равно было непонятно, как именно Иосиф предполагает собрать на празднество несколько наших друзей и родственников. Он посмотрел на меня своими грустными глазами и улыбнулся.

– Нет! – твердо сказала я в ответ на эту улыбку.

– Да! – ответил он не менее твердо, и я вынуждена была уступить. Во-первых, мой муж редко со мною спорил, но когда это все-таки происходило, да еще и таким решительным тоном, то разумнее было согласиться. Как говорила моя мать, мужчина всю жизнь может пролежать у тебя на колене, но никогда не следует перегибать его чересчур, чтобы не сломать спину.

Тем более что, согласившись на свадьбу без гостей, я выторговала кое-что и для себя: отсрочку до мая. Война, не война, но выйти замуж я намеревалась ровно 15-го мая, ни раньше, ни позже! Так оно и случилось, Ваша честь. Хоть что-то прошло по плану. В то время уже ходили всякие страшные рассказы о том, как людей останавливают на улицах среди бела дня и забивают до смерти. Я не хотела подвергать родителей опасности, тем более, что где-то в

середине апреля антверпенские нацисты устроили в городе жуткий погром – сожгли оставшиеся еврейские лавки и синагоги. Но свадьба без родителей – это, согласитесь, было бы вообще чересчур, и поэтому мы сами поехали в Антверпен. Иосиф с его светлыми волосами не привлекал особого внимания, а себе я замотала голову платком, как при зубной боли.

Мы вошли в квартирку, где жили мои папа с мамой, я сняла платок и расплакалась. Знаете, как это бывает, когда дети стараются сделать родителям сюрприз, и сооружают фестивальную декорацию из всяких подручных средств: блестящей золотой фольги, картона, клея и бумаги? Как втайне шушукаются всю неделю и, заговорщицки переглядываясь, дожидаются, пока все выйдут из комнаты, чтобы беспрепятственно полезть на шкаф за серебряным дождем и диадемой царицы Эстер, которые обычно спускаются вниз, в скуку повседневности, только и исключительно во время веселого праздника Пурим. Как в решительный момент, выведя взрослых наружу под каким-нибудь предлогом, достают, наконец, приготовленные украшения и развешивают их по всей комнате, пока мама, счастливо и нежно улыбаясь, сидит на кухне и думает, как же они выросли. А потом настает наиглавнейшая минута, и они распахивают двери, чтобы и остальные могли полюбоваться на сооруженную ими красоту, а сами тихо стоят в сторонке, сияя счастливыми глазами и гордо принимая заслуженные ахи и охи улыбающихся родителей.

Видимо, такое представление должно очень трогать материнское сердце. Жаль, что мне самой так и не пришлось испытать этого замечательного чувства... кроме, разве что, того майского дня в Антверпене, дня моей долгожданной свадьбы. Я описывала вам детей, но представьте себе, что то же самое делают взрослые, пожилые люди, и эти люди – ваши родители. Причем количество подручных средств у них еще более ограничено, чем у детей. Нет ни фольги, ни цветной бумаги, а клей надо варить из крахмала, потому что опасно лишний раз выйти на улицу, чтобы купить его в писчебумажной лавке на углу. Но папа так хотел подарить мне праздник! Уж кому-кому, но ему-то я все уши прожужжала о своей предстоящей свадьбе... я, конечно же, имею в виду не тогда, в Бельгии, а давно, в детстве, когда я забиралась к нему на колени, и мы вместе обсуждали, какой костюм будет у жениха, в какой карете приедет на бал невеста, то есть, я, и сколько времени продлится фейерверк.

Он все это помнил, мой папа, помнил не хуже меня, вот только... вот только... извините, Ваша честь... видите, я и теперь не могу удержаться от слез. Не могу... стоит мне только вспомнить те звезды из серой оберточной бумаги, подкрашенной свекольным соком, свадебный балдахин, украшенный фантиками от давно съеденных конфет и отцовское сияющее лицо... извините... Нет-нет, ничего, я уже в порядке... ничего...

Ну вот. В Брюссель мы вернулись мужем и женой. Это было чаше трехчасовое свадебное путешествие. Помню, что моя наглу-

хо замотанная платком голова была в состоянии думать лишь о том, как бы не опоздать до начала комендантского часа.

Через месяц Гитлер начал войну на востоке. Это происходило далеко от Бельгии, но каким-то странным образом напрямую влияло и на нас. Осенью поползли страшные слухи о массовых расстрелах на Украине. Смерть уже приплясывала рядом, смерть приближалась к нам, но бежать было некуда и не к кому. Оставалось просто сидеть и ждать, что будет дальше – что может быть мучительнее подобного состояния! Во-первых, совершенно невозможно что-нибудь планировать. Что именно? Ну как же, Ваша честь... я ведь все-таки вышла замуж. Конечно, дети. Замужняя женщина должна рожать детей, пока у нее есть на это силы и здоровье, и делать это желательно почаще, чтобы не получилось, как со мной, росшей единственным ребенком в семье.

Я понимаю, что это, наверное, звучит безответственно, но мне очень хотелось ребенка. Иосиф же, напротив, и слышать о детях не желал.

– Ты что, Ханна? – говорил он сердито. Он всегда называл меня полным именем, когда сердился. – Ты что, Ханна? Мы понятия не имеем, что будет с нами, так ты хочешь еще завести ребенка?

Но мне все равно очень хотелось, несмотря на кажущуюся правоту моего мужа. А в том, что правота его кажущаяся, я была уверена совершенно. Во-первых, если бы нас убили, так и не дав произвести на свет ребеночка, то это все равно считалось бы не только нашим убийством, но и убийством всех не рожденных нами детей, разве не так? Таким образом, родив хотя бы одного, мы уменьшили бы количество смерти. Даже если бы он прожил всего несколько дней, или даже часов или минут... все равно это могло бы считаться бонусом по сравнению с просто нулем. Чистая арифметика, как в школе. Так я тогда думала, Ваша честь. Но не спешите осуждать меня за глупое легкомыслие. Что может знать женщина, никогда еще не державшая в руках новорожденный комочек собственной плоти? Как ей понять, как представить это чувство?

Прошел год, и ничего с нами не так и не случилось.

– Вот видишь, – сказала я Иосифу в мае. – Не будь ты таким упрямым, нашему ребеночку шел бы уже четвертый месяц.

Он молча вздыхал. Слухи, приходившие с востока, уже не так нас пугали. Во-первых, они звучали слишком ужасно, чтобы быть правдой. Тем более что с нами самими ничего плохого не происходило. Мы просто учили новые слова, новые географические названия: Хелмно, Яновска, Аушвиц...

Даже мой любимый месяц май не принес никаких особых новостей. За исключением того, что в конце месяца всех нас обязали нашить на одежду желтую шестиконечную звезду. Иосиф не стал этого делать, и я ужасно за него боялась. Он надолго исчезал куда-то, иногда на сутки, иногда даже больше, и ничего мне не рассказывал, совсем ничего. Я знала, что речь тут не идет о другой женщине, потому что иначе я бы почувствовала, уж можете мне поверить. Он очень любил меня, Иосиф, дай Бог всякой такого мужа.

А потом все рухнуло, одним разом, как стена дома при бомбежке. В июле... или это было в начале августа?.. полиция издала приказ: всем евреям явиться для рабочей мобилизации.

– Вот и все, – сказал Иосиф. – Теперь настал наш черед, девочка. Но мы, конечно же, никуда не пойдем. Пусть сами ловят.

И тогда я решила его обмануть. Конечно, все планы давно уже пошли насмарку, но меньше всего мне хотелось умереть, так и не родив ребенка. И я сделала так... задурила ему голову с днями... ну, в общем, забеременела. Мужчины, Ваша честь, очень наивный народ, их так легко ввести в заблуждение, особенно, если они вас любят без памяти. Я знала это точно, в ту же секунду, когда Иосиф содрогнулся, отдав мне свое семя, знала, что наш ребеночек уже завязался в моем животе крошечной теплой клеткой. В тот момент я испытала такое счастье, такой восторг, что уже только ради этого... гм... наверное, я все-таки очень эгоистична, Ваша честь. Вот к чему приводит отсутствие братьев и сестер.

Это произошло в ночь на 15 августа 42-го года. Если б я знала, если б я знала... Именно в эту ночь антверпенская полиция провела свой первый рейд по домам, где прятались евреи. До этого хватали только на улице, а на улице мои родители почти не появлялись, и потому я не особенно за них беспокоилась. Но одно дело – на улице и совсем другое – ночной рейд по квартирам. Так что следующим утром, когда мне позвонили и рассказали о том, что случилось в Антверпене, я места себе не находила. Иосифа уже не было дома – он ушел на рассвете, ушел в одну из своих таинственных отлучек, оставив во мне ту крохотную клеточку, нашего будущего ребенка. Но после звонка я уже не могла думать о ребенке; я думала только о том, что, возможно, в тот самый момент, когда я дрожала от спазма, слаще которого нет в жизни, в тот же самый момент, возможно, нацисты ломали дверь в квартиру моих родителей, а они сидели, обнявшись, на кровати, и папа гладил маму по голове дрожащими руками. Эта картина так и стояла у меня перед глазами, Ваша честь, я просто умирала от беспокойства.

И я решила ехать в Антверпен, потому что нет ничего хуже такой страшной неопределенности – во всяком случае, для человека, который привык все планировать, как я. Чтобы сесть на поезд, мне пришлось спороть звезду. Это было очень опасно, но, с другой стороны, полиция уже насытилась ночным рейдом и отдыхала, как наевшийся людоед. Никто и представить себе не мог, что у какой-то еврейки хватит наглости выйти на улицу в такой день. Я замоталась платком и двинулась в путь. Думаю, что постовой на брюссельском перроне понял, кто я, – судя по тому, как он улыбнулся. Я даже прочитала в его глазах некоторое сомнение. Этот добрый бельгиец колебался: отвести меня в гестапо сразу или предоставить честь моей поимки кому-нибудь другому. Подумав секунду другую, он отвернулся и пошел своей дорогой. Почему? Кто знает, Ваша честь? Может быть, именно то утро у него особенно задалось... может быть, он тоже накануне занимался любовью и тоже чувствовал, что теперь у него родится сын или дочка... или он про-

сто прекрасно выспался... или, еще того проще, ленился тащить меня за собой, терпеть женский плач, бить, толкать, заполнять протокол?

Иногда я думаю: лучше бы они всегда вели себя одинаково. Во-первых, потому что совершенно невозможно ничего планировать в такой неопределенной ситуации. А кроме того, надежда. Нет палача страшнее надежды, Ваша честь. Человек привыкает ко всему, уж я-то знаю. А привыкнув, можно жить и радоваться даже в самом аду. Если бы не надежда, которая мешает, не дает привыкнуть. Это просто ужасно, Ваша честь. Помните рассказ о царе Сизифе и его наказании? Само по себе наказание вовсе не такое уж и тяжелое: подумаешь, ежедневно катить в гору камень! Пфу!.. Разве каждый из нас не совершает каждое утро одни и те же действия? Эдак и чистку зубов можно объявить пыткой. Так что вовсе не тяжелый камень мучает беднягу, камень тут совсем ни при чем. Надежда – вот его главный и единственный мучитель. Надежда, ежеминутно твердящая ему, что именно этот раз – последний. Надежда, патологическая врунья, которой он продолжает верить, несмотря на бесчисленные обманы! Смешно, что находятся люди, которые посвящают этой садистке песни и стихи. Знаете, почему? – Они просто заискивают перед нею, вот что. Как будто от нее что-нибудь зависит...

По лестнице я поднималась бегом, но сердце выскакивало из груди не столько из-за этого, сколько потому, что я ужасно боялась увидеть перед собой взломанную дверь в квартиру, где прятались родители. Но дверь оказалась цела. Вы даже не представляете, какой камень упал у меня с души, Ваша честь. Куда там Сизифу – такую тяжесть он не смог бы даже сдвинуть с места, не то что закатывать на гору! Я прислонилась к стене, чтобы отдышаться, и только тут подумала, что забыла оставить Иосифу записку. Это было непростительно, что и говорить.

«Ничего, – сказала я себе. – Вот только посмотрю на родителей и сразу назад. Он и не узнает, что я куда-то отлучалась... А даже если и узнает – тоже не вредно. Пусть хоть раз поймет, что чувствую я во время его отлучек».

Я постучала условным стуком, немного подождала и постучала снова. За дверью стояла мертвая тишина. Я уже начала беспокоиться, как послышался шорох, возня, звук отодвигаемых тяжелых предметов, как при перестановке мебели. Наконец зазвенели цепочки, звякнул засов, заскрежетали замки, и дверь медленно приоткрылась.

– Скорее, скорее! – шепнул папа из образовавшейся щели. – Заходи, доченька!

Я вошла, и он, не отвлекаясь на приветствия, немедленно начал обратную процедуру баррикадирования входа. Знакомая дверь родительской квартиры выглядела изнутри воротами неприступного замка. Кто-то усилил ее стальными полосами и двумя мощными дополнительными засовами. Кто-то – потому что самостоятельно отец не смог бы произвести все требующиеся для этого слесарные

работы; для этого у него не было ни сил, ни инструментов. Покончив с запорами, отец придвинул к двери еще и тяжелый комод.

– Видишь? – сказал он, отдуваясь. – Так быстро они до нас не доберутся... – Отец повернулся и крикнул в темноту квартиры: – Берта! Берта, выходи, это Ханна приехала!

Из кладовки вышла моя мать с узелком в руках. Мы обнялись. Отец смущенно почесал в затылке и подмигнул:

– Видишь, до чего дошли? Я отправил мать на крышу... на всякий пожарный.

На крышу?

Оказалось, что родители разработали целый план по спасению, на случай, если за ними придет гестапо. Дело в том, Ваша честь, что они жили на самом верхнем этаже, примыкающем к чердаку. Вот отец и подумал, что, если проделать отверстие из кладовки на чердак и хорошенько замаскировать его, то появляется шанс на спасение. Правда, для того, чтобы успеть покинуть квартиру и при этом еще замести следы, требовалось время. Поэтому отец усилил дверь, и теперь она могла задержать полицию относительно надолго.

– Конечно, сам бы я в жизни со всем этим не справился, – сказал мне отец. – Спасибо, сосед по площадке помог.

Соседом по площадке был бельгиец. За все эти годы я раза три сталкивалась с ним на лестнице, и он никогда не здоровался. Так что его неожиданная предупредительность выглядела, по меньшей мере, странной.

– Сосед? – переспросила я, не скрывая своего удивления. – Помог?

– Конечно, не бесплатно, – снова подмигнул папа и сунул мне под нос кисть своей левой руки. Кольцо! Мать печально кивнула. Они заплатили соседу своими обручальными кольцами...

Я села на стул и заплакала. Это просто поразительно, Ваша честь, как мы, люди устроены. Бывает, не моргнув глазом, проходим через такие ужасы и страдания, о которых и подумать-то страшно, и всё – без единой слезинки. А бывает, какая-нибудь мелочь, ерунда какая-нибудь, вонзится в самое сердце, и сделает так больно, что и не вздохнуть. Вот так и я с этими кольцами, не знаю, почему. Может быть, потому, что я родительские руки только с ними и помню: над детской кроваткой, с младенческих пеленок, и потом, когда я сидела у матери на коленях и сосредоточенно крутила ее обручальное кольцо, и потом, когда отец, при особо доверительной беседе, прикрывал мою руку своей, сильной, большой, уверенной, со знакомым кольцом, поблескивающим на его безымянном пальце. В этих круглых золотых предметах было все мое детство, и юность, и дом, и семья... в общем, вся моя жизнь.

– Не плачь, Ханночка, – сказал отец. – Ты же знаешь, мы бы никогда их не продали, если бы был какой-нибудь другой выход. Но выхода-то не было. Все-таки, лучше так, чем смерть, правда?

Ровно то же самое он сказал и тогда, в Кобленце, когда нацисты отняли у него фабрику. «Все-таки, лучше так, чем смерть...» С тех

пор он только отдавал, и вот теперь дошло до обручальных колец, до последнего. Больше платить было нечем.

Назад я в тот день не поехала – боялась не успеть до начала комендантского часа. Утром всегда безопаснее. А ночью за нами пришли. Только вот они не стали ломать дверь. Даже не постучали. Собственно, мы увидели полицейских, когда они уже были внутри квартиры. Сосед-доброхот, тот самый, любитель колец, провел их через чердак прямо в нашу кладовку.

Нас отвезли в бараки Доссена, в Мехелен. Там уже были сотни людей, и непрерывно привозили все новых и новых.

– Ничего, – успокаивал нас папа. – Они же говорят, что речь идет о рабочей мобилизации. Конечно, придется работать с утра до ночи, но кормить-то тоже будут и, говорят, неплохо. Не надо будет круглые сутки заботиться о том, где бы достать кусок хлеба или картофелину. И с этой изматывающей игрой в прятки тоже покончено – все уже, поймали, можно расслабиться. Так что в определенном смысле это даже улучшение условий.

Он все-таки был неисправимый оптимист, мой папа. Но я-то сразу поняла, что дело плохо. Какая рабочая мобилизация, ради Бога? Около трети депортируемых составляли маленькие дети. Кто будет работать, они? Грудные младенцы?

Больше всего меня мучило то, что я так и не попрощалась с Иосифом.

– Ничего страшного, – говорил папа. – Вот приедем на место, освоимся и вызовешь его к себе. Чем скорее мы там окажемся, тем лучше, вот увидишь.

Он повторил это, когда их отправляли на восток двумя днями позже.

– Не волнуйся за нас, девочка. Мы все подготовим к твоему приезду.

Больше я никогда не видела своих родителей. И Иосифа тоже. Жить мне оставалось меньше года, Ваша честь. Но это уже совсем другая история, в конце концов, мы говорим тут об Иосифе, а не обо мне, правда? Так что, в общем, я все вам уже рассказала. Ну, разве что письмо, хотя он навряд ли получил его когда-нибудь. Я написала ему письмо, Ваша честь.

Видите ли, меня оставили в Доссене дольше, чем других. Дело в том, что я хорошо знала несколько языков: немецкий, французский и идиш. Английский тоже, но английский не понадобился. Полицейские выяснили это на первом же опросе, и сразу определили меня в канцелярию – у них там была уйма работы после рейдов в Антверпене и в Брюсселе. Поэтому, собственно говоря, я и не уехала вместе с родителями, хотя очень не хотела с ними расставаться. Меня просто не пустили. Конечно, папа и в этом увидел добрый знак:

– Вот видишь, ты уже получила работу!

Это и в самом деле была моя первая работа, Ваша честь. Не правда ли, странно – начать свою рабочую карьеру в пересыльных бараках, откуда людей отправляли в Аушвиц? Впрочем, далеко по

служебной лестнице я не продвинулась. К середине сентября они выполнили заданную квоту, так что работа резко пошла на убыль. И 15-го сентября я отправилась вслед за своими родителями. Конвой номер 10, последняя тысяча из запланированных десяти. Что?.. ах да, письмо...

Я написала его на желтом линованном бланке, которым пользовались для регистрации депортируемых, прямо поверх всех этих граф с надписями «имя», «год рождения», «пол» и так далее. Не думаю, что это выглядело красиво, но выбора у меня было. А жаль, потому что я всегда отличалась прекрасным почерком, четким и округлым, с небольшим наклоном вправо. Поскольку мы с Иосифом никогда не разлучались, то и переписываться нам не приходилось, и поэтому мне особенно хотелось, чтобы мое самое первое письмо вышло бы на высшем уровне. Тем более что в итоге оно оказалось и последним. Я могла бы сказать, что тогда я этого не знала, но это было бы неправдой, Ваша честь. Слишком много имелось зловещих признаков. Вообще-то нацисты довольно успешно скрывали свои намерения. Это было нетрудно – представьте себе людей, схваченных на улице или вытащенных ночью из постели. Их суют в грузовики и везут в бараки, где дают на ужин невозможную брюквенную бурду и кусок хлеба и говорят, что на востоке, где они вскоре будут работать, питание будет несравненно лучше.

Люди потрясены, им страшно, им хочется верить в любую ерунду, лишь бы прекратить происходящий с ними ужас, хотя бы на уровне воображения. Тем более что особо много думать им никто не дает. Пару дней в бараках и вперед, посадка в вагоны для скота. А потом они трясутся в холоде и вони несколько дней, едут через всю Европу, высматривая названия станций через щелястую вагонку. Ужас продолжается, но дорога на то и дорога, чтобы надоедать, а значит, снова можно не брать происходящее слишком близко к сердцу. Зато потом, выгружаясь наконец из вагонов под серым польским небом, они даже радуются, что тяжелый переезд закончился, и теперь-то уже все прояснится, слава Богу. Как, кстати, называется станция? Аушвиц?.. Треблинка?.. Хелмно?.. Нет, не слышали... ничего, – подбадривают они сами себя, – еще будет время познакомиться. Но тут их пускают бегом в какой-то сумасшедший конвейер первичной обработки, где они не успевают не то что думать – дышать. Они так и бегут, закусив губы, под ругань эсэсовцев и неистовый лай собак, бегут от стола к столу, в раздевалки, в душевые и снова в раздевалки... а потом – в большую комнату, куда их почему-то набивают битком, голыми, мужчин и женщин вперемежку. Сверху сыпятся смертоносные кристаллы, как из солонки, а мысли беспорядочно суетятся, словно живые существа в капле воды под школьным микроскопом, и это жаль, потому что недодумано что-то очень важное, что-то очень... А потом прекращается и это. Видимо, мои родители погибли примерно так, Ваша честь.

Но я-то целый месяц проработала в канцелярии, где просто трудно было не понять, что к чему. Поэтому, я, конечно же, знала,

что пишу свое последнее письмо. Что я там написала? А что можно написать в таком письме? Рассказала, как нас забрали, куда отвезли, что тут да как, прочие мелочи. Пожаловалась на кормежку. Предупредила его, чтобы был осторожнее... проследила, чтобы на каждое «во-первых» было свое «во-вторых» – в письме это дается намного легче, чем в разговоре. Ну и, конечно, написала несколько особых мелочей, таких специальных слов, значение которых понятно только двум любящим друг друга людям, так что нет смысла повторять их здесь. А напоследок – самое главное: чтобы он знал, что я была счастлива с ним, счастлива каждую минуту, которую Господь подарил нам в своей неизбывной щедрости. Что, если бы можно было повторить все с самого начала, но теперь уже зная конец, то я снова пошла бы на это, не колеблясь ни единой секундочки.

Вот и все. Я вложила письмо в самодельный конверт, надписала на нем наш брюссельский адрес, а под ним – обещание оплаты в случае доставки. Потом я долго носила письмо на себе, не зная, что с ним делать. Единственная возможность удачно обронить его представилась мне во время погрузки в поезд, и я ее не упустила, Ваша честь. Просто бросила конверт в зазор между платформой и вагоном, как в щель почтового ящика. Дошло ли оно до моего мужа? Этого, как вы понимаете, я так никогда и не узнала.

ГЛАВА IV

Израильский рейс опаздывал. Наверняка, опять какая-нибудь дерьмовая забастовка или какой другой идиотский повод. Тьфу! Янив Ле Фен сморщил нос. Он уже битый час простоял в зале прибытия брюссельского аэропорта, держа в руках картонную табличку с надписью «Мистер Ури Файман». Отчего в той кретинской стране все просто обязано быть через задницу? Отчего они не могут вести себя так, как принято во всем цивилизованном мире? Янив предпочитал именовать израильтян «они», хотя сам пока еще являлся держателем израильского паспорта и, соответственно, гражданства. Он бы с удовольствием отказался и от того, и от другого, но, к сожалению, бельгийские власти не слишком торопились с предоставлением г-ну Ле Фену местного подданства. Сама по себе эта ситуация вынужденной связи с занюханной ближневосточной дырой выглядела довольно-таки унизительно, особенно для человека европейской культуры, коим Янив привык считать себя с раннего детства.

Отец так и говорил ему: «Мы люди европейской культуры, мой мальчик. Понимаешь? Какое-то ужасное недоразумение забросило нас сюда, в эти дикие вульгарные края. Но по сути, мы здесь чужие».

Потом он отхлебывал виски из неизменного стакана и горько заканчивал: «Для меня уже ничего не исправить. Но ты... ты... Ты просто обязан вырваться из этой трясины!»

Восклицательную интонацию последней фразы отец обычно сопровождал энергичным кивком и опрокидыванием в рот остатков виски из стакана, после чего немедленно наливал себе снова. Это была постоянная рутина, как упражнение в утренней гимнастике, на счет раз-два-три: кивок – оп!.. стакан – хлоп!.. бутылка – бульк!.. Оп-хлоп-бульк. И снова, и снова, по много раз в день.

Отец стал самым натуральным алкоголиком, и вина в этом лежала на все той же проклятой стране с ее дебильным народом, невыносимым климатом и вопиющим отсутствием элементарной культуры поведения. Начать с того, что отец вырос в кибуце. Янив презрительно скривился. Только местные интеллектуалы, не имеющие никакого понятия о реальном положении вещей, могут восхищаться идиотской кибуцной идеей. Конечно, Янив не торопился разубеждать их, поскольку именно кибуцное происхождение добавляло ему авторитета в глазах этих важных и умных людей. Но это не меняло того факта, что воздушный замок, возникавший в воображении его европейских друзей при слове «кибуц», не имел ни малейшего отношения к действительному положению вещей. Впрочем, сам Янив не прожил там ни минуты, если не считать коротких визитов к деду. Еще чего – жить в общей помойке!

Ему вполне хватало того, что рассказывал о кибуцном существовании отец: все на виду, никакой личной жизни, постылая сельскохозяйственная работа, постоянная вонь из коровника... тьфу, мерзость! Оп-хлоп-бульк. Но самое страшное – холопское презрение к индивидуальным запросам. Дурацкие рассуждения о благе страны, о народе, и об остальных так называемых сионистских ценностях. При слове «сионизм» янивиного папашу неизменно перекашивало.

– Сионистских?.. – кричал он. – Фашистских! Гитлер говорил то же самое: «Германия превыше всего!» Сионисты просто поменяли «Германия» на «Израиль», только и всего!

И снова – оп-хлоп-бульк. Как тут было не возненавидеть фашистов-сионистов, изуродовавших папину жизнь?

Отцовский дед приехал в Палестину из России. Уже за одно это следовало подвесить его за деликатные части. Какого, спрашивается, черта он приперся в заболоченную малярийную пустошь вместо того, чтобы, как все нормальные люди, отправиться в Нью-Йорк? Эх, нет предела глупости человеческой... если бы не эта прадедова блажь, не пришлось бы Яниву торчать сейчас в брюссельском аэропорту с картонкой на груди. Глаза Ле Фена заволокло сладким мечтательным туманом. Он представил себя владельцем голливудской киностудии или нью-йоркским брокером... музыкальным продюсером из Чикаго или владельцем боссонской адвокатской фирмы... или, на худой конец, просто рок-звездой, вольным художником из Гринвич Виллидж... да мало ли! Какая сволочь все-таки этот прадед!

И главное, было бы зачем! Ну что он получил за то, что горбатился с рассвета до заката, откладывая заступ только для того,

чтобы взять в руки мотыгу, а мотыгу – чтобы с переменным успехом отстреливаться от арабов? Что? – Депутатство в первом кнессете? Место профсоюзного босса и ежегодные поездки заграницу? Биг дил!.. Отец говорил, что он так до конца жизни и не научился правильно держать нож с вилкой. Детей, правда, настругал кучу, и все, как на подбор, такие же идиоты, как и он сам. Один из отцовских дядьев – генерал, министр, пройдоха и бабник, сделал, казалось бы, приличную карьеру. С президентами и королями – за ручку, с Рокфеллерами и Ротшильдами – за одним столом. Да только что толку-то, если возвращаться приходилось все в тот же навозный кибуц?

Они и янивова отца хотели по той же дорожке пустить. Но вот хрена вам, сионисты навозные! Оп-хлоп-бульк!.. Отец грозил в пространство полусогнутым артритным пальцем.

Отец выговаривал заплетающимся языком:

– Понимаешь, Янив, мой мальчик? Они мне сказали: «Давид! Это все твое! Страна принадлежит тебе! Мы не зря ее строили! Мы не зря за нее сражались!» Представляешь? А я им ответил: «А кому она, на хрен, сдалась, эта ваша вонючая фашистская яма?» Так и сказал! А кому она... нах... сдалась...

Оп-хлоп-бульк! Отец шлепался лицом в скатерть, бутылка падала на пол, расплескивая виски: бульк-бульк-бульк, но уже без оп-хлоп, а Янив подхватывал папашу под руки и волок к ближайшему дивану. Пьяный отец выглядел омерзительно, но он ли был в этом виноват? Конечно, нет! Отец хотел быть гражданином мира, человеком европейской культуры, а ему предлагали крохотное грязное гетто, полное зависти и интриг.

Да еще и представляли эту пакость, как великое благодеяние: «Бери, Давид, это твоя страна! Вот коровник, а вот партийный съезд! Будь, кем хочешь – хоть генералом, хоть писателем! Куда надо продвинем, кому надо укажем! Бери!»

А папашу от этого всего тошнило! Тошнило! Что тут непонятно? Потому что он индивидуальность, ясно?! Неповторимая человеческая личность! А личность не ходит строем, как какой-нибудь фашиствующий сионист!

Отец решил стать поэтом – только для того, чтобы бросить им прямо в морду свои обвинения. Они слушали и рукоплескали. Папаша мог абсолютно безнаказанно говорить им все, что угодно. Они даже особо не вслушивались: ведь он был для них внуком одного из основателей государства, племянником военного героя. Они и сами были чьими-то внуками и сыновьями. Эта страна принадлежала им, а как же иначе? В самом деле, за что сражались-то? В награду за наиболее гадостную ругань отец получил национальную литературную премию. Получил и, поняв, что этих идиотов ничем не проймешь, уехал в Калифорнию, чтобы стать настоящим гражданином мира. Янив тогда был еще совсем ребенком. Его и мать папаша оставил в Израиле. Он интуитивно чувствовал, что для получения мирового гражданства и начала новой прекрасной жизни предпочтительно быть налегке. Оп-хлоп-бульк!

Вернулся отец через три года, полный злобы и разочарования. Мир отказался дать ему гражданство. Никому, ровным счетом никому не было до него дела. Ему радовались только здесь, в этой мерзкой провинциальной ближневосточной стране, которую он ненавидел всем своим существом. Он принялся пить по-черному, а в перерывах писал в одну из двух центральных газет бессвязные, дышащие болью неудачника заметки. Израильские издатели платили за это умопомрачительные гонорары. В конце концов, никто не отменял того факта, что страна принадлежала ему, Давиду Лефену, и еще нескольким тысячам таких же, как он.

– Янив, – говорил он, и слюна тонкой струйкой стекала из угла его рта. – Янив, мой мальчик, не повторяй моей ошибки. Беги отсюда, как можно раньше и никогда не возвращайся. Иначе они изувечат тебя, как изувечили твоего отца. Беги и не возвращайся!

Оп-хлоп-бульк!

Первую часть отцовского завета Янив исполнил легко и с удовольствием. Пока папаша ежемесячно переводил ему свои доллары, проблем не возникало. Но затем настал конец – сначала печени алкоголика, а потом и безбедному янивову существованию. К тому времени Янив поочередно перепробовал карьеры музыканта, гомеопата и писателя. Увы, ни то, ни другое, ни третье не подошло его творческой индивидуальности. Отцовская смерть застигла молодого человека в Париже, где он пытался стать художником. Фамилию он слегка изменил и теперь звучал на французский манер: Ле Фен. Но даже это не помогало Яниву и его искусству почувствовать себя своими в прекрасной, но чужой Европе. Отсутствие денег только усугубляло кризис. Он уже подумывал о том, чтобы сдаться и, подавив отвращение, вернуться в Тель-Авив. Конечно, противно, но, по крайней мере, там бы он не нуждался. Только вторая часть отцовского напутствия – «не возвращайся!» – удерживала его от того, чтобы немедленно помчаться в аэропорт. Но другого выбора, похоже, не было. Янив знал, что обречен рано или поздно пройти по печальной отцовской дороге: возвращение на постылую родину, в провинциальные склоки, жару и бескультурье, и далее – бутылка, цирроз печени, смерть. Спасение пришло неожиданно, когда Ле Фен уже совсем отчаялся.

Как-то, бесцельно слоняясь по Парижу с мольбертом и сумкой через плечо, он наткнулся на шумную антиизраильскую демонстрацию. Чего-чего, а таких демонстраций хватало повсюду, но почему-то именно тогда, на грани вынужденного возвращения в проклятую страну, Яниву пришло в голову затесаться в ряды демонстрантов. И произошло чудо. Он вдруг почувствовал себя своим – впервые за несколько европейских лет. Наконец-то его что-то объединяло со многими сотнями людей на площади Бастилии. Это была ненависть, да-да, ненависть. Они вместе ненавидели одно и то же. Он с наслаждением выкрикивал какие-то лозунги про фашизм и мясников, особенно – про фашизм. Разве отец не говорил то же самое? Потом выяснилось, что единомышленников намного больше – вовсе не сотни, а многие миллионы, даже десятки, сотни мил-

лионов. Как просто оказалось получить вожделенный пропуск в мировое гражданство – всего-то и требовалось, что открыто выразить свою ненависть к Израилю!

У Ле Фена сразу объявилась масса новых друзей. Он быстро превратился в важного функционера: сочинял плакаты для демонстраций. Газеты охотно брали у него карикатуры. Появились и деньги, небольшие, но собственные, заработанные настоящим трудом! Наконец-то он стал кому-то необходим! Вскоре Париж показался Яниву тесным. Настоящая европейская политика делалась в Брюсселе, и он переехал туда. Теперь на вопрос о профессии Ле Фен отвечал гордым: лоббист. В самом деле, лоббировать антиизраильские интересы оказалось приятным и, главное, почетным занятием. Брюссель был полон бюрократами, кабинетами и жирными зарплатами. Ненависть к фашиствующим еврейским оккупантам, сопряженная со знанием иврита и израильских общественных кодов, открывала перед молодым человеком любые двери, в том числе и главную: он постепенно становился своим, родным в неприветливой доселе, но такой желанной Европе!

«Нет, отец, – думал он, стоя по вечерам со стаканчиком виски перед окном своего брюссельского апартамента. – Я не вернусь, не проиграю. Им не сломить нас, папа. Мы принадлежим большому и красивому миру, а не занюханному клочку пустыни. Я не дам им затянуть нас в эту трясину. Я отплачу им и за себя, и за тебя!»

Оп-хлоп-бульк!

Через пару лет Янив уже считался одним из главных связующих звеньев между европейскими организациями и их единомышленниками внутри Израиля. В родные пенаты наезжал важной птицей, привозя с собой европейский лоск, европейский взгляд на вещи, европейские инструкции и, главное, европейские деньги. Так что он нисколько не удивился, когда один из его новых тель-авивских приятелей обратился к нему с обычной просьбой составить протекцию на предмет финансирования израильско-палестинской борьбы за мир. В конце концов, разве не в этом и заключалась его профессия? Самому себе Янив оставлял небольшой посреднический процент: идеология идеологией, но бесплатно работать – себя не уважать.

Ну где же этот... как его?.. он покосился на картонку – Ури Файман? Самолет приземлился двадцать минут назад, так что тельавивский коллега по борьбе за мир должен был уже выйти. Наверное, набрал с собой уйму чемоданов и теперь ждет багажа. Янив вздохнул и безнадежно покрутил головой: ох уж эти провинциалы... Сзади раздалось деликатное покашливание:

– Господин Ле Фен?

Янив обернулся. Перед ним стоял здоровенный тип лет тридцати, двухметрового роста и мощного телосложения. На его гладко выбритом лице сияла приветливая улыбка.

– Ури? – удивленно спросил Янив. Обычно он легко отличал своих бывших соотечественников, но в его нынешнем госте ничто не выдавало израильтянина. – Файман?

Гость слегка поклонился.

– К вашим услугам, – сказал он на иврите. – Давно мечтал с вами познакомиться. Наслышан, наслышан...

Янив поморщился: – Дорогой Ури, я предпочел бы общаться на французском или на английском. Мы все же находимся в Европе, не правда ли? Тут не принято говорить на языках неведомых племен.

Обычно это предложение встречало понятное замешательство провинциалов, что позволяло Яниву сразу продемонстрировать, кто тут главный. Впоследствии, на этапе торговли за посреднический процент, преимущество в знании языка оказывалось просто бесценным. Улыбка гостя стала еще шире.

– Нет проблем... – он легко перешел на французский. – Вы табличку-то уберите, господин Ле Фен. А то я чувствую себя, как на выставке...

* * *

По дороге из аэропорта Янив убедился, что первое впечатление оказалось правильным: парень определенно обладал настоящим цивилизованным стилем. В отличие от обычных коллег он не пытался сэкономить сотню-другую евро на гостинице. «Метрополь» считался одним из лучших брюссельских отелей.

– Ненавижу новые отели, – снисходительно заметил гость в ответ на уважительный взгляд Янива. – Они, знаете ли, безлики и оскорбляют вкус. С годами учишься ценить индивидуальность, бижу.

Последнее слово показалось Яниву неизвестным, хотя и смутно знакомым. Загадочный Ури Файман явно знал французский, как минимум, не хуже него.

– Да-да, – кивнул Янив. – И расположен прекрасно. Станция метро вплотную...

Файман брезгливо оттопырил губу: – Я предпочитаю такси, господин Ле Фен...

Янив прикусил язык. Где они только такого типа откопали?

В гостиничном номере с видом на площадь Берл достал из чемодана плоскую бутылку «Мартеля».

– За знакомство, господин Ле Фен! Вы не возражаете, если мы перейдем сразу к делу?

Господин Ле Фен не возражал. Инициатива прочно и безвозвратно находилась в руках его нового знакомого. «На этот раз о больших комиссионных мечтать не приходится...» – уныло подумал Янив.

Берл подошел к окну и отодвинул тяжелую портьеру светло-кирпичного оттенка, в тон общему интерьеру. Площадь Брукер была полна туристов и сувенирных лотков. Погода стояла серая, пасмурная, накрапывал дождь. Берл вспомнил яркие цвета Дааба и невольно вздохнул.

– Другой мир, не правда ли? – самодовольно заметил Янив, устраиваясь в кресле с бокалом в руке. – Сердце объединенной Европы. Стержень современной цивилизации. Не очень-то это похоже на ваши родные виды...

– Итак, – начал Берл, бесцеремонно перебивая его. – Наша проблема заключается в следующем. До самого последнего времени организация международной солидарности с палестинцами, интересы которой я имею честь представлять, финансировалась, в основном, за счет пожертвований, собираемых в Северной Америке. Но, как вы, возможно, слышали, в прошлом году Соединенные Штаты и Канада наложили арест на многие дружественные нам фонды под предлогом борьбы с терроризмом.

Янив кивнул. Еще бы не слышал! После этих событий его доходы существенно возросли: теперь основные денежные потоки волей-неволей должны были проходить через Европу.

– Абсолютно антидемократическая мера, – сказал он. – Даже если часть этих средств идет на оружие, то в этом нет ничего преступного, наоборот, одна только справедливость. Отчего американский Конгресс может вооружать Израиль на деньги налогоплательщиков, а мусульмане не могут пожертвовать часть своих личных доходов ради блага палестинских братьев?

– Увы, – усмехнулся Берл. – К сожалению, не все понимают ситуацию так же четко, как мы с вами. Так или иначе, наша организация вынуждена была обратиться за помощью к Европе. Для нас это относительно новое поле... что, возможно, объясняет возникшие проблемы. Спонсор нашелся относительно быстро, одна беда – он не может платить деньгами.

– Не может деньгами? – удивился Янив. – А чем же он тогда платит?

– Золотом. Золотыми слитками довоенной давности. А точнее, 1938 года.

Берл замолчал, вглядываясь в лицо своего собеседника. Но на физиономии господина Ле Фена можно было прочитать только искреннее удивление.

– Золото... Никогда о таком не слышал... – пробормотал он. – Век живи, век учись.

Берл разочарованно вздохнул.

– К несчастью, – сказал он. – Наши поставщики признают только наличные. В дополнение ко всем бедам, неожиданно заболел и умер наш единственный связанный с европейским спонсором курьер. Таким образом, мы оказались в трудном положении, с бесполезными кусками металла на руках и без надежного посредника. Последнее, конечно, восстановимо, но требует времени. А времени нет. В Газе нужна взрывчатка.

Янив задумчиво покрутил коньяк в бокале.

– Я только не очень понимаю, какой помощи вы хотите от меня?

Берл нетерпеливо фыркнул: – А что тут понимать, господин Ле Фен? Нам немедленно нужны наличные. Я бы разделил задачу на два этапа: ближайший и перспективный. На ближайшем уровне

необходимо срочно обменять имеющееся у нас золото на деньги. В перспективе мы хотели бы наладить прямой контакт источника наличных с нашим спонсором. Нам вообще ни к чему видеть эти слитки. Зачем? Лишние звенья только перегружают цепь.

– А почему вы обратились именно ко мне? – спросил Янив. – Продать золото можно повсюду.

– Знаете, молодой человек, – саркастически заметил Берл. – Спокойная европейская жизнь добавила вам не только лоска, но и тормозной жидкости. Вы как-то медленно соображаете. Повторяю: лишние звенья перегружают цепь. А уж когда она становится неоднородной, то вообще беда.

Ле Фен молчал, обдумывая услышанное. Израильтянин был, без сомнения, прав. Серьезные люди не связываются со случайными спекулянтами.

– Ну что ж, – сказал он наконец. – Я, конечно, могу попробовать, но успех не гарантирую. За два года работы в Брюсселе мне впервые пришлось столкнуться с такой странной формой помощи. Большей частью деньги идут абсолютно легально, через решения соответствующих комиссий. Обычные банковские переводы. Иногда, правда, помогают секретно, посредством спецслужб, наличными... но это редкость. А золото... не знаю, не знаю... возможно, это объясняется именно срочностью дела после перекрытия американских каналов?

Берл пожал плечами: – Вам лучше знать. Так поможете?

– О какой сумме идет речь?

– Немедленно – немного. Всего два миллиона долларов. Десять брусков. В перспективе, конечно, намного больше... – Берл прошелся по комнате и остановился перед Янивом, покачиваясь с пятки на носок. – Обратите внимание, господин Ле Фен, нам особенно важно установить прямую связь между вашими покровителями и нашим спонсором.

– Хорошо, – кивнул Янив. – Для этого мне понадобятся координаты спонсора.

– Да что с вами такое? – удивленно протянул Берл. – Я же, кажется, ясно сказал: связь со спонсором временно потеряна. Восстановить ее можно, но зачем? Мы обратились к вам, прежде всего, потому, что в Брюсселе наверняка известно, кто именно может жертвовать на палестинское дело золотые слитки тридцать восьмого года. Осталось только связать между собой ваших чиновников и моего жертвователя.

Ле Фен развел руками: – Но, по крайней мере, взглянуть на слитки вы мне позволите?

– Вот фотография, – Берл достал из кармана листок бумаги. – Только не спрашивайте, что это там за клеймо – не знаю. Вы специалист, вам и карты в руки. Кстати, сколько вы берете комиссионных?

– Немного, – осторожно проговорил Янив. – Два процента по результату.

– Сделаете срочно – получите втрое больше. Еще коньяку?..

– Нет, господин Файман, спасибо... – Ле Фен поднялся с кресла. Узкоплечий и малорослый, в круглых очочках, он казался сам себе ребенком рядом с мощной фигурой тель-авивского гостя. – Я немедленно возьмусь за дело. Ждите моего звонка.

* * *

Коридоры гигантского здания Европейского Совета гудели от бесчисленного множества людей, от тяжеловесной начальственной поступи солидных боссов, от шустрой мелкочиновной побежки, от робкого шарканья просителей. Это было гнездо бюрократии, ее квинтэссенция, ее полное и окончательное торжество над законами здравого смысла и элементарной целесообразности. Как бы в насмешку, здание носило имя Жюста Липса, философа-неостоика, полагавшего именно принцип разумности непререкаемой основой правильного человеческого поведения. Бедняга, он и предположить не мог чудовищных размеров, до которых доберется бюрократическая раковая опухоль всего лишь за какие-то четыре столетия...

Чем они тут занимаются, все эти клерки и секретарши? – дивился Берл, поспешая за Янивом Ле Феном, наподобие того, как океанский лайнер следует за лоцманским катерком, ловко маневрирующим в тесном пространстве порта. – Их же тут тысячи, десятки тысяч... и все куда-то спешат, суетятся, Господи Боже, куда, зачем?

Его проводник явно чувствовал себя родным в этом муравейнике; на ходу он успевал обмениваться со встречными муравьями кивками, рукопожатиями, сердечными объятиями и поцелуями. Наконец Ле Фен остановился перед одной из дверей, одернул пиджак и предупреждающе кивнул Берлу. Они вошли и оказались в небольшой приемной с несколькими стульями и столом, заваленным грудой бумаг и канцелярских папок. Кроме них в приемной не было никого.

– Ури, Ури... – отчего-то шепотом сказал Янив. – Не стойте, садитесь, садитесь...

Как будто передразнивая его, зашуршала, открываясь, дверь во внутреннее помещение. Вышла секретарша неопределенного возраста и тут же принялась клацать на компьютере, не обращая на посетителей ни малейшего внимания.

– Гм... – кашлянул было Берл, но Янив в неподдельном ужасе замахал на него руками: «Молчите, молчите!..»

Поздно! Секретарша резко перестала клацать, и подняла на них ледяной взор. Рука ее зависла над клавиатурой, как карающая длань судьбы.

«Мурена... – подумал Берл. – Вылитая мурена. Только без насморка».

– Нет-нет, госпожа Марта... – пролепетал Янив у него под боком. – Все в порядке, мы подождем...

Мурена величественно кивнула, так и не раскрыв зубастого рта. Клацанье возобновилось. Ле Фен перевел дыхание и потянулся к берлову уху.

– Вы с ума сошли, – прошипел он. – Вы знаете, какого труда мне стоило попасть в этот кабинет? Сидите и молчите, ради Бога.

Они прождали около получаса. Наконец на секретаршином столе что-то звякнуло, и селектор прошелестел бархатным мужским голосом: «Марта, пожалуйста». Секретарша встала, открыла дверь в кабинет и сделала приглашающий жест. За все время она не произнесла ни слова. «Как и положено рыбе», – подумал Берл, входя в кабинет вслед за Янивом.

Навстречу им уже шел благообразный пожилой человек, протягивая ладонь для рукопожатия и сердечно улыбаясь. Его подчеркнутое дружелюбие представляло собой разительный контраст с мурeньим клацаньем секретарши. Берл осторожно пожал теплую вялую ладошку.

– Проходите, присаживайтесь... – хозяин округлыми жестами направлял их в угол кабинета, к журнальному столику и креслам. На столике стояли бутылки с напитками и фрукты. Чиновник опустился в кресло и потер руки с подчеркнутым энтузиазмом.

– Будем знакомиться? – его обращенная к Берлу улыбка сияла благорасположением. – С Янивом мы уже давние друзья, а вот вы, господин Файман, – человек новый. Меня зовут Райт. Райт Липс. Помощник заместителя начальника отдела секретариата по культурным связям при Европейской комиссии.

Он выговорил свой длиннющий титул на одном дыхании и приостановился, гордый этим нешуточным достижением.

– Липс? – Берл улыбнулся зеркальным отражением хозяйской улыбки. – Вы уж не потомок ли того самого...

– ...Жюста, именем которого названо это здание? – подхватил Липс. – Вполне возможно, дорогой мой господин Файман, вполне возможно. Европа, знаете ли, старый континент, с собственной традицией. Многие проекты, которыми мы заняты сейчас, начинались еще нашими предками. Взять хоть нынешнее объединение. Разве Карл Великий не был одержим той же мечтой? А Наполеон?

Он просто лучился превосходным настроением.

«Что ж ты остановился на Наполеоне? – подумал Берл. – Продолжай уже дальше: Гитлер...»

– Я очень ценю вашу готовность уделить нам немного времени, господин Липс, – сказал он вслух. – Как я уже объяснил нашему общему знакомому, моя организация работала прежде исключительно по американским каналам. Мы просто отчаянно нуждаемся в новых европейских друзьях.

Липс часто-часто закивал: – Конечно, конечно! Буду счастлив помочь. Мы уже успели обсудить ваше дело с господином Ле Феном по телефону. Как я понимаю, на этом этапе вам требуется скорее обмен, чем прямое финансирование, а это намного проще по очевидным причинам.

– Именно так, Райт, – вступил Янив. – Естественно, обмен, как и всякая сделка, предполагает оплату посреднических услуг. Речь идет о постоянном канале. Господин Файман особо заинтересован в том, чтобы вы установили непосредственный контакт с его спонсором.

– Нет проблем, – Липс довольно потер руки. – Нельзя ли взглянуть на ээ-э... образец?

Ле Фен достал фотографию слитка.

– А!.. – воскликнул хозяин, едва бросив взгляд на листок. – Как же, как же... прямиком из подвалов Юнион-Банка! У вас солидный спонсор, господин Файман.

– Можете звать меня просто Ури, – любезно сказал Берл. – Я уже чувствую, как наше знакомство перерастает в крепкую дружбу.

– Прекрасно. Считайте, что мы договорились. Я сегодня же позвоню в Цюрих господину... ээ-э...

Липс с веселой улыбкой уставился на Берла. Он тянул это свое «ээ-э-э...», длинное, как коридоры в здании имени его однофамильца; гладко выбритое лицо морщинилось доброжелательной гримасой, рот был растянут до ушей, и только глаза принадлежали какой-то другой опере. Глаза смотрели цепко и холодно, регистрируя мельчайшие подробности берловой мимики. В такие моменты Берл обычно использовал оригинальную технику собственного изобретения: он представлял себя одуванчиком на залитом солнцем полуденном поле. Вот и сейчас под хищным липсовским взглядом поканчивался желтенький одуванчик, милый и непроницаемый в своей абсолютной невинности.

– ...ну да... в общем, позвоню кому надо... – закончил чиновник, разом погасив интенсивность взгляда. – Свяжитесь со мной завтра утром, господин Ле Фен.

Беседа, по всей видимости, подошла к концу, и Янив напрягся, ожидая завершающего «ну что ж...», или «итак...», или просто одновременного хлопка обеими руками по коленям, или какого другого сигнала, означающего: «все, ребята, пора прощаться». Но сигнала все не было; господин Липс сидел, задумчиво покачивая головой, и молчал. От прежней широченной улыбки осталась лишь слабая тень, едва заметная в углах тонкогубого рта. Уж не углядел ли он что-то подозрительное в глухой непроницаемости берлова одуванчика?

– Вы знаете, господа, – произнес Липс наконец. – Есть определенная символичность в дате моего рождения. Я вам когда-нибудь рассказывал, Янив? Нет? Это случилось одновременно с провозглашением вашего государства, день в день. Интересно, правда? Иногда мне кажется, что эти два события взаимосвязаны. То есть, не появись я на свет, не произошло бы и той трагической ошибки, которая повлекла за собой наши нынешние проблемы...

Он рассмеялся неожиданно тонким смехом.

– Вам не на что жаловаться, Райт, – печально заметил Янив. – Вы родились в цивилизованной стране. В отличие от нас.

– Разве в этом дело, дорогой друг? Много ли значит рождение конкретного смертного человека по сравнению с бессмертными мировыми проектами? Вы не возражаете, если я немного пофилософствую? Возьмите, к примеру, Европу, про объединение которой мы говорили несколько минут назад. Можете ли вы указать точное время ее появления на свет? Нонсенс, не так ли? И в этом – залог ее бессмертия. Смертно только то, что имеет дату рождения. Скажем, я. Или вы... – он снова уперся в Берла прямым и цепким взглядом. – Или ваша страна...

Берл пожал плечами: – Извините, господин Липс, но я не очень понимаю, к чему вы клоните.

– Я вам объясню, – серьезно сказал чиновник. – Не знаю, насколько вы представляете себе мои функции и задачи. Не впадая в излишнюю детализацию, скажу, что я – один из бульдозеристов. Да-да, не удивляйтесь. На пути большого европейского проекта всегда громоздились груды мусора. Кто-то должен идти впереди строителей и расчищать дорогу, сдвигать мусор в сторону...

– Или в ров... – продолжил Берл. Он едва слышал собственный голос сквозь стук крови в висках.

– Я вижу, вы хорошо меня поняли... – Липс удовлетворенно улыбнулся. – Но ров, скорее всего, пройденный этап. Море сегодня выглядит намного актуальнее. Хотя, ничего нельзя знать заранее. Возможно, и рвы еще пригодятся.

«Ну кому это поможет, если я его сейчас придушу? – подумал Берл. Ему стоило некоторого труда держать себя в руках. – Никакой пользы не будет, ничего, кроме минутного удовольствия. Их тут полное здание, таких мыслителей и их однофамильцев. Даже полный континент».

– Что-то вы не то говорите, Райт... – неловко пробормотал Ле Фен.

Липс снова расхохотался высоким, до визгливости смехом.

– Какие вы все-таки серьезные, израильтяне, – сказал он, посмеиваясь. – Не понимаете европейского юмора. Ну ладно – Ури, он только вчера из Тель-Авива, но от вас, Янив, я ожидал большего... Я ведь всего-то и хотел задать нашему гостю один-единственный вопрос: в чем, собственно, заключаются ваши мотивы, господин Файман? А? Вот я пекусь о перспективах объединенной Европы, которой мешает постоянная напряженность в сердце стратегически важного региона. Можно понять, правда? Господин Ле Фен изо всех сил старается стать настоящим европейцем... я правильно понимаю, Янив? – Вот видите, правильно. Но вам-то это зачем? Неужели не расскажете?

– Отчего же... – спокойно ответил Берл и поднялся с кресла. – Конечно, расскажу. Деньги. Я получаю замечательные комиссионные, господин Липс. Даже после того, как отстегиваю процентик-другой проходимцам вроде вас и вашей шестерки. Будьте здоровы.

Он подошел к двери и дернул за ручку. Дверь не открывалась. Берл попробовал еще раз – напрасно. Он обернулся, с трудом

сдерживая ярость. Липс и Ле Фен смотрели на него с одинаковыми улыбками.

– Зря вы так, господин Файман, – с упреком сказал чиновник. – Никакой я не проходимец, и вы это прекрасно понимаете. Насчет Янива – не поручусь... ха-ха-ха... шучу, дружище, шучу, не напрягайтесь... А с вами, Ури, мы обязательно подружимся. Обязательно. Вы мне даже нравитесь своей ээ-э... горячностью. Вот только проверю кое-что и сразу начнем дружить, идет? Потому что приведенная вами причина всегда казалась мне самой весомой. Любовь к деньгам не знает измен, на нее можно положиться... А выход – через другую дверь, вон туда... та работает только на вход. Был очень рад знакомству.

В коридоре Янив схватил Берла за рукав: – Как вы могли, Ури? У вас было такое зверское лицо... я даже боялся, что вы его задушите. От этого человека зависит вся ваша сделка, а вы обзываете его проходимцем. Зачем?

«Да что за день такой? – вздохнул Берл. – Каждый встречный-поперечный пристает с одним и тем же вопросом. Зачем да зачем, зачем да зачем... Что я, по-вашему, Господь Бог, что ли, чтобы знать, «зачем»? Вот у него и спрашивайте... зачем...»

Он грубо вырвал рукав и, не оглядываясь, пошел к лифтам. На сердце у него скреблись и гадили все брюссельские кошки. Стоя в спускающемся лифте, Берл поднес к глазам ладони и долго рассматривал их со все возрастающим недоумением. Ну почему ты все-таки не свернул гаду шею, почему?.. – А потом? – А что потом... потом – по обстоятельствам. Зато как было бы славно на душе! Не то что теперь... Он прицелился и сплюнул точно на сияющий ботинок соседа по лифту. Молодой клерк в стандартном костюме затравленно пискнул, но глаза поднять не посмел. Бедняга физически чувствовал исходящую от Берла энергию ярости. Она просто переполняла тесное пространство лифта в чудовищном здании имени европейского гуманиста и философа господина Липса.

СВИДЕТЕЛЬ №4

Дети есть дети, господин судья. Так обычно говорится. А что это значит? Слабые, да? Несмышленые? Капризные, неприспособленные к жизни маленькие существа, которых надо воспитывать и учить годами, пока, наконец, из них не вылупится что-то путное, называемое взрослым человеком. Так, да? А знаете ли вы, сколько всякого может вынести, вытерпеть ребенок? Взрослому такое и не снилось, можете мне поверить. Говорят еще: человек ко всему привыкает. Ерунда. Ребенок ко всему привыкает – это да, а вот взрослый человек, наоборот, часто ломается и гибнет.

И в общем-то, это можно понять. Возьмите сильный ветер, ну там ураган, бурю или как это называется... Кто раньше переломится – взрослое дерево или тоненький прутик? А если, допустим, смерч – ну, тот, что с корнем рвет и уносит неведомо куда... вот

принес он, допустим, большое дерево за тридевять земель, да и бросил на землю; приживется оно на новом месте или нет? Ясное дело – нет. Ему ведь для жизни надо корни глубоко в землю запустить, да еще и не всякая земля годится. А кто ж ему яму-то копать будет, пересаживать, удобрять, возиться? Махнут рукой, да и распилят на дрова. А тем временем прутик тот маленький, если повезло ему упасть в канаву или в мелкую лужицу, уже тянет воду слабенькими своими корешками, живет, приспосабливается к новому месту. Нет, как ни крути, а дети сильнее взрослых, господин судья. Намного сильнее. И, знаете что?.. – умнее.

Да-да, я нисколько не преувеличиваю. Ведь взрослый человек живет надеждами. А что такое надежда? – Иллюзия, не более того. Вот говорят: взрослый человек планирует. Взрослый человек знает. Да много ли он там знает, Бога ради?.. что планирует? Иногда такие глупости закручивают... Спросишь такого: ты зачем это сделал, дурачок? Разве не ясно было, что выйдет нехорошо? А он отвечает: знать-то я знал, но надеялся, что получится иначе. Вы понимаете? Он, видите ли, надеялся! Тогда, спрашивается, на кой черт тебе все твои знания, если ты не по ним поступаешь, а по глупой своей надежде? Зачем тебе, идиоту, глаза, если ты доверяешься слепому поводырю?

Дети – иной коленкор. Дети, конечно, ошибаются, падают, набивают себе шишки, но делают это исключительно по незнанию. Возможно, видят они не столь далеко с высоты своего маленького роста, но зато, уж если что видят, то того не отдадут никому – в особенности, надеждам, иллюзиям и прочим непрочностям. Они очень практичный народ, дети. Но стоит им вырасти – и куда только все девается!.. Бегут, выпучив глаза, вдогонку за миражами.

Вот я, господин судья, никогда ни за чем вдогонку не бегала и, можно сказать, горжусь этим фактом. Кто-то, возможно, ухмыльнется и скажет, что зато я всю жизнь бегала *от* чего-то. Ну ладно, допустим, что так... и что ж с того? Лучше бежать *от*, чем *вдогонку*, лучше быть преследуемым, чем преследователем. И вовсе не оттого, что это выглядит более морально. Мораль, если хотите знать, меня вообще мало интересует, как и другие иллюзии. Причина намного важнее: так легче выжить, потому что догонять опаснее, чем убегать. Звучит парадоксом, да? А между тем, нет в этом ничего парадоксального. Преследователь теряет чувство опасности, а у жертвы оно, наоборот, обострено до предела. Хищник должен быть на пике силы и формы, чтобы догнать даже ослабленную болезнью добычу. Не догнал сегодня – не беда, подождем до завтра, авось повезет больше. А назавтра невезение все то же, но зато сил меньше. Удивительно ли, что львята подыхают с голоду, в то время как антилопы спокойно щиплют травку на тучных лугах?

Выживание – вот главный смысл жизни. Многие этого не понимают до самого конца. Многие, но не мы, привыкшие выживать с раннего детства... Что?.. Нет, *своим* детям я эту науку не передала. У меня нет детей, господин судья. Ни детей, ни семьи. И знаете, это даже к лучшему. Налегке и уцелеть легче.

Когда я родилась, меня назвали Эстер, потому что произошло это ранней весной, во время какого-то еврейского праздника. Эстер Мейерс. Это моя бабулька постаралась, со стороны матери. Все называли меня Эсти, и только бабушка упрямо стояла на своем – Эстер и все тут.

– Твое имя, – повторяла она мне, – твое имя, Эстер, это единственное свидетельство того, что в нашей семье осталось хоть что-то еврейское.

Думаю, что тут она слегка преувеличивала. Нашу семью не связывало с еврейством ровным счетом ничего. Мы жили в Лекене – аристократическом районе Брюсселя. Отец владел процветающей адвокатской фирмой, водил дружбу с министрами и был принят при королевском дворе. Он крестился в юности и, насколько я помню, иногда даже захаживал в церковь, хотя навряд ли причислял себя к истово верующим католикам. Мама в церковь не ходила. Она верила в социализм и в единство. Так она говорила во время светских бесед со своими прекрасно одетыми и изысканно воспитанными друзьями.

– Я верю в социализм и в единство!

Я слышала это часто, выбегая в гостиную из своей комнаты, чтобы схватить со столика еще одну конфету.

– Эсти! – возмущенно кричала мать, временно отвлекаясь от своей несокрушимой веры. – Ты испортишь себе зубы и семейную жизнь!

Бабушка, как я уже отмечала, верила в еврейского Бога, что почему-то выражалось в зажигании свечей. Каждую пятницу она громко взывала из своей комнаты, нарочито сильно картавя: «Эстер! Эсте-ер!» и, не дождавшись ответа, выходила на охоту. Я заранее пряталась, изобретая все новые и новые убежища. Дом у нас был огромный, а бабушка старая. Тем не менее, она никогда не сдавалась и упорно продолжала поиски, пока, наконец, не вытаскивала меня из шкафа или из-под кровати, пыльную и задыхающуюся от смеха. С тех пор еврейство ассоциируется у меня с невообразимым, просто даже каким-то неумолимым упрямством.

Бабушка сердито стряхивала с меня подкроватную паутину и тащила к себе. Там уже стояли на комоде две высокие белые свечки в разлапистых серебряных подсвечниках. Дальше нужно было закрыть лицо обеими руками и пробормотать несколько непонятных слов на языке упрямой бабушкиной веры.

В общем, выходило так, что в нашей семье каждый верил во что-то свое – все, кроме меня и пуделя по имени Чарли. Впрочем, Чарли с радостью соглашался принять любую веру всего лишь за кусочек печенья, и с такой же готовностью менял ее при виде сосиски. Подобное ренегатство делало его сомнительным союзником в религиозных вопросах. Другое дело я. Мой переход в чью-либо религию автоматически превратил бы ее в господствующую или, по крайней мере, самую многочисленную в доме. Поэтому и сражения за мою детскую душу разворачивались нешуточные. Стоило, к примеру, папе заикнуться о том, что ребенку может быть интересна

месса в кафедральном соборе, как на него набрасывались с трех сторон одновременно: бабушка со своими свечами, мама со своим социализмом и Чарли – просто за компанию. В итоге я росла без какой-либо веры, что устраивало меня вполне. Тем не менее, интуитивно я чувствовала, что когда-то придется определиться.

До семи лет я получала домашнее воспитание, так что первый мой выход в большой мир произошел позже, чем у большинства детей. До школы я и сверстников-то практически не видела, если не считать нескольких кузенов, с которыми я время от времени встречалась на семейных праздниках или летом, в нашем загородном доме. Но школа сразу же предъявила другие правила игры. Излишне говорить, что все мои однокашницы происходили из слоев, именуемых привилегированными, то есть, походили на меня, как две капли воды. По крайней мере, так я полагала в свои первые школьные дни. Тем удивительнее выглядели насмешки и открытая неприязнь, проявившиеся через некоторое, не слишком длительное время. Тогда же я впервые услышала, что я «вонючая еврейка». Для моего девственного сознания это было просто вопиющим поклепом, господин судья. Слово «вонючая» еще можно было отнести на счет обычных детских ругательств. Но на каком основании они отнесли меня именно к евреям? Ведь я еще не совершила своего выбора! А если я решу стать католичкой, как папа, или социалисткой, как мама?

Хорошенько поразмыслив об этом на следующем уроке, я догадалась: это, наверняка, бабушка специально явилась в школу и ввела всех в заблуждение. Ну конечно! Другого объяснения просто не существовало. Я была возмущена до глубины души. Ясно, что каждый хочет победить в соревновании за мою веру, но всему есть предел! Бабушкин поступок был просто жульническим. Вернувшись из школы, я немедленно потребовала преступницу к ответу. Я заранее представляла себе, как припертая к стенке бабушка будет юлить и изворачиваться под напором моего гнева. Я намеревалась потребовать, чтобы она завтра же пришла в школу и призналась в своей злонамеренной лжи. И тогда я снова стану такой же, как все, как это и было с самого начала. Что же касается выбора веры, то про себя я окончательно решила в папину пользу. Он, по крайней мере, вел себя по-джентльменски, не прибегая к нечестной игре. Да и тысячесвечовая красота мессы не шла ни в какое сравнение ни с двумя бедными бабушкиными свечками, ни с маминими красными флагами.

Но бабушка, терпеливо выслушав мою обвинительную речь, не стала оправдываться. Она просто заплакала. Сидела в своем кресле, прикрыв глаза руками и плакала. Тогда я испугалась за ее больное сердце и сказала, чтобы она успокоилась, что я уже нисколько не сержусь, но, тем не менее, сходить в школу она обязана, потому что мне очень важно, чтобы остальные девочки не думали обо мне плохо, то есть не плохо, а неправильно. И если она принимает свой поступок так близко к сердцу, то я не настаиваю, чтобы этот ис-

правляющий визит произошел немедленно. Ради бабушкиного здоровья я была готова потерпеть денек-другой...

«Но уж не больше недели, ладно, бабуля? Девочки должны знать, что я еще ничего не выбрала».

Бабушка вздохнула, вытерла слезы и сказала, что мой выбор здесь совершенно ни при чем. Она сказала, что никто нас не спрашивает, что мы там сами о себе думаем.

– Ну это ведь не так, бабуля, – возразила я. – Взять хоть папу Он решил быть католиком и стал им.

– Глупости, – ответила бабушка. – Все вокруг продолжают считать его евреем. Просто до поры до времени не говорят этого в лицо. А дети, в отличие от взрослых, не скрывают своего отношения, вот и все. Пока они думали, что ты такая же, как они, не возникало никаких проблем, правда ведь? Но стоило им узнать, кто твои родители, как ты сразу же попала в еврейки. И не важно, что твой отец ходит с крестом на шее, а мать социалистка. Тут решают за нас, девочка.

– Кто?

– Он, – бабушка ткнула пальцем вверх, и я поняла, что дело плохо. Как я уже говорила, бабушкин Бог отличался редкостным упрямством. Уж если он что-то решил за меня, то спрятаться не получится – вытащит из любого шкафа. Я еще спросила, отчего же тогда она заплакала, если ни чем не виновата?

– Из-за тебя, – сказала бабушка, вздыхая. – Я до сих помню, как плохо было мне, когда я впервые узнала об этом. Это как заново родиться, только намного больнее.

Так оно все и обстояло, господин судья. Я будто родилась заново, причем стала тем, кем быть не хотела. Кто-то решил за меня, распорядился мною, даже не спросив моего мнения, и в этом заключалось что-то ужасно насильственное и несправедливое. Но делать было нечего, кроме как привыкать к новому своему состоянию. В ноябре я впервые услышала слово «Гитлер» применительно ко мне лично. Одна из одноклассниц сказала на переменке, после того как выяснилось, что я снова обошла ее в контрольной по арифметике:

– Ничего, ничего... вот Гитлер придет, он вас всех живо передушит!

За обедом я спросила, кто такой Гитлер, и какое отношение он имеет к арифметике?

– Гитлер – объединитель Европы! – сказала мама, разливая по тарелкам суп из большой фарфоровой супницы. Папа молча взял свою тарелку и сразу начал есть, не дожидаясь остальных, что было абсолютно не похоже на него. Бабушка возмущенно хмыкнула, но тоже промолчала. Только Чарли завороженно следил за маминой поварешкой. Он обожал куриный бульон.

– А почему он нас всех передушит? – спросила я.

Папа поперхнулся.

– Вот-вот, – сказала бабушка самым ядовитым из своих голосов. – Объясните дочери, почему это великий объединитель Европы душит евреев.

– Мама! – протестующе воскликнула мама, а папа, откашлявшись, заметил, что не стоит пугать ребенка. И вообще, речь идет о слухах, которые распускаются врагами Германии. А кроме того, нам бояться нечего, потому что мы не евреи, а бельгийцы.

– Даже не бельгийцы, – поправила мама, подняв вверх палец, отчего неправильно истолковавший ее жест Чарли сел и нетерпеливо взвизгнул. – Мы – граждане объединенной Европы. Малые нации исчезнут, растворившись в общеевропейском плавильном котле.

Бабушка снова хмыкнула и сказала:

– Вот-вот. Осталось только объяснить эту очевидную мысль одноклассницам Эстер.

Это было осенью, а в начале лета пришли немцы, и я сразу перестала ходить в школу. Папа сказал, что можно продолжать учиться дома, тем более что у него самого теперь есть достаточно времени, чтобы помогать мне с уроками. Он тогда тоже перестал ходить на работу. Сначала я этому радовалась, тем более что он довольно резво принялся за мое образование. Ребенку всегда приятно родительское внимание, а так много отцовского времени, как летом 40-го, я не получала никогда – ни до, ни после. Но потом выяснилось, что это все к худшему. У отца окончательно отняли его контору, и жизнь как-то вдруг сдулась, словно воздушный шарик через неделю после дня рождения.

Сначала исчезла прислуга. У нас всегда работали не меньше трех человек: кухарка, горничная и садовник. Теперь хозяйство вела бабушка. В нее единственную все эти перемены будто вдохнули новую энергию. Отец читал газеты, лежа на диване и что-то бормоча себе под нос. Время от времени он раздраженно отбрасывал газету в угол, поворачивался лицом к стенке и так лежал часами. Потом вставал, поднимал газету с пола, ложился на диван, и все начиналось сызнова. Образование мое он забросил, да и вообще почти перестал со мной разговаривать, а когда мне удавалось поймать на себе его взгляд, то это только пугало, потому что глаза у него стали, как у больных животных в зоопарке. Мать, наоборот, ходила из угла в угол, вздрагивая, когда бабушка прикрикивала на нее, чтобы не путалась под ногами. Даже Чарли, чувствуя общее настроение, вел себя как-то нервно и совсем перестал улыбаться.

Представьте себе восьмилетнего ребенка в этой ситуации, господин судья. Дети поначалу всегда уверены, что они центр мироздания. А иначе, почему бы всем бегать вокруг них, исполняя любое желание? Правда, мир этот невелик: дом да семья. Потом они постепенно узнают, что мир значительно больше, а это уже таит в себе неизвестность и угрозу. Как справиться с эти новым знанием? Очень просто: даже огромный мир не покажется опасным, если все в нем тебя любят. Все до одного! Так что бояться

нечего. Но я к тому времени уже понимала, что это не так. Неприязнь моих одноклассниц научила меня многому. Я не только не являлась центром вселенной, но и, более того, меня скорее не любили, чем любили, причем без всякой на то причины – ведь я, со своей стороны, была готова любить всех. Всех до одного, весь этот мир без разбора. Я вышла в него, полная любви и ласки, потому что только это и знала – любовь и ласку, но в ответ получила злобу, презрение, ненависть.

Неприятно, не правда ли? Но через подобное испытание проходит каждый ребенок, так что нечего делать из него особую трагедию. Я уверена, господин судья, что и вам есть что порассказать на эту тему. Неприятно, но не смертельно. А почему? Как жить в беспричинно враждебном мире и продолжать улыбаться? Очень просто: ребенок успокаивает себя тем, что он не один, что с ним – самые сильные в мире существа – родители, особенно отец. Они-то защитят, отразят любую угрозу, отведут любую опасность. Потом-то выяснится, что и это не так, но выяснится не сразу, постепенно. Однако на меня, увы, постепенность не распространялась. Я узнала все почти одним махом, одновременно – и про злобный мир за дверьми моего дома, и про беспомощность родителей. В восемь лет я могла полагаться только на собственную голову. Так мне сказала моя мудрая бабушка.

– Эстер, ты уже большая девочка. Учись полагаться только на собственную голову. Это нетрудно, надо только уметь взять себя в руки. И не бойся бояться, бойся впасть в панику. Страх – хороший советчик, паника – злейший враг.

Так она говорила, и я хорошо запомнила ее слова, потому что знала, что это чистая правда.

Вы спросите: как восьмилетняя девочка может полагаться только на себя? Есть несколько простых правил, господин судья. Угроза исходит от людей, поэтому надо быть с ними особенно осторожной, даже с теми, которые кажутся приветливыми и добрыми на первый взгляд. Говорить следует как можно меньше, а лучше всего вообще молчать. Но если молчание кого-то раздражает, то надо все-таки что-нибудь сказать, что-нибудь простое и вежливое, обязательно вежливое. От маленькой и слабой девочки ждут прежде всего уважительного поведения. Бабушка говорила:

– Запомни, Эстер, ты ни в чем не виновата. Ты – лучше всех. Ты храбрая и умная девочка.

Она старалась меня поддержать, моя добрая бабуля. Не только меня – всю семью, но меня в особенности. Потому что должна же быть какая-то причина для этой враждебности! Не может такого быть, чтобы все вокруг ненавидели меня просто так, без всяких оснований! Если бы еще речь шла только об одном-двух ненавистниках – это можно было бы объяснить их злобной натурой. Ведь это естественно, когда плохие люди не любят хороших. Но меня не любил весь класс, все немцы, из-за которых нельзя было выходить на улицу, все полицейские и еще Бог знает кто. Неужели все они были плохими? Такое предположение казалось совершенно неве-

роятным. Тогда оставалось одно: плохой была я. Я сама виновата в таком ко мне отношении!

Господин судья, это постоянное чувство вины было для меня особенно тяжелым. Все можно пережить, но это – труднее всего. Иногда мне хотелось просто выбежать на улицу, кишащую девочками из моей школы, страшными полицейскими и немцами в черных мундирах, выбежать и сдаться. Встать посреди площади, и крикнуть им всем:

«Я виновата! Я плохая! Я испорчена настолько, что даже не понимаю, в чем мне необходимо каяться. Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста, возьмите меня туда, где наказывают».

Честное слово, я не просила бы никакого снисхождения. Мне было необыкновенно важно расплатиться с ними полностью и окончательно, чтобы перестать, наконец, чувствовать себя виноватой. Ведь даже самые худшие сказочные злодеи исправляются...

Понятно, что ни на какую улицу я не выбегала, а пряталась дома, как все, с отцом, лежащим на диване лицом к стенке, с мамой, ломающей руки на пути из угла в угол, с Чарли, не желающим бегать даже за любимым своим мячиком. Но невозможно сидеть дома все время, и иногда мы все-таки выходили – по выходным, когда не так опасно, потому что можно смешаться с толпой. Сначала я выходила вдвоем с мамой или с бабушкой – папа, как правило, отказывался встать со своего дивана. Но потом, когда приказали нашить на одежду желтую звезду, отца будто подменили: теперь он был готов выходить в город ежедневно и тащил с собой нас.

Нашивать звезду он отказывался наотрез, и мама тоже.

– Мы не евреи, – говорил отец. – Мы бельгийцы. Я католик!

– А я социалистка! – неуверенно добавляла мама.

Бабушка спорила с ними до хрипоты, уверяя, что это опасно, но ничего не могла поделать против их неожиданного детского упрямства. Единственно, чего ей удалось добиться – это их согласия нашить желтую звезду на мою одежду. Чтоб не рисковать ребенком. Теперь мы выходили на прогулки двумя парами. Впереди шли под руку мои беззвездные родители, озирающиеся вокруг с выражением испуганного высокомерия. Сзади, в некотором отдалении, чтобы не компрометировать их своим неуместным соседством, следовали мы с бабушкой, сверкая желтыми шестиконечными звездами на сердце и на левой лопатке. Подобная, как выражалась бабушка, диспозиция имела свои недостатки. К примеру, заходить в парк люди с желтыми заплатами не имели права. Поэтому родители обычно дефилировали внутри, по крайней аллее, а мы с бабушкой прогуливались параллельным курсом по ближнему тротуару – всего лишь в тридцати метрах, но зато за оградой.

Катастрофа случилась где-то в июне, не помню, какого числа. Мы прогуливались обычным порядком. Я тихонько подбрасывала резиновый мяч – очень осторожно, чтобы никому не помешать, хотя мешать было некому. Тротуар был совершенно пуст, если не считать нас с бабушкой – какой дурак станет ходить по тротуару, если можно зайти в парк? Итак, я играла в мяч, а он, как известно,

прыгает быстрее человека, так что мы с бабушкой и с мячом забежали немного вперед. Поэтому я увидела их первая – они шли по парковой аллее навстречу моим родителям – два респектабельных господина в светлых летних костюмах. Один из них показался мне знакомым.

– Бабуля, – сказала я, дернув бабушку за рукав и указывая глазами на аллею. – По-моему, это господин Дебриль. Помнишь, мамин приятель?

Господин Дебриль регулярно бывал у нас в гостях до начала войны. По-моему, он работал в папиной конторе, а к маме заходил порассуждать насчет объединения Европы. Бабушка остановилась и поднесла руку ко рту, как будто ловя вставную челюсть, чтобы та не выпала. Она очень сильно побледнела, и я поняла, что что-то происходит или вот-вот произойдет.

Родители продолжали идти, глядя прямо перед собой. Помню, я подумала, что это странно с их стороны – не узнавать таких старых знакомых, и, видимо, господин Дебриль решил так же. Во всяком случае, он загородил им дорогу, и они стали беседовать о чем-то, не слышном на таком расстоянии. Вернее, говорил один господин Дебриль, а папа с мамой стояли, глядя в землю. Можно было подумать, что это учитель отчитывает провинившихся учеников. Потом господин Дебриль поднял трость и стал тыкать ею в отцовскую белоснежную рубашку, а отец стоял бледный и только мотал головой из стороны в сторону.

– Господи, – прошептала бабушка. – Ну разве трудно было нашить эти дурацкие заплаты? Разве...

И тут господин Дебриль ударил отца тростью по голове – раз, другой и третий. А второй господин схватил маму за локоть и зачем-то свистнул в свисток. Отец упал. Даже на таком расстоянии я увидела его кровь на светлом песке дорожки. Я закричала и хотела бежать туда, чтобы убить господина Дебриля, но оказалось, что бабушка крепко держит меня за воротник. Господин Дебриль обернулся на мой крик, отыскал нас глазами, улыбнулся и кивнул. С тех пор прошло много лет, господин судья, но я до сих пор вижу во сне эту улыбку.

– Пойдем, Эстер, – сказала бабушка, и мы пошли прочь. Навстречу по аллее, свистя ответным свистом, бежали полицейские.

Родители не вернулись ни к вечеру, ни назавтра. Собственно, они не вернулись уже никогда. Скорее всего, их отправили в Аушвиц первым же транспортом примерно через месяц. Но это уже поздняя догадка, господин судья, а тогда мы с бабушкой очень беспокоились, прямо изнывали от неизвестности. Вернее, изнывала только я, а бабушка, судя по некоторым признакам, уже в те дни прекрасно понимала, что к чему. По каким признакам? Видите ли, слишком уж бодро она обсуждала со мной, что мы все вместе будем делать, когда мама с папой вернутся. К тому времени я уже научилась полагаться только на собственную голову, и бабушкин неискренний тон лишний раз продемонстрировал мне универсальность этого правила. Нельзя было верить до конца даже ей, моей

любящей и мудрой бабуле. Так что я просто замолчала, да-да, просто не говорила ни одного слова, кроме самых необходимых, типа «да», «нет», «спасибо». И бабушка прекратила свои фальшивые концерты.

Думаю, что именно в этот момент она поняла, что я готова к самостоятельной жизни. Как-то, выйдя за продуктами, она вернулась не одна. С ней был молодой господин, высокий красивый блондин с голубыми глазами. Так я впервые увидела Жозефа. Он присел передо мной на корточки и спросил, как меня зовут и сколько мне лет. Я сказала, и он тоже назвался. Мне понравилось, что Жозеф не улыбался, а глаза у него были одновременно грустные и деловые. По моему теперешнему опыту, это является лучшим сочетанием – во всяком случае, сулит наименьшую угрозу.

Бабушка отвела меня в сторонку. В глазах у нее стояли слезы, и я слегка испугалась. До того момента мне не приходилось видеть мою бабулю плачущей.

– Эстер Мейерс, – сказала она очень ровным голосом. – Это твое имя. Повтори.

Я повторила.

– Хорошо, – кивнула бабушка. – Сейчас мы с тобой расстанемся, Эстер Мейерс. Ты уйдешь с Жозефом в хорошее, надежное место. Не стану тебе лгать – я не знаю, увидимся ли мы снова. Лучше думай, что – нет. Пустые надежды – источник слабости, а ты должна быть сильной. Ты должна выжить. Ты можешь, я знаю. Поцелуй меня, девочка. И помни: полагайся только на собственную голову.

Так я осталась действительно одна, господин судья. В десять лет. Но я была готова к этому. Я знала правила. Я не тешила себя пустыми надеждами. Я полагалась только на собственную голову. Мне не требовалось ни о ком заботиться. Я боролась до конца там, где не было иного выхода, и, не задумываясь, подчинялась там, где борьба не имела смысла. Согласитесь, что у меня было намного больше шансов выжить, чем у любого взрослого человека.

Жозеф спорол желтые звезды с моей одежды и отвел меня в женский монастырь. Там уже находились несколько девочек. Наши истории походили друг на дружку, как две слезинки. Родители – схвачены и депортированы, а они чудом остались в стороне, остались жить. Мы почти не разговаривали – ни друг с другом, ни с сестрами-монахинями. Мы предпочитали молчать. Мы никогда не плакали. Почему? Потому что боялись вопроса «почему ты плачешь?» Что можно ответить на такой вопрос? А кроме того, мы боялись, что, начав плакать, уже не остановимся до конца жизни. Я ни разу не заплакала и потом, после войны. Теперь уже я не боюсь вопроса «почему?» В конце концов, можно просто на него не отвечать – ведь я больше не обязана быть вежливой. Но вторая причина остается в силе, так что лучше не рисковать.

Католический монастырь живет по определенному укладу, это не дом сирот и не психиатрическая лечебница. По замыслу наших спасителей, мы должны были затеряться среди монахинь. Кому

придет в голову искать еврейку в христианской обители? Нас одевали, как послушниц, мы исправно отстаивали на молитвах и вместе со всеми распевали гимны и псалмы, в положенные моменты накладывая крестное знамение. Я все-таки стала католичкой, господин судья. И снова сделала это не по своему желанию. Снова кто-то решил за меня, сунул, как луковицу, в грядку – расти, мол, здесь! Кто спрашивает луковицу?

Жозеф приводил все новых и новых девочек. Иногда это происходило поздно, на границе комендантского часа, и тогда он оставался до утра, чтобы не рисковать попусту. Не скажу, что мы с ним подружились, просто как-то так вышло, что мы разговаривали довольно часто. Для дружбы надо уметь улыбаться или, по крайней мере, плакать, а я к тому времени уже не делала ни того, ни другого. Одной улыбки Жозефа на двоих не хватало, хотя улыбка у него была удивительная – светлая и грустная одновременно. Он вообще был красавец. Думаю, что, при других обстоятельствах, я бы в него влюбилась, как девочки-подростки влюбляются в своих учителей или киноактеров.

Каждый раз, оставаясь в монастыре на ночь, Жозеф произносил одну и ту же шутку: что, жена, мол, когда-нибудь выгонит его из дому за эти ночные отлучки. Потому что жене он ничего не рассказывал и правильно делал – ведь чем меньше знаешь, тем безопаснее тебе же самой. Он и нам ничего не рассказывал, но мы все-таки знали кое-что от сестер, а они – от настоятельницы, а та – от епископа и его людей. Конечно, при таком количестве посвященных, это не могло кончиться добром. Болтовня – ужасный грех, господин судья; забавно, что он расцветал особо пышным цветом именно в святой обители. Жозеф принадлежал к какой-то группе Сопротивления.

Ха!.. Сопротивления... После войны мне доводилось читать массу рассказов об этом. Всевозможные легенды о партизанских рейдах и пущенных под откос эшелонах. Не знаю, не знаю... тогда ничего этого не чувствовалось, а ведь в маленькой стране такое событие точно не прошло бы незамеченным. Если где-то что-то и взрывали, то уж никак не в Бельгии. Бельгии нравился Гитлер – объединитель Европы. То Сопротивление, которое видела я, правильнее было бы назвать Спасением. Потому что именно этим они, в основном, и занимались – спасением людей, прежде всего, детей; но не только, и взрослых тоже: и гражданских, и сбитых английских летчиков.

Месяца через два Жозеф перестал улыбаться. Странным образом это сблизило нас еще больше. Всезнающие сестры рассказали, что у него пропала жена. Пропала... тогда это означало только одно – депортацию. Но знаете что? – Я завидовала его жене. Завидовала потому, что он так любил ее. Любовь ведь становится особенно видна, когда она превращается в утрату, в тоску. Судя по виду Жозефа, любовь его была, действительно, очень... очень... не знаю даже, как и определить. Ну как тут было не позавидовать Ханне? Ханна – так ее звали... впрочем, имя я узнала уже позднее.

А тогда завидовала безымянно. Видимо, я все-таки влюбилась в Жозефа – уж больно он походил на Зорро: красавец, спасающий девушку от смерти! Не хватало только шпаги, полумаски, черного коня и разбегающихся в панике врагов. Прежде всего, разбегающихся врагов.

Они пришли в монастырь на последней неделе октября – двое мужчин в штатском и несколько полицейских в форме. Всех сестер и послушниц собрали в часовне, ну и нас, конечно, тоже. Настоятельница попробовала отпираться, но скоро выяснилось, что гестапо, как всегда, знает все, даже наши имена. Я же говорила, что болтовня до добра не доводит. Нас выстроили в сторонке, и гестаповец спросил, где еще две девочки? По его списку нас должно было быть семнадцать. Настоятельница спокойно ответила, что сестер Кремер забрали домой на день, и они должны вернуться завтра. Это случалось, господин судья. Уцелевшие родственники некоторых девочек иногда не выдерживали и брали их домой на денек-другой. На всякий случай полицейские обшарили весь монастырь, а потом их главный сказал, что у него есть приказ забрать ровно семнадцать евреек.

– Не пятнадцать, уважаемая мать-настоятельница, а семнадцать! – сказал он, размахивая перед ее носом кулаком в кожаной перчатке. – Где я, по-вашему, наскребу недостающую парочку?

– Не знаю, господин офицер, – сказала наша добрая мать Беата. – Могу предложить вам только себя.

На это офицер саркастически фыркнул и сказал, что навряд ли настоятельница еще годна на что бы то ни было. Полицейские заржали, как кони. Это привело гестаповца в превосходное расположение духа.

– Вот что, – сказал он решительно. – Сделаем так. Мы вернемся послезавтра и заберем всех евреек. Все семнадцать штук и ни одной задницей меньше. И только попробуйте играть со мной в убегайку. Понятно?

Мать Беата молча кивнула. Она ни капельки не боялась. Чем-то настоятельница походила на мою бабушку, хотя трудно было представить мою бабулю в рясе и с большим крестом на груди.

Той же ночью мы покинули монастырь. Жозеф и еще двое парней в масках, размахивая пистолетами, ворвались в часовню во время вечерней службы. Теперь Жозеф и в самом деле был вылитый Зорро. Нас снова выстроили в сторонке – всех семнадцать, включая сестер Кремер, которые вышли из тайника сразу же после ухода полиции. Старые монастыри полны секретов, господин судья. Пистолетами парни размахивали, как я сейчас понимаю, исключительно для того, чтобы обеспечить настоятельнице хотя бы шаткое алиби. Выглядело это довольно-таки смешно.

– Забирайте своих девчонок, – сказала мать Беата, пряча улыбку. – Слишком много оружия для дома молитвы за один день. Сначала полиция, потом какие-то разбойники...

На улице ждал грузовичок с крытым верхом, их тех, в каких обычно зеленщики привозят на рынок ящики с овощами. Жозеф

распрощался со своими товарищами. По длительности их объятий я поняла, что направляемся мы далеко. Затем он сел за руль, уже без маски, и мы уехали прочь с моей проклятой родины. С тех самых пор нога моя не ступала на бельгийскую почву. Впрочем, объединенную Европу я тоже не слишком жалую.

Мы ехали всю ночь по темным дорогам Па-де-Кале и Верхней Нормандии. Жозеф посадил меня в кабину и приказал, чтобы я говорила, не переставая, потому что он боится заснуть. Но я уже разучилась болтать и поэтому только толкала его локтем в бок, когда он совсем уже принимался клевать носом. Время от времени Жозеф справлялся с картой, но большей частью вел машину по памяти, уверенно сворачивая на перекрестках. Очевидно, этот путь он проделывал уже не впервые. На дорожных указателях мелькали слова, знакомые по урокам истории и географии: Лилль, Амьен, Руан. Мы объезжали эти города, мы продвигались проселочными дорогами на юг, все дальше и дальше от Брюсселя, все дальше и дальше от прежней жизни, где были бабушка и мама с папой, и Чарли, и огромный дом, и гостиная с конфетами на столе и с господином Дебрилем в кресле. С этим было покончено, не осталось ничего, кроме, может быть, господина Дебриля.

Я старалась не думать обо всем этом, чтобы не заплакать. Лучший способ не заплакать – просто не позволять себе делать того, что вызывает слезы. Тем более, что у меня была важная задача – следить за тем, чтобы Жозеф не слишком закатывал под веки свои голубые глаза.

– Куда мы едем, Жозеф?

– Утром остановимся в Нормандии, – отвечал он. – Мне надо немного поспать.

– Ты давно не спал?

– Слушай, Эсти, – говорил он раздраженно. – Ты можешь говорить о чем-нибудь другом, кроме сна?

– О чем, например?

– Ну, скажем... – тут он задумывался надолго, и я на всякий случай тыкала его локтем посильнее.

Не пихайся! – говорил он, встрепенувшись.

Так мы и ехали, господин судья, и, если бы можно было сделать так, чтобы эта поездка длилась вечность, я бы согласилась, не задумываясь.

Мы заночевали... или как это правильнее сказать?.. – задневали? – в маленькой деревушке неподалеку от Эвре. Жозеф коротко переговорил с хмурым коренастым хозяином, и махнул нам рукой, указывая в сторону сеновала. Мы уснули раньше, чем француз успел пересчитать полученные от Жозефа купюры.

Я помню, что проснулась около полудня от громкого воркования голубей и от солнца, которое било мне прямо в глаза через отдушину под крышей. Все девочки еще спали. Жозефа на сеновале не было, я испугалась и пошла его искать. Он сидел на земле, прислонившись спиной к стене сарая и пристально глядя на пустое осеннее поле. Я подошла и села рядом с ним. Я никогда не была

назойливой, господин судья, но тогда я почувствовала, что так надо не столько мне, сколько ему.

– Она так хотела ребенка, – сказал Жозеф. – Моя жена Ханна. Так хотела...

Мне кажется, он ужасно хотел сказать это кому-нибудь – не просто пустому картофельному полю, а кому-то, способному хотя бы кивнуть. Так что, я подвернулась очень кстати. Конечно, я кивнула – жалко, что ли?.. Глаза у него оставались сухими, как и у меня, как и у всех остальных девочек.

– Куда мы едем, Жозеф?

– В Вандею, – сказал он. – Будем ждать там проводника. А потом вы поедете дальше, в Испанию, а я вернусь.

– Я хочу с тобой, – сказала я.

– Нет, – сказал он, и я не стала спорить. Нет, так нет. Что я, маленькая девочка? Старше меня у нас были только сестры Кремер – на год и Нета Блюм – на три. Но все равно в кабину Жозеф взял меня, а не их. Он сказал, что я приношу удачу, потому что прошедшей ночью нас не остановили ни на одном блокпосту. Мы выехали с первыми сумерками. Хозяин проводил нас взглядом из-за оконной занавески.

– Даже не вышел, – сказала я.

– А зачем? – сказал Жозеф. – Свои деньги он уже получил. И не сдал нас в гестапо только потому, что рассчитывает получить еще.

Тогда я спросила, часто ли он тут ездит, а он ответил, что тот, кто много знает, рано старится, а я сказала, что, если так, то я уже очень старая, а он в ответ нагнулся и поцеловал меня в макушку, и всю оставшуюся часть дороги мои щеки пылали, как маков цвет, а ехали мы еще ох как долго. Перед самым рассветом мы обогнули Нант, а еще через час оказались в маленьком городке.

– Шеванье, – сказал Жозеф, загоняя грузовик во двор большого двухэтажного дома с заколоченными окнами. – Поживем пока здесь.

Дом выглядел заброшенным. Жозеф нашарил ключ в щели под крыльцом, открыл дверь и посторонился, пропуская нас вперед. Я вошла первой и сразу увидела, как большая крыса метнулась в боковую дверь. Но кричать я не стала, и даже ничего никому не сказала, чтобы не испугать младших девочек. В большой комнате на полу лежали матрасы. Дом принадлежал мэрии. Когда-то в нем размещалась маленькая больница, но с началом войны обоих врачей мобилизовали, да и вообще, как сказал Жозеф, какой дурак станет болеть в такое время? Водопровод работал, и мы смогли, наконец, помыться. Потом пришел местный мэр – усатый господин с красным лицом и руками крестьянина. Он принес несколько буханок хлеба и кастрюлю вареной картошки. Жизнь определенно налаживалась.

По расчетам Жозефа, испанский проводник должен был прийти на следующий день, и уж во всяком случае, не позже, чем через два дня, но он все не шел и не шел. Нельзя сказать, чтобы я сильно горевала по этому поводу. Отсутствие проводника автоматически

означало присутствие Жозефа, моего Зорро. Мы с ним часто сидели рядом и разговаривали молча, даже не глядя друг на дружку. Иногда кто-нибудь говорил что-то и вслух – обычно что-то совсем несущественное, например: «мэр сегодня принес на буханку меньше» или «крысы совсем одолели», или даже «вчера моросило». Да-да – «вчера моросило» и все, и больше ничего. А после этого целый час можно было просто сидеть рядом и молчать, глядя в заколоченное крест-накрест окно.

Но это так выглядело только со стороны, господин судья, а на самом деле, рядом с нами – и в комнате, и во дворе за заколоченным окном – повсюду бродили наши мысли, как будто артисты волшебного театра, видного только нам двоим, Жозефу и мне. Собственно говоря, это были даже не артисты, а наши пропавшие родные, сгинувшие, утраченные навсегда. На скамеечке под каштаном сидела Ханна, баюкая своего неродившегося ребенка, и Чарли весело скакал вокруг, забавно закидывая задние ноги. Рядом с нами на матрасе лежал мой отец, повернувшись лицом к стенке, Жозефовы родители прогуливались по коридору, а моя мать, ломая руки, проходила сквозь них по дороге из угла в угол. Бабушка беззвучно открывала рот, обращаясь ко мне, и я точно знала что именно она говорит.

– Эстер Мейерс, – говорила она. – Это твое имя. Повтори.

Но я пожимала плечами, потому что – сколько раз можно повторять одно и то же?.. и поворачивалась к Жозефу, молча призывая его в свидетели, а он, так же молча, кивал мне в ответ: да, мол, действительно, сколько можно...

Мы провели в Шеванье две недели, пока всем не стало ясно, что испанец уже не придет. Жозеф переговорил с мэром и объявил нам, что мы уезжаем тем же вечером.

– Мэр – добрый человек, – сказал он. – Но всему есть предел. Люди в Шеванье и так слишком многим рискуют, пряча своих, местных евреев. Транзитные им совсем ни к чему. Попробуем пробиться через Швейцарию. Я знаю кое-кого... недалеко от Лиона. Собирайтесь, девочки.

Собирать было нечего, так что последнюю фразу он сказал только из-за слова «девочки», чтобы хоть как-то приободрить нас. Он даже попытался улыбнуться, а мы, чтобы приободрить его, сделали то же самое, но, конечно, ничего не вышло, ни у нас, ни у него. Зато я ощутила настоящий укол ревности. Никогда до того я не испытывала похожего чувства, разве что чуть-чуть, когда мама, поцеловав меня на ночь, выходила из комнаты вместе с врединой Чарли, счастливым оттого, что теперь-то уж мама принадлежит ему полностью и безраздельно. Конечно, это было ужасно глупо, господин судья, но мне Жозеф даже не пытался улыбаться. А еще я завидовала Нете Блюм, у которой как раз на этой неделе начались первые месячные, и она от этого сначала жутко испугалась, а потом жутко заважничала.

Мы снова двинулись в путь, и снова Жозеф посадил в кабину меня, а не эту задаваку Нету Блюм или одну из сестер Кремер...

впрочем, последнее даже не рассматривалось, поскольку двойняшки не разлучались ни при каких обстоятельствах. И снова мы тряслись по проселочным дорогам, объезжая города, только на этот раз не с севера на юг, а с запада на восток. И снова в свете фар мелькали дорожные указатели со знакомыми словами: Лиможк, Клермон-Ферран, Руан, Лион... Этим маршрутом Жозеф еще не ездил, поэтому мы двигались медленно, и спали прямо в кузове, потому что просто стучаться к незнакомым людям было опасно. Нас дважды останавливала французская полиция, и Жозеф объяснялся с ними, пока мы сидели, затаив дыхание и глядя прямо перед собой, оглохшие от собственного сердцебиения. Согласно фальшивым документам, мы были детьми-сиротами из французских семей, пострадавших при бомбежке Марселя. Почему именно Марселя? Да потому что известно, что в Марселе есть много арабов, и это легче всего объясняло нашу непростительно семитскую внешность. Полицейские, зевая, слушали жозефовы объяснения и махали рукой – проезжайте. На столь большом расстоянии от границы и от войны от полиции не требовали повышенной бдительности.

В горах стало намного холоднее. У девочек в кузове зуб на зуб не попадал, и мне было очень неловко сидеть в теплой кабине. Но Жозефу требовался штурман, и он ни за что не соглашался на замену. Думаю, что на самом деле он действительно полагал, что я приношу удачу. Не доезжая до Анси, мы обогнули озеро справа и свернули в маленькую, в несколько дворов, деревеньку. Жозеф вышел и тут же вернулся с полненькой женщиной. Ее звали Марианна, да будет благословенна ее память. У Марианны было доброе лицо с толстыми щеками, и она улыбалась, не переставая. Увидев дрожащих от холода девочек, Марианна заохала и немедленно потащила всех в дом, раздавая по дороге указания старшим: откуда натаскать воду, какие кастрюли наполнить, куда поставить на огонь и так далее. Она улыбалась и говорила без передыху, так что мы с непривычки немедленно устали еще больше.

Тем не менее, работа мало-помалу закипела, а с нею и вода. Не прошло и часа, как все мы были уже умыты, накормлены, и каждой из нас найден свой теплый уголок. На этот раз мы явно попали в надежные и очень добрые руки. Но я думала о другом – о предстоящем расставании со своим Жозефом. Вернее, он никогда не был моим... просто за эти недели беззвучных бесед мы очень сильно сблизились. Мне было на удивление тяжело при мысли о расставании, неудержимо хотелось заплакать, а это, как вы уже знаете, являлось совершенно неприемлемым. Так я получила еще один важный урок, господин судья. Если хочешь полагаться только на себя, то ни в коем случае нельзя сближаться с кем-нибудь другим. Само сближение с кем-нибудь означает, что ты начинаешь на него полагаться, зависеть от него так или иначе. Тяжесть того расставания научила меня на всю последующую жизнь. Никогда больше я не позволяла никому чересчур приближаться к себе. Так что можно сказать, что Жозеф был моей первой и последней любовью. Нет,

конечно, потом, когда я стала женщиной, у меня были мужчины. Всякие и разные. Конечно. Но не так... не так близко... нет.

Деревня находилась в шестидесяти километрах от швейцарской границы. Я сидела рядом с Жозефом и слышала, как они с Марианной спорили относительно того, кто должен вести машину. Жозеф настаивал, что довезет нас до самого перехода. А Марианна сердилась и говорила, что в этом нет никакого смысла. Опасность, если и существует, то только на самом последнем этапе, там, где надо пересечь луг. Поэтому будет логичнее, если она поведет машину, спрячет ее в пограничной рощице, а потом вернется на ней же, после того, как сдаст нас с рук на руки людям на той стороне.

– Это займет не более четырех часов в оба конца, – сказала она. – Почему бы тебе не подождать меня здесь?

Но на это Жозеф не соглашался ни в какую. В конце концов они пришли к компромиссу: Жозеф довозит нас до пограничной деревни, там выходит, и за руль садится Марианна, чтобы проделать последний километр до рощи, переводит нас и возвращается, а Жозеф тем временем ждет ее в деревенском трактире. Оба остались недовольны соглашением, но времени уже оставалось мало и следовало торопиться.

Мы выехали в пятом часу утра. На этот раз мое место в кабине заняла Марианна. Я знала, что Жозефу это не слишком понравилось, но делать было нечего – не запихивать же ее в кузов, как какую-нибудь вредную Нету Блюм? Через час грузовик остановился в пограничной деревне. Жозеф подошел к заднему борту и заглянул внутрь. В темноте я видела только его силуэт на фоне начинающего светлеть неба.

– До свидания, девочки, – сказал он. – Только попробуйте мне не выжить!

Это должна была быть шутка, но горло у Жозефа перехватило и вышло вовсе даже не смешно. Потом он немного помолчал и добавил:

– До свидания, Эсти! Ты превосходный штурман. И, кроме того, приносишь удачу.

Сердце мое рванулось к нему, господин судья, таща за собой все остальное. Но я осталась неподвижной. Бабушка говорила, что надо полагаться на собственную голову. На голову, а не на сердце.

– Прощай, Зорро, – ответила я, не трогаясь с места. – Меня зовут Эстер. Эстер Мейерс.

Марианна постучала из кабины, и мы тронулись.

– Эй! – сказал Жозеф, идя за машиной. – Подожди! Возьми Эстер в кабину, для удачи!

Но Марианна торопилась и только прибавила газу. Я закрыла глаза, чтобы не видеть, как он стоит на дороге и машет нам рукой, растворяясь в сумерках. Чтобы не выпрыгнуть. Я была уверена, что не увижу его больше никогда. И ошиблась.

Мы были на месте через пять минут. Марианна остановила грузовик у края луга, на лесной опушке. Она вышла из кабины и открыла задний борт.

– Выходите, девочки, быстрее! Не бойтесь, осталось недолго...

Мы стали спрыгивать с борта, и тут они зажгли фары. У них была обычная легковая машина, черный ситроен, но на этот раз перед нами стояли не полицейские, а немцы, солдаты. Марианна достала документы, но офицер посветил на нас фонариком и рассмеялся ей в лицо.

– Евреев я узнаю по запаху, – сказал он. – Садитесь в машину. Да не туда, в кузов. Так уж и быть, дам вам шофера.

– Отпустите детей, – сказала Марианна. – Их-то зачем убивать?

– Да кто ж их убивает? – улыбнулся офицер. – Их просто отправят вслед за родителями.

Когда мы проезжали через деревню, я снова увидела Жозефа. Он стоял на площади перед трактиром, с гримасой отчаяния на лице. Он даже покачнулся, как будто собираясь бежать за нами, и я уже испугалась, что он так и сделает, но тут он схватился рукой за столб и остался на месте. Солдат, сидевший в кузове, рассмеялся.

– Ох уж эти французы! Еще шести нету, а он уже назюзюкался...

Вот это, господин судья, и была наша последняя встреча. Дальнейшее к Жозефу не имеет никакого отношения, а мы ведь говорим именно о нем, не так ли? Что?.. Ладно, если вы настаиваете, только очень коротко. Я и так тут наговорила за десятерых. Вот ведь как: молчала, молчала, а к старости разболталась...

Нас отвезли прямиком в ближайшую тюрьму, в Аннемас, где мы и находились почти два года, до августа 44-го. Понятия не имею, отчего нас не «отправили вслед за нашими родителями». Потом, как это обычно бывает, история обросла легендами. Где-то я даже прочитала, что, якобы, партизаны угрожали, в ответ на нашу депортацию, уничтожить семью начальника местного гестапо. Не знаю, не знаю... мне это кажется малоправдоподобным. Скорее всего, просто повезло. На секунду проскользнул какой-то приводной ремешок в отлаженной машине. А может быть, образовался какой-нибудь бюрократический тупик, как тогда, в брюссельском монастыре. Или это я принесла всем удачу – недаром ведь, когда Жозеф посадил меня в кабину, мы беспрепятственно дважды пересекли Францию, вдоль и поперек. Марианна была менее суеверной, и судите сами, что из этого получилось.

Нас немцы почти не трогали, только допросили по разу и поняли, что толку не добьются. Что взять с детей... несмышленые еще и запуганы до крайности. Я на своем допросе просто дрожала, как осиновый лист и стучала зубами от страха, так что слова вымолвить не могла, и они отстали. А Марианну мучили сильно, недели две. Легенда утверждает, что она никого не назвала. Но, даже если она рассказала все, что знала, это не делает ее меньшей героиней, господин судья. Просто человек не может вытерпеть того, что они с ней делали, особенно взрослый человек. Дети – иное дело. Думаю, что тогда я не назвала бы имени Жозефа ни при каких обстоятельствах, а сейчас бы точно назвала, не вы-

держала бы. Да и она, скорее всего, назвала. А это означает одно: что и его взяли тоже, только немного позднее. Но это все мои догадки, никаких указаний к этому нет.

А Марианну убили за месяц до освобождения. Вывезли в лес и забили насмерть. Лопатой. И это уже не легенда, а факт. Даже опознали ее не сразу, а только через несколько дней – по каким-то родинкам, потому что по лицу было невозможно. Вот и все. Что?.. Нет, конечно, не в Европе. Я ведь вам уже говорила, что стараюсь там не оказываться. Нет, и не в Штатах. Знаете, если уж приносить удачу, то в том месте, где в ней особенно нуждаются. Я живу в Иерусалиме. Дело в том, господин судья, что меня зовут Эстер. Эстер Мейерс.

ГЛАВА V

Дельфин был скользким и ужасно тяжелым. Он лежал на песчаном берегу и смотрел на Берла большим, постепенно мутнеющим глазом. Берл покрепче уперся пятками в песок и попытался столкнуть животное в воду. Руки соскальзывали, по мокрому телу животного пробегали судороги, всех берловых сил не хватало даже на то, чтобы сдвинуть его хотя бы на сантиметр. Дельфин умирал. Ему оставалось жить ровно сто восемьдесят секунд, Берл знал это совершенно точно, хотя и не помнил, откуда. Загрохотала, упав, секунда. Теперь их было сто семьдесят девять. Он встал покрепче, закапывая в песок босые ноги для лучшей опоры, подсунул руки, насколько мог, под скользкое серое дельфинье тело, уперся грудью, вдохнул побольше воздуха и нажал в самом отчаянном взрывном порыве, на которое только был способен. Сзади снова раздался грохот – сто семьдесят восемь. Берл корячился, напрягая спину в предельном усилии и суча ногами по предательскому сыпучему песку. Тщетно – дельфин не трогался с места. Прогрохотало сто семьдесят шесть.

Силы кончились. Берл сел на песок, привалившись к дельфину. Спиной он чувствовал дрожь холодной дельфиньей кожи. Вот камнепадом прогрохотали двадцать две секунды сразу. Что за чушь? Такого просто не может быть – еще мгновение назад было сто семьдесят шесть и сразу – сто пятьдесят четыре... Снова раздался грохот... но это не время, нет, это господин Липс на бульдозере.

«Время – странная штука, Ури, – говорит господин Липс. – Умирает только то, что рождается. Ты хочешь сбросить его в море? Зачем? Зачем? Зачем?..»

Но Берл не знает, зачем. Он не Господь Бог.

«Я помогу тебе», – говорит господин Липс. Бульдозер надвигается, сталкивая Берла в море. Почему его, почему не дельфина?

«Какого дельфина?» – смеется господин Липс. Его высокий пронзительный смех сливается с грохотом бульдозера, с камнепадом умирающего времени. Шум все громче, все сильнее, все невыносимее...

Берл содрогнулся всем телом и проснулся. На тумбочке рядом с постелью надрываясь, гремел телефон. Часы на стене показывали четвертый час после полуночи. Берл снял трубку.

– Алло, Ури! Ури?! – Ле Фен кричал в трубку, как будто кто-то и в самом деле сталкивал его в море бульдозером.

– Что случилось, Янив? Вам дали бельгийское гражданство? Три часа ночи, побойтесь Бога...

– Нам необходимо срочно увидеться. Срочно! – голос в трубке взвизгивал паническими нотками.

– Глупости, – спокойно сказал Берл. – Вы можете толком объяснить, что произошло?

– Мне только что звонил Липс! Он спрашивал о вас. Множество вопросов. А я не знаю ответов, не знаю... – Ле Фен почти плакал. – Единственное, что я знаю – это то, что вас порекомендовал Йоси. И все. Но при чем тут я?! Я ведь только посредник! Что-то случилось, Ури, что-то случилось! Он никогда не разговаривал со мной таким тоном, никогда...

– Прекратите истерику... – проговорил Берл нарочито медленно, чтобы успокоить собеседника. – Где вы сейчас?

– В машине. Я еду к вам в гостиницу. Липс хочет видеть нас обоих утром. Он назначил встречу за городом, в мотеле. Поедем вместе. Но сначала я обязан понять. Я обязан понять!..

Берл повесил трубку. Вот оно. Уже вчера можно было предположить, что Липс знает дорогу к хозяину слитков, причем знает хорошо. Он вел себя настолько уверенно, что почти назвал имя этого таинственного хозяина. Видимо, Ле Фен не стал рассказывать ему о том, что существуют проблемы в связи между клиентом и источником слитков. Этот момент действительно представлял собой самое слабое место в берловой легенде, и Янив, жадный до хороших комиссионных, предпочел умолчать о деталях, которые могли бы вызвать подозрения Липса. Надо отдать должное опыту чиновника, который успел вовремя остановиться, на лету почуяв что-то неладное. Назвав с разгону город и банк, он решил дополнительно убедиться в том, что не сообщает что-то неизвестное Берлу. Просто, на всякий случай – ведь трудно вообразить, что клиент не имеет понятия, от кого он получил свое золото. Блея свое бесконечное «ээ-э-э», он ожидал, что Берл проявит это знание каким-нибудь более или менее явным образом. Но Берлу, увы, было нечего предложить, кроме «одуванчика».

Естественно, это возбудило подозрения. Липс не производил впечатления дурачка типа господина Ле Фена. Но в самой липсовой подозрительности не заключалось никакой опасности, напротив, она замечательно совпадала с намерениями Берла. По сути дела, это была лучшая, хотя и несколько прямолинейная проверка: когда неизвестно, где именно затаилась змея, то не остается ничего, кроме как наугад шуровать палкой во всех возможных дырах. Если звонок Липса в Цюрих натолкнется на простое непонимание – мол, знать не знаем, о каком золоте ты говоришь, то ясно, что источник следует искать в каком-то другом месте. Но если там, в цю-

рихском Юнион-Банке, сидит настоящий хозяин, то он не может не знать о смерти курьера и о похищенном слитке. Следовательно, в этом случае, реакция на звонок Липса должна быть экстраординарной. Ведь с точки зрения цюрихского хозяина, Липс не только сам попался на уловку вражеского агента, но еще и собирается привести этого агента прямо к нему, к источнику, тайна которого охраняется столь тщательно, что даже потребовала смерти несчастного белобрысого даабского «чайника».

Что ж, если судить по неподдельному ужасу бедного брюссельского лоббиста, который мчался к Берлу в этот самый момент по улицам ночного города, палка попала в самое сердце змеиного гнезда, и теперь змеи, шипя и брызгая ядом, выползали навстречу. Бедный, бедный гражданин мира, господин Ле Фен. Какое там бельгийское гражданство – остаться бы живу... Берл злорадно усмехнулся и начал собираться. Кстати, паника Янива свидетельствовала о панике Липса. Чиновник, должно быть, и в самом деле испугался не на шутку, если, при всей своей аристократической выдержке, не смог дождаться утра, чтобы напуститься на Ле Фена, который подставил его под удар... И степень липсовского испуга давала представление о силе и опасности цюрихского незнакомца.

В дверь постучали.

– Открыто, – крикнул Берл и встал за дверным косяком, держа «глок» наготове. Впрочем, последнее оказалось излишним. Янив Ле Фен был один и безоружен. Он ворвался в номер, подобно маленькому смерчу и заметался по комнате, натыкаясь на мебель и разбрасывая вопросы, упреки, жалобы и бессвязные восклицания. Дождавшись, пока траектория этого броуновского движения в очередной раз окажется в пределах досягаемости, Берл резко выбросил руку, схватил лоббиста за шиворот, приподнял и хорошенько тряхнул. Гражданин мира заскулил, как потерявшийся щенок.

– Заткни пасть! – отчетливо произнес Берл на иврите, приблизив лицо к перепуганной физиономии Ле Фена. Тот сглотнул слюну и послушно смолк.

– Слушай меня внимательно, дебил, – сказал Берл. – Сейчас я буду спрашивать, а ты отвечать. Только отвечать, понял? Ни слова отсебятины. Итак, первый вопрос: в котором часу звонил Липс?..

Берл задавал вопросы, а Янив старательно отвечал, глядя на него со смешанным выражением надежды и страха. Чиновник позвонил около двух, в совершеннейшей панике. Янив никогда не слышал его таким. Настоящая истерика. Он то кричал в полный голос, так что приходилось держать трубку на отлете, то плакал, причитая о загубленной жизни. Сначала Янив просто не понимал, о чем идет речь, но потом, в перерывах между упреками и причитаниями, появились вопросы про Ури Файмана – кто он, да откуда, да давно ли Ле Фен его знает... Услышав, что Ури всего-навсего рекомендован давним израильским приятелем, да еще и по телефону, Липс застонал так, как будто кто-то воткнул в него нож там, на другом конце провода. Затем он замолчал, даже прикрыл

микрофон ладонью, так что Янив на мгновение подумал, что чиновник бросил трубку, не попрощавшись.

Возобновив разговор, Липс звучал уже спокойнее, но как-то безнадежно. Он потребовал немедленной встречи завтра... то есть, сегодня утром, в загородном мотеле, в районе Ватерлоо. Там у него есть постоянный номер как раз для таких целей; можно будет поговорить спокойно и все выяснить. Он приказал Яниву забрать господина Файман в восемь часов утра и везти прямо в мотель, ничего не объясняя. Просто сказать, что Липс хочет немедленно встретиться для обсуждения деталей сделки – только это и ничего больше. На последнее указание Липс упирал особо – ничего не объяснять, просто привезти и все. Но Ле Фен был уже слишком напуган, чтобы ждать до утра. Происходило что-то очень неприятное. Но что именно? Он чувствовал, что должен выяснить это немедленно с самим господином Файманом. И вот он здесь, и теперь хотел бы, если можно, задать только один вопрос. Всего один, если можно. Он просто умоляет господина Файман. Ну пожалуйста.

– Ладно, – смилостивился Берл. – Один можно.

Янив шмыгнул носом.

– Скажите, господин Файман, – прошептал он, глядя на Берла искоса, снизу вверх, как будто ожидая неминуемого удара. – Вы действительно тот, за кого себя выдаете?

– Конечно! – жизнерадостно ответил Берл. – Конечно!.. Знаешь, Лефен, – он произнес фамилию Янива в ее оригинальном, ивритском виде, с ударением на первый слог. – Не знаю, заработал ли ты на бельгийский паспорт, но докторская степень по идиотизму тебе полагается вне всякого сомнения. Если доберешься до Тель-Авива, звони – я засвидетельствую успешную сдачу экзамена.

Он накинул плащ и взялся за чемодан. Янив с беспокойством наблюдал за этими приготовлениями.

– Вы ведь не собираетесь куда-то уходить? – спросил он дрожащим голосом. – Ехать в мотель еще рано...

Берл вздохнул.

– Мой тебе совет, бижу, – делай ноги и поскорее. На твоем месте я бы даже не возвращался домой. Садись в машину и дуй в аэропорт. Настало время вспомнить родину, как полагаешь?

– Подождите! – взмолился Янив. – Вы не можете так меня бросить... Ури... Вы подумали, что со мной будет? Я вас очень прошу...

Берл подошел к окну и отодвинул край портьеры. Площадь перед отелем была пуста, если не считать ночного уборщика в фартуке, с совком и метлой. От как раз закончил выметать мусор из-под «опеля-вектра», притулившегося к тротуару в запрещенном для стоянки месте.

– Ты случайно не на «вектре» сюда приехал? – спросил он, не оборачиваясь.

Уборщик внизу аккуратно прислонил к стене свои орудия и быстро пошел по направлению к ближайшему переулку.

– Откуда вы знаете? – удивился Лефен. – Я бросил машину в неположенном месте, очень спешил... надо бы переставить, пока не отбуксировали.

– Не надо... – буркнул Берл. – Ты вот что, бижу... Забудь о моем совете ехать в аэропорт на твоей собственной тачке. Теперь она сама, как самолет. Прямой билет на небеса. В один конец.

Он посмотрел на скорчившегося в кресле парня. Жалко дурака. Кто бы ни были хозяева золота, времени они не теряли. И на засаду в загородном отеле не полагались – сели на хвост немедленно, а теперь еще и машину «зарядили»... Уйти сейчас одному означало бросить несчастного гражданина мира на верную смерть. Не то чтобы он ее не заслужил... Берл старательно вызвал в памяти картины взорванных автобусов на израильских улицах. «Борец за мир», сверлящий его сейчас умоляющим взглядом, приложил к этим взрывам свои личные усилия. Вот пусть теперь и подыхает, от своих же. Берл решительно поднял чемодан, и открыл рот, чтобы сказать напоследок что-нибудь особенно злорадное, но язык, к его удивлению, выговорил что-то совсем другое:

– Ладно, черт с тобой. Вставай, пошли. Только шустрее, второй раз не позову.

Они спустились по лестнице до подвального этажа, прошли через темное помещение кухни и оказались около служебного выхода. Там шла разгрузка овощного фургона. Прежде чем ступить со двора на прилегающую к площади улицу, Берл остановился. Янив с разбега ткнулся ему в спину и забормотал извинения.

– Тихо! – одернул его Берл. Мостовая тускло мерцала перед ними в предутреннем рассеянном свете фонарей. Стены спящих домов отчужденно пялились наглухо задраенными окнами. Улица казалась абсолютно безлюдной. – Пошли! – Они вышли на тротуар и быстрым шагом двинулись от гостиницы, в направлении, противоположном площади. Навстречу из бокового переулка вывернулось такси.

– Такси... – шепнул Янив. – Остановим?

Берл не успел ответить, потому что такси остановилось само, без всякого приглашения. Краем глаза он успел заметить фартук уборщика на заднем сиденье и бросился на тротуар, увлекая за собой Лефена и вытаскивая из-за пояса «глок». Вовремя! Из открытого окна машины раздались шлепающие звуки выстрелов.

«Аккуратно работают, с глушителем, не то что мы, варвары», – подумал Берл, открывая ответный огонь. Шлепки смолкли, машина рванулась с места, крутанулась, влезла на тротуар и с грохотом влепилась в фонарный столб. Брызнули стекла.

– Мотаем, бижу, быстро! – скомандовал Берл, вздергивая на ноги полумертвого от страха Лефена. Они пробежали несколько кварталов и перешли на шаг. Сзади уже слышался вой полицейских сирен. У Брюссельского парка на Кенигстраат Берл взял такси. Еще через полчаса в Левене они сменили машину, а заодно и направление движения. В восьмом часу утра довольный выгодным рейсом таксист высадил их у железнодорожного вокзала в Шарлеруа.

* * *

– А вы теперь куда? – Янив Лефен угрюмо ковырялся вилкой в тарелке с омлетом.

Берл ухмыльнулся: – А тебе-то какая разница? Ты, бижу, и так знаешь больше, чем нужно человеку с твоим здоровьем. Того и гляди, простудишься до смерти.

Они сидели в кафе на привокзальной площади Шарлеруа. Каждый ждал своего поезда: Лефен – в парижский аэропорт, чтобы попытаться купить там билет на тель-авивский рейс, Берл – в Намюр, по дороге в Цюрих. Вообще говоря, он мог бы уехать и раньше – через Льеж и Кельн, но отчего-то Берлу хотелось убедиться, что парнишка сел на поезд живым и невредимым. Его мучило нехорошее предчувствие; Берл справлялся с ним, напялив на себя маску циничного ковбоя из залихватского вестерна.

В кафе было довольно много народа для такого раннего часа. Люди коротали минуты ожидания, шурша газетой над чашкой кофе с круасоном. В углу над стойкой бормотал телевизор. Туристский сезон уже ушел и забрал с собой до следующего года шумных улыбчивых парней с огромными рюкзаками за спиной и заспанных девиц в обтягивающих шортах, в тяжелых армейских ботинках с волочащимися по полу шнурками. Где ты, где, летняя безмятежность европейского вокзала? Теперь, когда пора отпусков закончилась, утреннее привокзальное кафе целиком принадлежало озабоченным типам человеческой породы: коммивояжерам, клеркам, секретаршам. Они поминутно поглядывали на часы, автоматическими жестами поправляли галстуки, одергивали юбки, барабанили по столу нетерпеливыми пальцами. Разве что парочка бритоголовых, татуированных, затянутых в кожу рокеров за соседним столом несколько выделялась из общей картины. Эти никуда не торопились, да и поезда им тоже были без надобности, судя по двум обвешанным фенечками и кожаной бахромой «харлеям», возвышавшимся на тротуаре рядом с кафе.

– Вашими стараниями... – мрачно сказал Янив.

– Что? – не понял Берл.

– Вашими стараниями простужусь, – повторил Лефен. – Пока вы не объявились, все у меня было тип-топ. Еще годик, и получил бы гражданство. Эх...

Берл насмешливо прищурился: – Ну, получил бы. А потом?

– А что потом? Жил бы, как нормальные люди в нормальной стране. Не как вы там, в вашей помойной яме... – глаза Янива блеснули злобой. – Ненавижу вашу гадскую страну, жару, бескультурье, вечную войну, оккупацию чужой земли, нацистскую армию... ненавижу!

Последнее слово он почти выкрикнул, так что многие в кафе обернулись на незнакомые звуки ивритской речи. Бритоголовый за соседним столиком наклонился и что-то сказал своему напарнику, отчего последний немедленно захихикал, поглядывая на Янива маленькими круглыми глазками.

Берл с сожалением покачал головой: – Надо бы тебя отшлепать, бижу, да жаль, времени нету.

– Вот-вот! – ожесточенно подхватил Лефен. – Все вы там такие. Чуть что – насилие. Фашисты!

На этот раз обернулись посмотреть почти все посетители. Последнее слово было им явно знакомо.

– Не шуми, – сказал Берл благодушно. – Ты просто дурак, бижу. Аквариумный карась, которому в море захотелось. Ты думаешь, тебя где-нибудь ждут? Ты думаешь, что кому-нибудь здесь нужен? Ты думаешь, у тебя есть выбор? Дудки, бижу. На самом деле нет его у тебя, этого выбора, понял? Нету!

Бармен прибавил громкости телевизору. Шел восьмичасовой выпуск новостей.

– Глупости... – возразил Янив. – Выбор всегда есть. Каждый человек вправе выбирать то, что ему больше нравится. Мне вот нравятся длинноногие европейские блондинки, а не крашеные марокканки. На кой черт мне тогда жить в Израиле?

Берл улыбнулся. Большинство женщин в кафе были и в самом деле блондинками.

– Ладно... – начал он, но Янив вдруг насторожился и поднял палец, будто призывая ко вниманию. Берл обернулся к телевизору. На экране красовался обугленный остов машины на площади перед «Метрополем».

«...произошла около половины седьмого... – сказал диктор за кадром. – ...когда буксировщик инспекторского отдела брюссельского муниципалитета пытался отбуксировать автомобиль «опель-вектра», припаркованный в запрещенном месте на площади Брукер, напротив отеля «Метрополь». Машина взорвалась сразу после начала движения. Инспектор получил небольшие телесные повреждения и тяжелый шок».

Дымящаяся «вектра» сменилась растрепанным человеком в форме и на носилках. Он беззвучно разевал рот и вращал глазами.

– Все-таки здорово, что это оказался инспектор, – Берл с удовольствием хлопнул ладонью по столу. – Теперь хотя бы поймет, в какой шок мы впадаем после их идиотских штрафов!

– Моя машина... – растерянно прошептал Янив.

«Двумя часами раньше... – продолжил диктор, – ...район гостиницы был разбужен грохотом выстрелов. Прибывшая на место полиция обнаружила такси с двумя застреленными людьми. По словам главы полицейского управления, господина Дебриля, оба были буквально нашпигованы пулями...»

На экране возник господин Дебриль, осаждаемый репортерами.

– Что за чушь... – пробормотал Берл. – Нашпигованы пулями... Я и выстрелил-то всего четыре раза, причем особо не целясь...

Наверняка врет полиция. Практически невозможно убить двух человек четырьмя быстрыми пистолетными выстрелами по движущейся машине. Допустим, он мог попасть водителю в голову, но в того, что на заднем сиденье, Берл стрелял уже абсолютно наугад. Ранил – это возможно, даже скорее всего, но так, чтобы

насмерть... Точно врут. А если не врут? А если не врут, то плохо дело. Берл бросил быстрый взгляд по сторонам. Если не врут, то остается одно: кто-то просто убрал раненых киллеров, застрелил уверенно и хладнокровно, не смущаясь надвигающимся воем полицейских сирен, нашпиговал пулями, чтобы не попали живьем под любопытные следовательские глаза.

Это что же тогда получается? Слежка за Лефеном, минирование его машины, засада в Ватерлоо, нападение из такси, казнь неудачливых киллеров, и все это – в течение всего лишь нескольких часов! Кстати, телефонная паника Липса и длительная пауза в течение его разговора с Лефеном могли свидетельствовать о том, что рядом с чиновником в тот момент находился еще кто-то. Кто-то очень страшный и очень убедительный. То есть, за относительно короткое время преследователи успели организовать сложную многоуровневую операцию. То есть... то есть можно поставить двадцать евро против одного шекеля, что подобных профессионалов трудно ввести в заблуждение наивными трюками со сменой такси. Они должны были находиться где-то здесь, рядом, возможно, прямо в этом кафе, за соседним столиком.

Берл обвел кафе внимательным взглядом. Почти неотличимые друг от друга мужчины в одинаковых костюмах мышиного цвета, с одинаковыми газетами, с одинаковыми чашками кофе на одинаковых столах. Женщины в одинаковой строгой униформе бизнесвумен – мышиные юбки до колена, мышиные пиджаки с накладными плечами. Молодая официантка, щебечущая за стойкой с одним из коммивояжеров. Пожилая официантка, разносящая на подносе омлеты и кофе. Безучастный бармен. Двое рокеров, нахально ухмыльнувшиеся в ответ на его быстро проскользнувший взгляд. Берл перевел глаза на телевизор. Лицо полицейского начальника господина Дебриля напоминало рыжую ромашку, с лепестками микрофонов, тянущихся к нему со всех сторон.

«Еще рано говорить о результатах расследования, – говорил он, зачем-то скосившись вверх и вбок, как будто зачитывал текст по висевшей там, сбоку и вверху, шпаргалке. – Скорее всего, речь идет об обычной мафиозной разборке. Но некоторые обстоятельства позволяют предположить участие иностранцев».

Соседний рокер торжествующе жахнул кулаком по столу:

– Так я и знал! Наверняка евреи! Чтоб они все передохли!

«Мм-м-м... – замялся на экране ромашковый господин Дебриль, отвечая на неслышный, но, видимо, каверзный вопрос корреспондента. – Я не могу сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию».

Камера вернулась в студию. Солидный диктор в костюме мышиного цвета кивнул квадратным лицом.

«Тем не менее... – сказал он, как бы продолжая последнюю фразу полицейского начальника, – ...нам стало известно из надежного источника, что сгоревшая машина принадлежала гражданину Израиля. Не исключено, что в ближайшие часы полиция объявит розыск».

Лефен судорожно вцепился в берлову руку.

– Ну?! Что я вам говорил?!" – взревел рокер. Он смотрел прямо на Берла наглым, вызывающим взглядом. Мышиные люди подняли головы от газет и дружно улыбнулись.

Берл тоже улыбнулся – Яниву, успокаивающе: – Перестань, бижу. Отпусти мою руку. Неровен час, люди подумают, что ты собираешься устроить мне романтическую сцену ревности. Кстати, ты что-то говорил насчет выбора...

Телевизионный диктор скорбно пожевал губами, как бы подготавливая зрителей к новым неприятностям.

«К сожалению, этим не исчерпываются трагические события минувшей ночи. Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, господин Райт Липс выпал с балкона своей квартиры на шестнадцатом этаже, как полагают, вследствие внезапной остановки сердца. Его бездыханное тело было обнаружено на рассвете муниципальными работниками... А теперь я передаю слово нашему спортивному корреспонденту...»

Люди в кафе, как по команде, отложили газеты в сторону и повернулись к экрану. Янив сидел без движения, бледный, как смерть. Берл шумно перевел дух:

– Ну вот, а еще говорят, что в Европе ничего не происходит. Скажи, тут всегда выпуски новостей такие интересные? Начинает напоминать Израиль...

– Эй, вы!

Рокеры за соседним столом, очевидно, решили перейти к более активным действиям. Они пока еще сидели, но всем своим воинственным видом демонстрировали готовность немедленно броситься в драку. Берл облегченно вздохнул. Теперь, когда враг окончательно проявился, все стало намного проще. Теперь можно спокойно действовать по обстановке, не гадая, откуда последует удар. Он, не торопясь, повернулся к забиякам.

– Привет, парни. Чего это вы так слабо татуированы? Курточки-то, небось тоже кожаные? Как же это они у вас без тату, а? Вы их, небось и не снимаете никогда... – Берл втянул носом воздух. – И не моетесь тоже.

– Жиды вонючие, – ожесточенно процедил старший рокер и встал. Ростом он был не ниже Берла. – Мало мы вас в войну давили. Все лезете и лезете, как клопы.

– Ты думаешь, что ты сильный, да? – сказал Берл, тоже поднимаясь со стула. – Ты не сильный, бижу, ты просто жирный.

Никто в кафе даже не повернул головы. По телевизору передавали результаты скачек. Только бармен забеспокоился по понятным причинам.

– Эй, ребята! – крикнул он. – Мне тут не нужно проблем. Если думаете разбираться, выходите наружу!

Берл величественно кивнул.

– Ты пока тут посиди, ладно? Я сейчас вернусь... – он потрепал по щеке оцепеневшего Лефена и повернулся к рокерам. Второй, тот, что помладше, продолжал сидеть. Это никак не могло устроить

Берла. Он не собирался оставлять его наедине с Янивом. – Только чур, выходите оба, вдвоем. Две ягодицы одной задницы не должны разлучаться, правда? Что, сдрейфили, карманные гитлеры?

Второй рокер вскочил, опрокинув стул.

Берл почуял неладное уже во дворе за кафешкой, когда старший рокер широко размахнулся, норовя ударить его в лицо. На такие замахи профессионалы просто не способны. Скорее всего, их никто не посылал! Это были, действительно, настоящие рокеры, самые обычные татуированные нацики, имя которым легион. Вырубив первого быстрым ударом по кадыку, Берл легко уклонился от велосипедной цепи, которую вытащил младший, сбил его с ног, заломил назад руку и уселся сверху. Надо бы все-таки спросить, для очистки совести.

– Кто вас послал? – проговорил он, выкручивая рокеру локоть. – Говори быстро, а то сломаю. Ну?

– Нет, не ломай! – взмолился парень, елозя щекой по дорожной грязи. – Я скажу... баба просила, двести монет дала... за драку...

– Какая баба?

– Ну эта... – прохрипел рокер. – Из кафе... официантка...

У Берла заныло в животе. Он вскочил и бегом бросился назад. Янив сидел облокотившись на стол, положив голову на сплетенные руки. Берл тряхнул его за плечо. Голова Лефена мотнулась и повисла, упершись подбородком в грудь и уставив бессмысленно вытаращенный глаз на мир, гражданство в котором так и осталось заветной, но не исполненной мечтой. Парень был мертв. Берл снова опустил его на стол и окинул кафе диким взглядом. Все головы были повернуты к телевизору, который передавал погоду. Берл схватил за локоть ближайшего клерка в мышином костюме: – Извините, господин... кто-нибудь подходил к моему другу, пока меня не было?

– Что? – удивленно откликнулся тот. – Вас не было?.. Не знаю, не обратил внимания... Хотя, погодите... девушка принесла ему стакан воды.

– Какая девушка?

– Как это – какая?.. Официантка, какая же еще...

Берл бросился к стойке, к бармену.

– Официантка... – проговорил он, задыхаясь. – Где ваша официантка? Молодая?

– Молодая? – недоуменно переспросил бармен. – У нас одна-единственная официантка. И я не уверен, что она такая уж молодая. Жанет!

Пожилая женщина с подносом обернулась из другого конца кафе.

– Нет-нет, – заторопился Берл. – Я имею в виду другую, блондинку... она еще сидела там, у стойки, рядом вон с тем господином...

Бармен покачал головой: – Но это никакая не официантка, господин. Она была одета очень похоже, это верно. Передник и наколка... я, честно говоря, и сам удивился. Но, понимаете, я не могу дик-

товать своим клиентам форму одежды. Каждый одевается, как хочет, у нас свободная страна...

За окном затрещали мотоциклы. Помятые рокеры отъезжали на своих «харлеях» от греха подальше.

– Здорово вы их отделали, – усмехнулся бармен. – Даже в одиночку, без друга... А он у вас что-то устал. Еще кофе?

– Нет, налейте двойную «мартеля»... ага, спасибо... А мой друг пусть немного поспит, – Берл одним движением опрокинул в рот янтарную жидкость. – Наверное, видит во сне блондинок. Он их, знаете, очень любит, длинноногих блондинок. Таких, как эта девушка, которая одевается под официантку. Могу поспорить, что ее ноги были последним, на что он пялился перед... ээ-э... перед сном..."

Бармен равнодушно кивнул. Берл поставил бокал и вышел из кафе, не оглядываясь. Конечно, его «вели», он чувствовал это всем своим существом. Причем «вели» тонко, чисто, большим количеством высокопрофессиональных людей. Бороться с такой слежкой было очень трудно. Да он и не собирался с ней бороться. Слежка означала контакт, а потерять контакт Берл боялся не меньше своих преследователей. Он также понимал, что пока ему не угрожает никакая опасность. Они его ни за что не тронут. Потому что им нужно выяснить, кто он, точно так же, как ему нужно выяснить, кто они. А еще – потому что им нужен слиток, а добраться до слитка они могут только через него.

СВИДЕТЕЛЬ №5

Меня зовут Швайншафер. Ничего, господин судья, ничего, улыбайтесь. Ничего страшного. Все улыбаются, а судья что – не человек? Гм... хотя вы... гм... про вас-то я не знаю, но – все равно. Я привык. Не фамилия красит человека, а человек фамилию. Так мой папаша говорил, царствие ему небесное. Род у нас древний, и все Швайншаферы. Были такие, что хотели поменять, да только ничего путного из этого не вышло. Люди-то помнят, людей-то не обманешь. Даже за море уезжали, только чтобы фамилию поменять. И что вы думаете – один черт... извините, сорвалось... я хотел сказать – все равно как-то узнавали. Один уехал в Америку, назвался Беккер. Год прожил, другой, все нормально. Даже булочную открыл, чтобы, значит, никаких подозрений. Вот, мол, до чего я настоящий Беккер!

Только фигушки, накось, выкусите... гм... извините, господин судья, разговор у меня грубый, необразованный. Что возьмешь с деревенского полицейского? Короче, узнали. Как?.. откуда?.. никто так и не понял. Сорока принесла на хвосте. А уж как узнали, так жизни ему не стало никакой. Засмеяли. Какой ты, говорят, булочник?! Ты же свиней пасешь! Чем ты их погоняешь – багетами? Детям в школе проходу не дают... Беда! Пришлось все взад менять. Продал булочную за бесценок, да и вернулся домой. Швайншафером вернулся, как и был. Как и все мы.

А откуда все идет? – Я вам расскажу. Лет триста назад, а может, и четыреста шло по тем швейцарским местам войско императора. Тогда большая война была, голодуха. Ну и, значит, послали одного солдатика найти для роты жратвы какой-никакой. Это так говорится «найти», господин судья, а на самом-то деле – какое там «найти»! Украсть. Такое безобразие, понимаете. Обычное для голодной армии. В другом месте взяли бы силой. Но в кантоне Вале жили тогда такие ребята – лучше не трожь. За себя постоять умели. Ссориться с ними никто не хотел. Ну, солдатик и умыкнул парочку свиней – вывел потихоньку из хлева, да и погнал в свою роту. Погоняет он их, значит, хворостиной, и тут выходят к нему из-за дерева двое крепких местных парней с дубинками. Стой, говорят, где стоишь. Ты что тут, такой-сякой, с соседскими свиньями делаешь? Солдатик струхнул. Все, думает, кранты. Прибьют тут же, и поминай, как звали. «Я, – говорит. – Я... я...» А они ему: «Видим, что ты. А вот соседские свиньи тут при чем?» И дубинками поигрывают, а сами здоровые, как кабаны. Тут с отчаяния он и ляпнул: «Пасу я их! Соседу вашему помогаю!» Ну, парни, конечно, сразу с копыт попадали. Со смеху. Потому что, где это слыхано, господин судья, чтобы свиней пасли? Полчаса смеялись, пока он, бедняга перед ними навытяжку стоял вместе с краденными свиньями. А потом и говорят: «Ладно, – говорят, – свинячий пастух. За то, что развеселил ты нас, останешься жить. Но за то, что свиней крадешь, придется тебе побатрачить у нашего викария, во искупление грехов. Годик поработаешь, а потом посмотрим, куда тебя девать. Попробуешь сбежать – догоним, и тогда уже точно порешим. А зваться тебе теперь Швайншафер – свинячий пастух». Вот, оттуда и пошел наш крепкий род, господин судья, от того, самого первого Швайншафера.

Годик он отбатрачил, не беда, да так здесь и прижился. Женился на местной дурнушке, которую замуж никто не брал, завел дом, ну и пошло, и пошло... грошик к грошику золотой копит.

Но из бедности все равно не вылезали – ни он, ни дети его, ни внуки, ни правнуки. Уж больно фамилия несуразная. Так в батраках и ходили. Пока не сподобил милосердный Господь очередного Швайншафера на великое открытие.

Он, значит, рассудил так. Зачем противиться Господней воле? Если уж дал нам Создатель такую фамилию, то так тому и быть – надо пасти свиней. Вопрос только – зачем? Ведь, когда свинья в хлеву валяется, то сало у ней мягкое, нежное, особенно, если зерном кормить. А ежели, наоборот, гонять ее, беднягу, по горкам, то сала, считай что и нету, одно мясо жилистое, как у дикого кабана. Но в том-то и дело, господин судья, что тот умный наш предок придумал пасти свиней слоями. Да, да, то, что слышите – слоями! То есть, месяц дает ей в хлеву отдыхать, а потом месяц по косогору гоняет, прилечь не дает, пасет, то есть. А потом – снова в хлев, во как! Вся округа над ним смеялась. Прямо покатывались, какими только словами не обзывали. А он молчал. Все равно обиднее Швайншафера придумать ничего невозможно. Зато потом, когда зимой заколол он своих свинок и продал ихние окорока на ярмарке

в Сьоне, смеялся уже он один, а все остальные молчали. Потому что и сало тоже вышло слоями, как он и думал, тот самый великий Швайншафер! И шло это сало на ярмарке втрое дороже обычного!

С тех пор и пошла нам удача, господин судья. Мало-помалу и соседи смеяться перестали, даже зауважали. Теперь только тот, кто в первый раз слышит, улыбается, как вы, к примеру. А остальным даже и в голову такого не приходит. Для них что Швайншафер, что Мюллер – один хрен. Вот оно как все получилось. И ведь что интересно: другие тоже пробовали свиней пасти, но так, как у нас, ни у кого не выходило. Никогда. Мне эту историю папаша рассказал, а ему дед, а тому – прадед.

– Вот, – говорит, – Йозеф, запомни на всю жизнь и детям своим потом расскажешь.

Потому что, если подумать, господин судья, то история эта вовсе не про свиней. А про то, что все, ну вот буквально все, что Господь нам дает – это на нашу же пользу. Даже то, что поперво-началу кажется злом, как, к примеру, обидная эта кличка – Швайншафер. Глупый человек, он что делает? Он изо всех сил пытается отвертеться, избавиться, значит, от зла этого. Суетится, бегает, шишки набивает себе и другим, и все попусту. А все почему? – Потому что никакое это не зло, а подсказка. Подсказывает нам Создатель, для чего мы землю топчем. Мы вот, Швайншафе-ры, рождены свиней пасти. А коли так, то зачем от судьбы бегать? Господь нас пасет, мы – свиней, и все довольны, все счастливы. Разве не так? Если бы каждый на земле своим делом занимался, а не умничал, то никаких бы бед не было, даже болезни бы извелись, и воровство, и убийство, а уж войны и подавно. Я так думаю.

И мы, Швайншаферы – лучший тому пример. Самое вкусное сало в кантоне, да что там в кантоне – во всей Швейцарии! Говорят, в Германии сало хорошее, в Австрии... не знаю, не пробовал. Чего не знаю, того говорить не стану. Но в кантоне Вале лучше нашей фермы не сыскать, это точно. И моя доля там тоже есть, потому что хозяйство семейное. Почему я тогда в полицию пошел? Гм... вот это вы в самую точку спросили, господин судья... да... гм...

Да я бы в жизни в нее не пошел, в эту полицию! Это все наша матушка, царствие ей небесное. Нарожала детей, что твоя свино-матка – семнадцать душ. Дочек пять, а все остальные – парни. Двенадцать парней, как в Священном Писании! И все до одного выжили, как назло. Можно ли на такое количество поросят хозяйство поделить? А я еще к тому же вышел одиннадцатым. Хуже не придумаешь. Даже последним, двенадцатым, быть выгодней, потому что он все-таки самый младшенький, его все балуют. А пред-последний – ни то, ни се... кто его замечает?

Папаша покойный меня, правда, выделял.

– Ты, – говорит, – Йозеф, по всем приметам должен самым смышленым получиться, как Йозеф Прекрасный из Писания. Я, – говорит, – тебя потому так и назвал.

Но из этого тоже ничего не вышло. Какая там смышленость? В школе несколько классов насилу высидел. Да и прекрасным меня

никак не назовешь, сами видите. Швайншафер я, господин судья, обычный свиной пастух. Зачем умничать, лезть куда-то? Короче, только пострадал я из-за этой папашиной фантазии. Сначала братья родные невзлюбили, а потом и сам папаша разочаровался. Что тут сделаешь? Спасибо матушке, научила.

– Ты, – говорит, – сынок, должен пасти своих свиней где-нибудь в другом месте. А тут тебе братья ходу не дадут. Сам знаешь, Швайншаферы народ упрямый.

– Знаю, – говорю, – матушка, конечно знаю. Только где же мне их пасти, если все наши свиньи здесь?

А она и говорит: – Вот скажи, кто к свиньям по уму всех ближе?

А свинья, господин судья, самое умное животное на свете. Даже собаке фору даст, и большую.

– Не знаю, – говорю, – матушка. Никто и близко не приближается.

– Ах ты, – говорит, – дурачок. А про людей-то забыл? Люди к свиньям всего ближе. Вот их и паси. Дело привычное, справишься. Поедешь в Сьон, в полицейскую школу, я с отцом уже говорила.

Так я стал полицейским, господин судья. В школе сначала скучал по дому, по свиньям, по деревенской жизни. Мне, поверите ли, ничего другого не надо, как только выйти поутру на крыльцо, да услышать, как коровы на лугу позвякивают своими бубенцами. И туман ползет по склону. И проснувшиеся свиньи зовут из хлева – задать им зерна и пойла. Лучше нету ничего в жизни, и не будет. Но пришлось привыкать. Школу я закончил плохо, среди последних, спасибо, что вообще закончил. Как распределять стали, то лучшие места, само собой, другим достались. Я не жаловался, это справедливо. Последний пришел – последний получай. Короче, заткнули меня в самую что ни на есть западную дыру, километрах в двухстах от родного моего Обервальда. Можно сказать, край света. Так далеко от дома я никогда в жизни не забирался.

Место называлось Лефлон – маленькая пограничная деревушка, где никогда ничего не происходило, не происходит и не произойдет. Так мне сказал начальник, вручая документ. В документе было написано, что я, Йозеф Швайншафер, направляюсь в населенный пункт Лефлон для исполнения обязанностей сельского полицейского.

– Не бзди, Швайншафер, – сказал начальник. – Место глухое, спокойное, даже такой болван, как ты, справится. Делать там нечего. В случае чего – составляй протокол. Тебя этому три года учили.

– В случае чего? – спросил я.

Начальник вздохнул:

– А я откуда знаю, Швайншафер? Ну, к примеру, кто-нибудь с крыши сверзится или руку сломает по пьяному делу. Кругом, марш!

И я стукнул каблуками, как меня учили три года, повернулся через левое плечо и вышел в свою новую жизнь.

Лефлон и сейчас невелик, а уж тогда и вовсе размерами не отличался. Три десятка домов, сто четыре жителя, включая младенцев, и трактир под названием «Корнетт». В трактире была тер-

раса, которая выходила на одноименную гору. И ни одной свиньи в радиусе ста километров. Коров было много, это да, но коровы не в счет. Получалось, что пасти и в самом деле некого, кроме людей. И тут я впервые удивился мудрости моей матушки. Люди совсем не возражали, чтобы их пасли. Единственная разница заключалась в том, что свиньи боялись моей хворостины, а люди – моего полицейского мундира. Даже над фамилией никто не осмелился насмехаться. Короче, я немного осмотрелся и начал действовать слоями, по надежно проверенному методу. Если он подходил свиньям, то людям и подавно.

Как? Да точно так же, господин судья: месяц гоняешь, месяц – нет. До меня-то они там все жиром заросли, точь-в-точь, как кабанчики в хлеву, никакого к жизни интереса. Собрал я их вскоре после приезда и объявил, что теперь придется им по горам побегать – для защиты от воров. Кто-то начал умничать: мол, у нас воров отродясь не видали, но я был к этому готов. В любом стаде обязательно найдется свинья-баламут. Такую следует сразу научить уму-разуму, чтобы другие на ее примере поняли, что к чему.

– Хорошо, – говорю, – Верне. – А его Верне звали.– Хорошо, – говорю, – Верне. Завтра поедешь со мною в Мартиньи.

– Зачем? – говорит. А в Мартиньи-то ему ехать ох как не с руки – самый сбор винограда, каждая пара рук на счету.

– Ну как же, – говорю. – Ты ж не веришь. Вот я и покажу тебе воров в тамошней тюрьме. Кстати, на твоих лошадях и поедем. Я их временно реквизирую.

Начал он упираться, да как же полицейскому возразишь? На следующий день отъехали мы с ним подальше, взял я дубинку, да поучил того Верне уму разуму.

– Как? – говорю. – Все понял или дальше поедем?

– Понял, – говорит. – Давайте, – говорит, – возвращаться, господин полицейский.

И все, господин судья. С той поры все как шелковые ходили, все стадо. И в ночные дозоры, и забор строили, и дорогу ремонтировали на всякий случай. На какой случай? Ну как... а если подмогу потребуется из Монти вызвать? Или даже из Мартиньи? Как полицейская машина проедет? Вот то-то и оно... Крест большой поставили на краю деревни – четыре метра высотой, каменный. Лыжную трассу расчистили. А как же. Я ведь их не впустую гонял, а на общественно полезных работах. Месяц гоняю, месяц нет, все как положено, согласно расписанию. Сначала я Верне больше всех загружал, чтобы проверить, действительно ли он все понял. А как убедился – поставил его своим заместителем. Нет помощника надежнее, чем перевоспитавшаяся свинья-баламут.

Сначала они, понятное дело, постанывали. Зато потом спасибо сказали, когда стали в Лефлон гости наезжать – на крест посмотреть, да на террасе той посидеть. Лыжники, знаете, туристы всякие. Доход от них хороший. А туристу дорога нужна, без дороги – как он приедет, турист-то? Короче, в ножки мне кланялись, говорю без хвастовства. «Как, – говорили, – господин Йозеф, мы

до тебя жили, не поймем...» Во как! Верне даже гостиницу небольшую построил. И все за какие-то пять лет, можно ли поверить? И каждый раз, как садились мы с ним пропустить стаканчик-другой, каждый раз, господин судья, поминал он добрым словом мою дубинку.

– Ты, – говорил, – Йозеф, отдай ее мне, я, – говорил, – повешу ее в холле моей гостиницы, над камином. Потому как без нее я бы так и лежал себе на боку. Отдашь, а? Я тебе другую куплю.

– Нет, Верне, – отвечал я ему. Солидно отвечал, как и положено облеченному властью человеку. – Не отдам. Казенное имущество, никак не могу.

Вот что значит хороший пастух, господин судья. Швайншаферы мы, а как же...

Мне никогда не нужно было от жизни чего-то из ряда вон выходящего. Я честный человек, господин судья. Обычный честный человек. Никогда не преступал закона, даже в самой малости... кроме одного, того самого случая... но об этом речь еще впереди. Я намеревался жениться и уже присмотрел себе симпатичную девушку в соседней деревне. Честно говоря, я женился бы и раньше, если бы был уверен, что осяду там, в Лефлоне. Наверное, так и надо было сделать. Но, понимаете, у меня появилось чувство, что мне по силам пасти намного большее стадо, чем то, что было в той маленькой деревеньке. Возможно, это просто гордыня. Но на самом деле, в Лефлоне все уже настолько шло своим чередом, что моего участия почти не требовалось. Деревня просто процветала сама по себе, согласно заведенному мной расписанию.

Однажды меня вызвали в Мартиньи, в полицейский штаб. Я был уверен, что речь пойдет о повышении. Увы, господин судья. Пастуха может понять только пастух. А мой начальник был, скорее, из категории свиней.

– Как дела, Швайнштайгер? – спросил он.

Я поправил: – Швайншафер, господин инспектор.

– Какая разница! – отмахнулся этот идиот. – Я вижу, что ты справляешься неплохо. Впрочем, в твоей дыре все равно ничего не происходит.

– Осмелюсь доложить, господин инспектор, – сказал я. – Швайнштайгер занимается просто разведением свиней, а Швайн...

Но он не дал мне закончить, а заорал, как недорезанный поросенок.

– Молчать! – заорал он. – Еще не хватало, чтобы каждый болван начал мне возражать! Молчать, ты, хряк! Молчать!

Он повторил это раз десять, хотя я не пытался вымолвить ни слова, а просто стоял, опустив голову, как понурая свинка перед забоем. Я понимал, что с моей карьерой покончено, и это даже вселяло некоторое облегчение. Теперь можно было без лишних сомнений жениться на Луизе и окончательно осесть в Лефлоне. По крайней мере, там меня уважали, и никто не осмеливался повышать голос в моем присутствии.

– Слушай, – сказал начальник, наоравшись. – И молчи!

Я на всякий случай еще ниже склонил голову, подставив ему загривок. Помню, у меня мелькнула мысль, что если заколоть меня именно сейчас, то сало получится хорошее, слоями.

– Сейчас многие рвутся через нашу границу, – сказал начальник и вытер пот со лба. – В основном из Германии. Понял?

Я кивнул. Молча, чтобы не раздражать инспектора.

– Что ты молчишь, идиот? – заорал он.

– Понял, господин инспектор, – пролепетал я. – Рвутся через нашу границу.

– Кто рвется? – вкрадчиво спросил он.

– Многие, – сказал я.

– Идиот! – заорал он. – Рвутся евреи! Понял? Евреи! Гитлер поджарил им задницу, и теперь они ищут, где бы ее остудить. Всей полиции в пограничных районах дан приказ усилить бдительность. Любой незнакомец должен быть задержан для проверки документов. Повтори!

Я повторил.

– Отличить их легко, – продолжал инспектор. – Для этого даже не требуется снимать с них штаны. На обложке еврейского паспорта стоит большая буква J – «jude». Повтори!

– Юде, – повторил я.

Он снова вытер платком шею. Со слоями у начальника было явно не в порядке. Не мешало бы погонять его по горному лугу для тренировки.

– Понятия не имею, зачем я тебе все это говорю, – сказал инспектор. – Во-первых, ты болван и все равно ни черта не запомнишь, а во-вторых, твой участок не граничит с Германией. Хотя тебе это, скорее всего, неизвестно. Кругом, марш!

Я стукнул каблуками и повернулся через левое плечо.

Вот так, господин судья. В Мартиньи я ехал за повышением, а домой возвращался обруганный с ног до головы. Видимо, не судьба Швайншаферам пасти слишком большие стада – так я думал, погоняя свою лошадку. Ну и что? Зато свое малое я пасу, как надо, не так ли? Главное – мне не в чем упрекнуть себя перед Богом и людьми. Взять хоть это новое указание держать ухо востро. Кто, как не я, учредил ночные дозоры еще пять лет тому назад, когда Гитлер еще не был канцлером? Я был уверен, что на моем участке даже сурок не проскочит незамеченным. Вернувшись домой, я созвал жителей Лефлона и оповестил их о новой опасности. Нечего и говорить, что все смотрели на меня с восхищением. Теперь смысл горных караулов стал ясен даже самому тупому лефлонцу. Деревня была готова во всеоружии встретить полчища рвущихся через границу евреев.

Но прав оказался мой грубый начальник. Проходил месяц за месяцем, а никто и не пробовал посягнуть на суверенитет кантона Вале. Пытались пролезть в северные и восточные кантоны – из Германии, из Австрии, но это было далеко. Только в газете и читали, а сами не видели. В нашем углу границу нарушали только

горные козлы да заплутавшие туристы. А потом немецкие евреи как-то кончились даже на севере. Зато началась война. Швейцария любит войны, потому что сама никогда ни с кем не воюет. Как говорил мой папаша, нам война приносит только доход, с давних времен. Растут цены на мясо, на сыры, на свинину – чем плохо? Правда, с туризмом пришлось распрощаться. Хоть и временно, а все равно неприятно. Верне ворчал на эту тему, не переставая. Можно понять – гостиница-то у него стояла пустая. Во всем он винил евреев. И это тоже можно понять, господин судья: все неприятности с туризмом начались из-за войны, а война из-за чего началась? Ясное дело, из-за евреев. До этого мы о них слыхом не слыхивали.

И с ночными дозорами тоже. Раньше-то, пока это считалось моим капризом, все помалкивали: против полицейского не попрешь. Зато теперь, когда стало ясно, что в караул приходится ходить из-за евреев, люди просто из себя выходили от ярости.

Верне так и говорил: «Вот только попадись мне кто-нибудь! Уж я его, мерзавца...»

И остальные – то же самое. Вот только никто не шел, евреи, то есть. Меня уже любопытство стало разбирать: как они выглядят? В сьонской газете однажды напечатали фотографию, но по ней было трудно разобрать детали.

Летом мы сидели на террасе, и тут трактирщик сказал, что немцы вошли в Париж. По радио передавали позавчера.

– Ну все, – сказал Верне. – Сейчас-то евреи и попрут, попомните мое слово.

И что вы думаете, господин судья? Так оно и вышло. Правда, весь поток хлынул не на наш участок, а севернее, около Женевы. Там полиция еле поспевала заворачивать евреев, которые ползли в Швейцарию, как тараканы.

– Вот ведь вредная порода! – говорил Верне, читая сьонскую газету. – Лезут и лезут. И что им у себя не живется?

А у нас опять было тихо, как назло. Горный массив Шабле не слишком высок, но просто так, наобум, его не пересечь. Проходов относительно немного. Чужому здесь трудновато. К примеру, один из путей лежит через самую высокую гору – Корнетт-де-Бисе, ту самую, на которую выходит терраса нашего трактира. Но это ведь надо знать, а не зная – какой дурак попрется именно в гору? Кажется, что понизу удобнее. Но в том-то и дело, что это только кажется. Такие вот тонкости, господин судья. Думаю, что пробовали и у нас, особенно, когда рядом с Женевой все наглухо перекрыли. Пробовать-то пробовали, да возвращались, несолоно хлебавши, даже не дойдя до наших караулов. Наверное, поэтому французская полиция на нашем участке не очень-то и старалась. Можно сказать, вообще не старалась. Полагались на нашу добросовестность.

Первого своего еврея мы поймали только весной. Ко мне он попал уже прилично помятым. Ребята накостыляли, на радостях. Как же, наконец-то настоящее дело! К моему удивлению, парень выглядел почти как нормальные люди, разве что напуган был сверх вся-

кой меры. Он пытался что-то объяснять, но я не стал слушать. Инструкция гласила, что необходимо немедленно переправить нарушителя в Мартиньи, что я и сделал. Потом его вернули французам, полиции. Или как это там называлось? Гестапо? Вот-вот, гестапо.

– Первая ласточка, – сказал Верне. – Теперь попрут.

Мы удвоили караулы, но следующей добычи пришлось ждать долго, больше года. В сентябре мы сидели вдвоем с Верне у самой границы на перевале горы Корнетт, том самом, где есть удобный проход. Высота не слишком большая, господин судья, каких-то два километра, это вам не Монблан, но вид все равно превосходный. Просто чудо, что за вид. По левую руку – озеро, по правую – долина Роны с виноградниками. Красота. И вот сидим мы, значит, любуемся, и вдруг Верне говорит:

– Как-то странно сурки свистят. Уж не идет ли кто?

Гляжу я в сторону Франции и что вижу? Нарушителей, и даже не одного, а сразу четверых! Невдалеке вижу – метрах в двухстах, вот-вот границу пересекут.

– Смотри, смотри, Йозеф! – говорит Верне и рукой показывает.

Смотрю я туда и вижу еще троих, но подальше, в километре, никак не меньше. Идут следом за первыми, быстро идут. Видать, отстали, а теперь догоняют. Подождали мы, пока первые четверо до нас дойдут и как выскочим из-за камня!

– Стоять! Ни с места! Вы находитесь на территории Швейцарской Республики!

И тут, представьте себе, первый нарушитель, оказавшийся молодой женщиной, бросается ко мне и начинает меня обнимать и даже целовать в щеки и местами даже в губы. Я, значит, отрываю ее от себя, причем с трудом отрываю, и вижу, что трое остальных – подростки, можно сказать, дети. И они тоже радостно прыгают, будто выиграли в лотерею поросенка на сьонской ярмарке. Две девочки лет по десять и мальчик помладше.

Трое, которые снизу, нас увидели и остановились. А мальчик вскочил на камень и начал им, значит, показывать... знаете, так... рукой из-под руки, некрасивый такой жест.

– Что тут происходит? – спрашиваю.

И тут женщина начинает бормотать и плакать, и смеяться одновременно, как делают сумасшедшие или очень счастливые люди в американском синема. Я не думал, что такое бывает в жизни.

– Вы, – бормочет, – наши спасители! Да будут благословенны ваши имена, и ваша страна, и ваша земля, и ваше небо... Если бы не вы, если бы не вы...

И показывает вниз, на тех троих.

– Ээ-э, – говорит Верне. – Да это же погоня внизу, а никакие не нарушители. Полиция за ними идет.

– Нет, господин, – поправляет его женщина. – Не полиция. Это гестапо. Гестапо. – И она плюет на землю, будто это слово – жаба или какая другая мерзость. И глаза у нее сияют, как в тех самых синема, а девочки прыгают рядом, взявшись за руки, и только мальчик стоит молча и смотрит на нас исподлобья.

Что тут говорить, господин судья... я слегка растерялся. Уж больно по-другому я представлял себе задержание нарушителей.

Я отвел Верне в сторонку и спросил: – Что с ними будем делать, как ты думаешь?

Верне оторопел. Еще никогда я не задавал ему такого вопроса. Думаю, что в тот момент я утратил половину его уважения. И поделом. Разве пастух спрашивает у свиней, как ему поступать?

– Ээ-э... – сказал Верне. – А как там по инструкции?

Тут оторопел уже я. В самом деле! Инструкция! Как можно было забыть об инструкции?! Со мной явно происходило что-то непонятное. Я даже пощупал свой лоб. Верне смотрел на меня с изумлением, как будто увидел впервые в жизни. По инструкции нарушители немедленно передавались в руки французской полиции, если при задержании имела место такая возможность. Имела ли такая возможность место сейчас? Еще как! Трое людей в штатском стояли у пограничного знака на тропе и лениво покуривали, изредка поглядывая в нашу сторону. Они наверняка знали инструкцию. Только теперь я разглядел их винтовки, прежде ошибочно принятые мною за альпенштоки.

У меня никогда не было проблемы посмотреть в глаза даже самой своей любимой забиваемой свинье, но тут... Я вот сейчас вам это рассказываю, а сам вижу перед собой лицо той женщины... даже не знаю ее имени. Она еще радовалась, и в то же время уже поняла, что радоваться нечему, и все-таки надеялась, и сердилась, и умоляла – все вместе. И все молча.

– Мы вынуждены вернуть вас властям вашей страны, – сказал я.

– Нет, – сказала она.

– А ну, хватит блажить! – прикрикнул Верне. – Лезете, куда не надо, а у людей убытки! – Он ловко ухватил за локти женщину и одну из девочек. – Эй, Йозеф! Бери этих двух поросят!

Он уже давал мне указания, господин судья! Стоит пастуху дать слабину – и все, пиши пропало; свиньи тут же садятся ему на голову. Я взял за руку мальчика, а вторая девочка подошла сама. Мы вели их к пограничному знаку, и я думал: интересно, одна это семья или нет? Как будто это имело какое-то значение. Мы... я вел их туда, господин судья, не имея ни малейшего понятия... у меня была инструкция, господин судья... и Верне уже наполовину вышел из-под контроля.

– Хей, ребята! – сказал Верне французским полицейским, когда мы подошли к разделительному знаку. – Забирайте свой мусор.

– Согласно инструкции, – сказал я женщине.

Но она уже не смотрела на меня. Она вообще не смотрела никуда, господин судья, только внутрь. Вот мальчик, тот смотрел. Неприятно, когда тебя так ненавидят, господин судья. Тем более что тогда я еще не вполне понимал, за что именно. Я всего лишь исполнял свой долг. Согласно инструкции.

Французы стали щелкать наручниками, а мы с Верне пошли назад, на свой пост, где у нас еще оставался шнапс и чудесная бернская колбаса на закуску.

– Видал, как этот щенок смотрел? – спросил я Верне, когда мы разлили по стаканчикам. – Небось, французская тюряга похуже нашей будет. И харчи не те.

Верне аж поперхнулся.

– Какая тюряга, Йозеф? Да что они – дураки? Тащить на себе эту падаль десять километров, да еще и по горам? Подумай сам: ты бы потащил?

Я не сразу понял, что он имеет в виду, но тут раздался первый выстрел, а за ним еще два.

Их отвели совсем недалеко – ровно настолько, чтобы не выказывать неуважения к дружественной границе. Когда я вскочил и выглянул из-за камня, там была целая суматоха. Женщина и обе девочки уже лежали на земле. Три выстрела. Зато мальчик боролся отчаянно. Даже на таком расстоянии было видно, как маленькая фигурка наскакивает на полицейских, отлетает, отброшенная ударом, и снова бросается в драку. Видимо, я машинально потянулся за винтовкой, потому что Верне сказал у меня за спиной:

– Брось, Йозеф. Отсюда в такого мальца не попадешь. Да они и сами справятся.

Конечно, они справились сами, господин судья.

Я вернулся туда вечером, один, чтобы никто не видел, как я нарушаю границу. Тела уже закоченели, их было трудно ворочать, хотя и полегче, чем туши в холодильнике. Лицо оказалось склевано только у мальчика. Девочек и женщину застрелили в спину, и оттого они лежали ничком. Он же погиб, сражаясь. Я сложил их в неглубокую расщелину, набросал земли. Обе руки сбил, пока наскреб несколько горсточек. Разве в горах чего накопаешь? А потом завалил камнями – вот уж этого добра там, слава Богу, хватает. Домой возвращался уже в темноте. Но в Лефлоне повсюду глаза. Наверняка кто-нибудь да углядел мою лопату.

С тех пор я думал о них несколько недель, не переставая. Мне не в чем себя упрекнуть, господин судья. Я давал присягу. Я выполнял ее, как честный человек. Я действовал, как положено, согласно инструкции. Я не знал, что веду их на смерть. Не знал! Возможно, если бы знал, то все повернулось бы по-другому. Почему же тогда они сидели у меня в голове, как заноза? Я засыпал, видя перед собой обращенные внутрь глаза той женщины. Меня мучили кошмары. Я просыпался на рассвете от ненавидящего взгляда мальчика. Я ничего не мог с собой поделать. Ничего.

Возможно, все было бы иначе, будь моя фамилия Верне, а не Швайншафер. Человек с моей фамилией не может чувствовать себя плохим. Такую фамилию возможно носить только с гордо поднятой головой. И я всегда ходил с гордо поднятой головой. Я держал себя за хорошего пастуха и честного человека. Честного. Я потому это так часто повторяю, что для меня очень важно знать, что я честный, господин судья. Важнее, чем любому другому. Думаю, там-то и надорвалось что-то, в этом знании... что-то треснуло. Но время все лечит. В конце концов и я успокоился. Отвязались от меня те мертвецы. Пост с перевала я снял, на всякий

случай. Верне, как узнал, так посмотрел косо, но смолчал. А я этот взгляд запомнил. Теперь надо было держать ухо востро. Свинья-баламут явно готовилась вонзить мне клыки в спину при первом же удобном случае.

Короче, я потихонечку приходил в себя. Дурь, она работой выбивается. Вот я и работал. Дровишки на зиму, хозяйство... без жены трудно деревенскому человеку. Тогда, помню, окончательно решил жениться по весне. Ноябрь стоял теплый, хотя заморозки уже подходили, спускались по ночам с горы Корнетт. Тогда-то он и попался моим парням, этот самый Йозеф, о котором вы спрашивали. Привели его ко мне чуть живого. Нет, от холода. Бить я уже после первого раза запретил строго-настрого. Потому как – не по инструкции. И вот стоит он передо мной, зуб на зуб не попадает. Грудь цыплячья, курточка коротенькая, городская, штиблеты на картонном ходу.

– Ты, – говорю, – откуда такой, горемыка?

А он только зубами стучит. Время к ночи подходило, в Мартиньи ехать поздно. Вот я и говорю своим ребятам:

– Вы, – говорю, – идите пока по домам. Спасибо за службу. А нарушителя я сам посторожу. Посидит у меня ночку в сарае, а утречком отвезу с Божьей помощью.

Завел бедолагу домой, в тепло, усадил за стол, налил полстакана грушевого шнапса – пей! Ну выпил он, отогрелся. А теперь, говорю, рассказывай.

А он говорит: – Что я такого могу вам рассказать, чего бы вы не знали?

Умничает, значит. Месяца два назад я бы его за это... а теперь – нет. Теперь мне непременно понять нужно было, кровь из носу.

– Все, – говорю, – рассказывай. С самого начала. Время есть.

Но он молчал, господин судья. Молчал и ни капельки не боялся.

– Ладно, – сказал я тогда. – Не хочешь, как хочешь. Давай тогда посмотрим твои бумажки. Может, они чего расскажут.

И он сразу так напрягся. «Эх, – думаю я про себя. – Чего ж ты напрягаешься-то, глупыш? Как будто я не знаю, что документы у тебя фальшивые».

Бумаженции лежали у него в потертом кожаном бумажнике. Ребята отобрали во время первого обыска. Паспорт был мне незнаком. Я до того видал только наши паспорта да французские.

– Это ж какой страны паспорт? – спрашиваю.

– Бельгия, – говорит. – Паршивое место.

Спокойно так говорит, с облегчением даже. «Нет, – думаю. – Не паспорт тебя беспокоит. Что-то другое».

– Ладно, – говорю, а сам по паспорту читаю. – Эрик ван дер Нимен. Двадцать второго года рождения. Ты, – говорю, – парень, когда в следующий раз решишь чужим паспортом пользоваться, смотри, чтоб хотя бы возраст соответствовал.

Потому что, господин судья, по фотографии там еще можно было обнаружить некоторое сходство, хотя и с очень большой натяж-

кой. Но возраст явно не соответствовал. По паспорту выходило двадцать, а на вид нарушителю никак нельзя было дать меньше тридцати пяти.

Он усмехнулся. – Возраст как раз соответствует. Мне двадцать один год, господин офицер. В феврале будет двадцать два. Хотя, навряд ли.

«Ври, ври, – думаю. – В деревенской полиции тоже не совсем дураки сидят».

Кладу паспорт на стол и начинаю разбирать остальные бумажки: продовольственные карточки, водительские права, справки всякие – и все это добро, представьте себе, на разные имена! На что, – думаю, – этот фальшивый Эрик рассчитывал?

Сижу я, значит, перекладываю бумажки из кучки в кучку, и тут доходит очередь до письма. То есть я сразу не понял, что это письмо. На первый взгляд, оно просто выглядело сложенным в несколько раз листком желтой линованной бумаги, какую иногда используют для всяких анкет или бланков. А на самом деле это конверт оказался такой, самодельный, а в конверте – еще один листик, исписанный очень красивым женским почерком – крупным, округлым, с легким наклоном вправо. И вот, значит, только я за письмо это взялся, так парня прямо как током ударило. Вот оно, откуда напряжение-то взялось! Ага... – думаю.

И говорю ему, строго так говорю: «Ты, – говорю, – Эрик-переросток, лучше сиди тихо, не рыпайся. Я человек терпеливый, но всему есть предел».

И тут вижу, смотрит он на меня очень знакомым взглядом. Из снов моих знакомым. Взглядом того убитого мальчика смотрит.

Честно говоря, я смутился.

– Не надо, – говорю, – на меня так смотреть. Ничего с твоей бумажкой не случится. Получишь ее назад, свою драгоценность...

Разворачиваю осторожно так, потому что на сгибах уже пообтерхалось слегка, и начинаю читать. И понимаю, что письмо это от жены, и что зовут парня не Эрик, а Жозеф, или Йозеф по-нашему, и что лет ему, скорее всего, действительно столько, сколько он говорит. Но все это я понимаю не сразу, господин судья, а только на второй или даже на третий раз, когда строчки уже расплываются у меня в глазах, потому что без слез это письмо не прочитает даже камень. Даже камень, господин судья. Если научить его читать.

Написано это письмо из тюрьмы, которая там почему-то называется лагерем. И она даже не уверена, что письмо дойдет, потому что посылать оттуда нельзя. В смысле, писем нельзя. А посылают оттуда только людей, сажают в поезда и везут на восток, скорее всего, на смерть. Во всяком случае, она так об этом пишет. Попала она туда вместе со своими родителями, которых поехала навестить, не сказав мужу, то есть Йозефу. И за это она особо извиняется, несколько раз, как будто это имеет какое-то значение в такой ситуации... я имею в виду – если все действительно так, как она себе представляет. А потом... извините, господин судья, но дальше рассказывать не годится, потому что там всякие интимности и все такое.

И вот читаю я, а перед глазами у меня стоит та женщина, которую я на смерть отправил. Наверное, она могла бы похожее письмо написать, будь у нее такая возможность. Но у нее не было.

Короче, взял я тот желтый линованный листок, вложил его аккуратненько в конверт и вернул в бумажник. Сначала его, а потом, не торопясь, и все остальное: карточки, справки, водительские права, несколько банкнот. Так и успокоился немного, а иначе не знаю, как бы и говорил. Не положено, чтобы дрожал голос у полицейского, который ведет допрос. Голос должен дрожать у подследственного.

– А где она теперь? – спрашиваю.

Пожимает плечами и продолжает молчать, и глаза у него при этом суше, чем южный склон в июле. Это же сколько надо плакать, чтобы у тебя все слезы кончились! Неудивительно, что парень выглядел на десять лет старше своего возраста.

– Знаешь, Йозеф, – говорю. – Ты ведь мой тезка. Я тоже Йозеф. У меня к тебе просьба. Даже, можно сказать, большая просьба. Объясни мне, почему? Почему? Мне важно знать. Я человек простой. Деревенский полицейский, сам понимаешь, не доктор университета и не министр. Жалованье у меня маленькое, дом – сам видишь... семьи и детей еще не нажил. Даже имя у меня не Бог весть какое, гордиться нечем. Но я честный человек. Это, более-менее, все, что у меня есть. Если и это отнять, то что тогда останется? Понимаешь? Расскажи мне, что можешь, больше не прошу.

Он сначала спросил, что мы с ним намерены делать.

– Завтра отвезу тебя в полицейское управление в Мартиньи, – сказал я. – Тебя вернут во Францию. Такова инструкция.

Он кивнул и начал рассказывать. Про то, как он тут оказался. Про детей, попавших в руки полиции. О том, как сам он сбежал от облавы в районе Аннемаса, спрятавшись в товарном поезде, идущем в Тонон. Как спрыгнул по дороге и шел, не останавливаясь, больше тридцати километров. А потом сразу перешел к своей жене, которая так хотела ребенка, и с того момента говорил только о ней. Я думаю, ему тоже нужно было выговориться, господин судья. Я принес еще шнапса, и мы оба пили, не пьянея. По крайней мере, я не пьянел. А он все говорил и говорил, пока просто не заснул на полуслове. Все-таки тридцать километров по горам в городских штиблетах – это вам не пройтись от двери до камина.

Я уложил его на лавку, укрыл одеялом, а потом допил шнапс и тоже прилег. К тому времени я уже точно знал, что надо делать. И Господь, как всегда, послал подсказку. Нет ничего случайного, об этом известно даже мне, простому пастуху. Бог дал нам слова не для того, чтобы мы дурили друг другу голову, а для того, чтобы говорить с нами на понятном языке. Так мы, к примеру, стали Швайншаферами. Создатель дал нам фамилию, чтобы объяснить, кто мы и для чего топчем эти горы.

Представьте, господин судья, как было бы здорово, если бы это правило работало всегда. Даже тогда, когда имя дается человеком. Тогда все Марии росли бы добродетельными красавицами, а Петеры или Паули – святыми мудрецами. Но – увы... Вот отец назвал

меня Йозефом, потому что я родился одиннадцатым мальчиком, как Йозеф Прекрасный из Священного Писания. И что из этого вышло? – Одна насмешка. Уродливый и тупой свиной пастух, способный только на полицейскую школу, да и то с превеликим трудом. Да, да, поверьте, я знаю, о чем говорю.

Так я и говорил себе: «Йозеф Швайншафер! Фамилия у тебя – от Бога, а имя – от человека».

Ну не глупец ли, господин судья? Смешно ведь, честное слово. Как это может такое быть, чтобы фамилия оттуда, а имя отсюда?

Все – оттуда, все! Вот что я понял в тот ноябрьский вечер, когда допивал бутылку шнапса и глядел на скорчившегося под одеялом юношу преклонных лет. И имя тоже. Ведь, не будь я Йозефом, не выбросили бы меня из родного дома. Не оказался бы я здесь, в этой забытой – людьми, но не Богом! – деревушке. Не понял бы на своей шкуре, каково это – быть гонимым собственными братьями. А значит, не смог бы понять и настоящего Йозефа, который сопел теперь передо мной на лавке, набираясь сил для своего дальнейшего пути. Он и был Йозефом Прекрасным, господин судья, этот парень, и его жена, и мальчик, смотревший на меня с такой ненавистью, и застреленные в спину женщина с двумя девочками. А весь остальной мир был их братьями. Как в Писании. С тем только отличием, что не нашлось никого, кто хотя бы сказал: «Давайте, не будем убивать. Лучше продадим в рабство».

А я... а я получил это имя, чтобы просто оказаться в нужный момент в нужном месте и при этом знать, которая сторона моя, а которая – чужая. Вот и все. Понятно даже для такого тупицы, как я.

Рано утром я разбудил Йозефа, и мы плотно позавтракали. Затем я взял кое-что из одежды и немного еды, запряг казенного конька в казенную телегу, и мы двинулись в путь. До Мартиньи, если не жалеть лошадь, можно доехать за два часа. Но я лошадь жалею – она-то в чем виновата? Поэтому трусили мы аж четыре часа с небольшим. И все четыре часа не промолвили ни словечка. А о чем говорить-то? Все и так ясно. Когда проезжали указатель на Мартиньи, Йозеф удивился: – Вы же говорили, что нам туда?

– Вот что, парень, – сказал я. – В швейцарскую тюрьму тебе никак нельзя. Выдадут гестапо через денек-другой. Я бы отпустил тебя прямо сейчас, но идти тебе некуда. Здесь каждый чужак виден. Не успеешь охнуть, как поймают и отвезут в тот же Мартиньи. Отчего бы тебе не попробовать Италию? До Сент-Бернарского перевала рукой подать. Через несколько часиков доберемся. Что скажешь?

А что он мог сказать? Выхода-то другого все равно не было. Все так же молча мы проехали долину Роны и стали забираться в горы. Я заставил его взять куртку и примерить мои ботинки. С лишней парой носков они пришлись как раз впору.

– Зачем вы это делаете? – спросил он.

Я молча пожал плечами. Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос. Одно было ясно: Пеннинские Альпы это вам не уютный массив Шабле. В штиблетах на картонной подошве сюда лучше не со-

ваться. Эту мысль я и объяснил Йозефу на прощанье. Мы расстались у трактира на перевале. Он пошел в Италию, а я остался выпить шнапса и поглазеть на Монблан. Лошадь нуждалась в отдыхе, так что пришлось там и заночевать.

А через две недели я снова поехал в Мартиньи. На сей раз на заднем сиденье автомобиля и в наручниках. Верне донес инспектору о моем преступном самоуправстве. Дождался-таки своего часа, умник. В полиции не стали раздувать скандала. Просто выперли меня без выходного пособия. Так что остался я без гроша, без дома и без семьи. Одно утешало: мне как раз стукнуло тридцать три года, в точности, как Господу нашему Иисусу. Самое время было начинать новую жизнь.

ГЛАВА VI

Невидимая слежка сводит с ума именно из-за своей невидимости. Уж лучше топать между двумя дюжими амбалами, понурив голову и с руками, связанными за спиной. Там, по крайней мере, все ясно – вот ты, вот они. А тут – другое. Тут ты не только не знаешь, где они – это еще не так страшно, но и не можешь по-настоящему отличить самого себя от собственной паранойи. Случайный прохожий, пассажиры автобуса, кассир на вокзале, проводник в поезде, девушка-цветочница на перроне... твоим врагом и преследователем может оказаться любой из них или даже все сразу. Девушка, продайте цветочек вашему Чарли... Вы, наверное, слепы, как и положено любой порядочной цветочнице из сентиментального чаплинского фильма. Почему же вы следите за мной, при вашей-то слепоте, девушка? Ах да, мы ведь совсем в другом кино... правильно, у нас ведь – триллер... Чаплин не снимал триллеров.

Берл заставил себя поспать в поезде. От Намюра до Цюриха экспресс «Евро-Сити» ковылял семь часов с лишним, зато без пересадок. Спалось плохо, никак не удавалось устроиться в кресле поудобнее, и это тоже следовало отнести за счет паранойи – обычно Берл мог без труда дремать даже стоя. Его все время мучило ощущение, что кто-то лезет к нему в карман или копается в багаже. Хотелось вскочить, сдернуть чемодан с полки, шмякнуть его в проходе об затоптанный пол, заорать благим матом: «Нате, гады, жрите! Нету там ничего, нету!..» Проснувшись, злой и разбитый, он,, прежде всего, проверил чемодан, который оказался нетронутым, как того и следовало ожидать. Со стороны Берл наверняка выглядел смешным со своей идиотской проверкой, и это бесило его дополнительно.

Заталкивая чемодан обратно на полку, он обвел попутчиков вызывающим взглядом, но не нашел никого, с кем можно было бы задраться хоть по какому-нибудь, пусть даже совсем дурацкому поводу. Люди безучастно смотрели в окно, жевали, дремали, клевали носом над книжками и газетами. Никому не было ровным сче-

том никакого дела ни до Берла, ни до его паранойи. Оставалось злиться только на себя, чем Берл и занимался с мазохистским упоением до самого Страсбурга. Там ему полегчало, потому что он вспомнил, что голоден, а в проклятом экспрессе не оказалось ресторана. В итоге до Базеля можно было абсолютно безопасно для душевного здоровья злиться на железнодорожную компанию. В Базеле, воспользовавшись получасовой остановкой, Берл затолкал в себя несколько мерзких вокзальных сосисок и в течение оставшегося до Цюриха часа дороги вволю вымещал свой гнев на уже недосягаемом базельском буфете.

В Цюрих Берл прибыл в плохом настроении. Миновав вокзал, он вышел на площадь. Был переходной час поздних сумерек, когда фонари еще выглядят недостаточно уместно, а небесный свет уже умер, и оттого в душе и на городских улицах особенно тревожно и темно. Вокзал выглядел мрачновато. Его двухъярусный фасад с высокими дугами арок показался Берлу похожим на неприятную маску, типа страшной гримасы – из тех, которыми дети в шутку пугают друг друга, подсвечивая снизу фонариком собственное лицо. На Банхофштрассе Берл нашел гостиницу поприличнее.

– Где тут у вас Юнион-Банк? – спросил он портье, пока тот стучал по клавиатуре, регистрируя нового постояльца.

Молодой портье удивленно поднял брови: – Какое именно отделение Юнион-Банка требуется господину? В Цюрихе их десятки.

– Главное, – хмыкнул Берл. – Самое старое. Там, где злобные гномы хранят свои сокровища в темном подземелье.

Портье немного подумал и улыбнулся: – Если господин имеет в виду здание правления, то это недалеко. В двух шагах ходьбы отсюда. Вот ваш ключ, господин. Приятного пребывания.

Берл поднялся в номер, разделся и лег в постель. Дверь он не стал запирать из принципа, а документы оставил на столе, рядом с открытым чемоданом. Пусть копаются, если хотят. Плевать он хотел и на них, и на паранойю.

* * *

Серое угловатое здание банка утюгом наезжало на перекресток. Берл вошел в холл и остановился, оглядываясь по сторонам. Если не знаешь, к кому обратиться, обращайся к старшему. Если не знаешь, кого искать, ищи главного. Поколебавшись, он решительно направился к сухопарой старухе в остекленной угловой кабинке около лестницы. Более всего старуха походила на беленькую метелку для смахивания пыли с фарфоровых безделушек.

– Доброе утро, госпожа, – Берл поклонился, освещая старушечью кабинку самой яркой из своих улыбок. – Я хотел бы видеть господина директора.

– Доброе утро. На какое время вам назначено, господин...

– Липс... – любезно подсказал Берл. – Доктор Липс. К сожалению, я прибыл без предварительного согласования. Мое дело не терпит отлагательств.

Старуха поджала губы: – Вынуждена извиниться перед господином доктором... – она скорбно помахала своей метелкой в стерильном воздухе. – Господин директор принимает только по предварительной записи. Я могу условно записать вас на следующую пятницу. Возможно, вы предпочитаете, чтобы вам помог кто-нибудь другой? По какому вопросу?

– Золото, уважаемая госпожа, – зловеще прошептал Берл. – Презренный металл в количестве четырехсот унций.

Метелка снова качнулась, уважительно, но непреклонно: – Увы. Не вижу, кто бы мог сейчас этим заняться. Мы проводим аукционы дважды в году. Если вас интересует...

– Меня интересует директор, – перебил ее Берл. – Будьте любезны немедленно доложить вашему начальству, что доктор Липс...

– Что случилось, Ленни? – Голос шел откуда-то сверху, с лестницы.

Берл обернулся. По лестнице спускался крепкого вида пожилой господин в дорогом костюме и шелковом галстуке с блистающей бриллиантовой заколкой. – Здравствуйте, господин Шульц, – с достоинством произнесла метелка, поднимаясь во весь свой немалый рост. – Этот господин хочет видеть директора по поводу золота. Я объяснила ему, что...

– Подождите, Ленни... – Шульц повернулся к Берлу. – Итак, э-э-э...

– Доктор Липс, к вашим услугам... – Берл слегка наклонил голову, пристально вглядываясь в собеседника.

– ...доктор Липс... – ничто не дрогнуло в светлых выцветших глазах. – Очень приятно. Меня зовут Эрнст Шульц. Я заведую здесь отделом золота и нумизматики. Возможно, я могу быть чем-нибудь полезен?

– О! Вас-то мне и надо! – обрадовался Берл, панибратски хлопая господина Шульца по плечу, отчего заведующий отделом покачнулся, а секретаршины брови взлетели до самых корней метелки. – Не думаю, что мой золотой кирпич похож на монету, но антикварную ценность он имеет наверняка. Вы ведь не откажете в коротенькой консультации вашему верному клиенту?

Господин Шульц вздохнул и переглянулся с госпожой Ленни.

«С какими только типами ни приходится иметь дело...» – говорил его скорбный взгляд.

– Ладно, что с вами сделаешь... – сказал он, взглянув на часы. – У меня есть ровно четверть часа. Если такая коротенькая консультация вас устроит...

– Еще как устроит! – восторженно вскричал Берл и широко размахнулся, чтобы еще раз хлопнуть доброго заведующего. На этот раз он целил по спине, но господин Шульц, спасаясь от возможного увечья, уже устремился вверх по лестнице в направлении своего кабинета.

Берл одарил секретаршу красноречивым взглядом – что, мол, съела, старая карга?.. – и последовал за Шульцем, прыгая через две ступеньки. В кабинете Берл, не тратя лишних слов, протянул швейцарцу фотографию слитка.

– Какой же это антиквариат? – лицо Шульца выразило скорее разочарование, чем интерес. – Обычный золотой слиток, каких много. Прусский государственный монетный двор. Тридцать восьмой год. Не думаю, что вы выручите за это намного больше номинальной цены по весу. Мы, к примеру, могли бы дать вам только небольшую премию ввиду... гм... несколько сомнительной исторической ценности.

– Премию? – с энтузиазмом переспросил Берл. – Это сколько же?

Шульц немного помялся: – Ну, скажем, десять тысяч долларов...

Бумажный листок слегка подрагивал в его руке. На запястье заведующего отделом золота и нумизматики виднелась бледная татуировка, четыре латинские буквы: ERST.

– Ничего себе! – презрительно фыркнул Берл, забирая назад фотографию. – Всего десять тысяч премии за нацистское золото! Да вы с ума сошли!

Шульц сдержанно улыбнулся.

– Не горячитесь, молодой человек, – мягко сказал он. – Видите ли, нацистское золото сейчас лежит в банках всего мира, особенно, в банках так называемых победителей. Контрибуции, репарации, конфискации... Для них ваш слиток не представляет вообще никакого интереса. Я даю вам эти дополнительные пять процентов от рыночной стоимости исключительно потому, что в нашем банке таких экспонатов не имеется.

Берл недоверчиво покачал головой:

– Да ладно вам рассказывать! Газеты полны рассказов о нацистском золоте в ваших подвалах.

– Глупости! – презрительно поморщился Шульц. – Меньше всего следует верить газетам. Газеты, молодой человек, пишут сообразно конъюнктуре. Иногда они лгут, иногда не лгут, но и то, и другое происходит по чистой случайности. В нашей же истории правда заключается в том, что Швейцария во время войны была нейтральной страной, и этот момент был выгоден всем – и Гитлеру, и союзникам, и прочим нейтралам. Мировая торговля продолжалась, а поскольку она не могла вестись напрямую, требовались посредники. Думаете, американские компании не торговали с немцами в самый разгар военных действий? Еще как торговали! А чем, по-вашему, Германия могла им платить? Рейхсмарками? Нет ведь, правда? Долларами, фунтами? Это – да, но вот где их было взять, эти доллары с фунтами? Тут-то мы и приходили на помощь обеим сторонам. Швейцарские банки продавали немцам швейцарские франки, только и всего. Продавали за золото. Поэтому к 45-му году в наших подвалах действительно скопилось какое-то количество слитков, подобных вашему. Что тут такого преступного? Но это, к сожалению, не конец истории. Конец заключается в том, что по окончании войны нас же и обвинили. И кто бы, вы думали, это сделал? – Та же Америка, корпорации которой наживались на сделках с нацистами! Мы вынуждены были принять эту вопиющую несправедливость, господин... ээ-э-э...

– Доктор Липс.

– ...извините... доктор Липс. По Вашингтонскому соглашению 46-го года швейцарские банки выплатили 58 миллионов долларов золотом в качестве так называемого добровольного вклада на восстановление Европы. По нынешним ценам это составляет почти полмиллиарда. Нас просто ограбили, молодой человек. Так что ищите нацистское золото в банках Нью-Йорка и Лондона, Парижа и Брюсселя. В подвалах Юнион-Банка его нет.

Шульц взглянул на часы и встал, заканчивая аудиенцию. Берл пожал протянутую руку.

– Вот уж не думал увидеть татуировку на руке цюрихского банкира, – сказал он, подмигивая, в отчаянной попытке еще немного продлить разговор. – Грешки молодости, признайтесь? ERST... аббревиатура какой-нибудь студенческой корпорации?

Банкир улыбнулся. Он выглядел абсолютно непробиваемым, как надежный швейцарский сейф. – Война, молодой человек, война... – Шульц снова посмотрел на часы. – Я, видите ли, сирота. Немец. Отец убит на фронте. Мать погибла во время варварских русских бомбежек. Видимо, бедняжка предчувствовала свою судьбу и пометила таким образом мое запястье – чтобы знали имя, если с ней что-нибудь случится. Хотела, наверное, написать «Эрнст», но уж больно мала ручка у новорожденного младенца... По надписи меня и опознали, когда вытащили из-под развалин. А потом – детский дом, приемные родители... В общем, печальная история, господин Липс. Липс... Липс... звучит как-то знакомо...

Берл ждал, надеясь, что имя покойного брюссельского чиновника вызовет у Шульца какие-нибудь полезные ассоциации.

– Что-то из области философии?.. – банкир пощелкал пальцами. – Нет, не припоминаю. Извините, доктор, мне и в самом деле нужно уходить. Я и так уделил вам массу времени на абсолютно бесплатную консультацию. Думаю, вы теперь не вправе обвинять Юнион-Банк в недостаточном внимании к своим клиентам.

Он ждал, стоя у открытой двери. Берл поклонился и вышел. Старушенция под лестницей, безошибочно определив его разочарование, торжествующе качнула беленькой метелкой и радостно улыбнулась.

– Бабки-ежки долго не живут, – мстительно прошипел Берл по-русски, проходя мимо.

Вредная старуха хихикнула. – Я прекрасно вас поняла, господин Липс, – прокричала она ему в спину. – Сейчас у нас много русских клиентов. Я тоже желаю вам долгих лет жизни!

Берл вышел на Банхофштрассе и остановился. Куда теперь? Он пожал плечами и двинулся в сторону реки, чуть не сбив первым же шагом случайную велосипедистку. Давно ему не приходилось пребывать в подобной растерянности. А собственно говоря, почему? На что он рассчитывал, сунув наугад руку в огромный стог сена? Что она сразу же наткнется на иголку? Липс собирался звонить кому-то в Цюрих, в Юнион-Банк. Этим кем-то мог быть кто угодно, начиная с привратника и кончая председателем совета директоров. Кроме того, нельзя исключать и другую возможность: Липс просто

обвел его вокруг пальца, назвал первые попавшиеся координаты, а на самом деле источник находится где-то совсем в другом месте, может быть, даже и не в Швейцарии вовсе... Черт!

Берл шел по аккуратным улицам, не разбирая дороги и не глядя по сторонам, погруженный в невеселую процедуру тщательнейшего, детальнейшего разбора последних дней. А вдруг отыщется что-то, какая-нибудь мелкая подсказочка, прежде не замеченная подробность, тоненький лучик, путеводная звездочка, крошки на дороге в логово Людоеда? Он садился на парковые скамейки, входил в бары, рассеянно изучал ресторанные меню, стоял перед газетными киосками, тупо уставившись в цветные глянцевые обложки с голыми красавицами. И – ничего. Нет, помнил-то он все, до мельчайшей черточки, до последнего сказанного слова, до каждой случайной ужимки или гримасы собеседника. Но в этом бесконечном море не находилось ничего, что могло бы теперь помочь ему в его поисках. Более того, в какой-то момент Берла начало преследовать чувство, что за время своих бесцельных скитаний по городу он скорее что-то потерял, нежели приобрел.

Вернувшись в гостиницу и забирая ключ, он даже похлопал себя по карманам плаща, проверяя, все ли на месте. Вид у него при этом был настолько растерянный, что знакомый портье участливо кивнул и спросил:

– Господин что-то потерял?

Берл поднял на него отсутствующий взгляд.

– Потерял?.. – переспросил он. – Потерял?.. Я?.. Что?..

И вдруг понял – что. Он потерял слежку. За ним больше никто не следил. В этом не приходилось сомневаться – Берл слишком доверял своему тонкому, годами выработанному и многократно проверенному инстинкту. Он потерял контакт, невидимый, неуловимый, никак им самим не контролируемый, но все-таки контакт – бесценную ниточку, вившуюся вокруг него, последнюю надежду за что-либо ухватиться. Очевидно, поняв по его идиотскому поведению, что он блуждает наугад, в темной неизвестности, что угрозы с этой стороны ждать не приходится, они просто оставили его в покое, не без оснований посчитав, что так будет намного безопаснее. Теперь он был один. Один, в полнейшем, беспросветном, безвыходном тупике.

* * *

В Дюссельдорф Берл прилетел утренним рейсом. Как сказал Мудрец, в Дюссельдорф забежать тоже не вредно. Вот Берл и забежал, на многое при этом не рассчитывая. Слежка за ним так и не возобновилась; после встречи с Шульцем Берл чувствовал себя гулко и просторно, как одинокий дебил, забытый в здании невесть куда переехавшей психбольницы. Он недооценил противника, хотя тот раз за разом демонстрировал свой серьезный уровень. Даже мелкая рыбешка не пойдет на многократно изжеванную приманку, а уж такие акулы и подавно. На что он, спраши-

вается, рассчитывал, размахивая своей дурацкой фотографией? Один разок это еще могло проскочить, с чайником типа покойного Янива Лефена. А дальше Берл ехал просто на неимоверном везении: сначала Липс недопонял Янива, а затем последовала чрезмерная по своей силе реакция главных противников. Уж онито недооценкой врага не страдали: предпочли нанести мгновенный сокрушительный удар – так, на всякий случай. Мол, сначала прибьем, а потом уже посмотрим. И прибили. А как стали разбираться в деталях, тут-то и обнаружилось, что противник у них несерьезный, мягко говоря. Ничтожный, прямо сказать, противник. И нет у него, у противника, за душой ровным счетом ничего, информации никакой, да и слитка-то, похоже, не имеется. Так, одна фотография. Мелкий мошенник, только и всего. Зачем за таким гоняться, ноги топтать? Сам сдохнет.

Теперь-то Берл и рад был бы предъявить им доказательства покрепче, приманку повкуснее пресловутой фотографии – да только поди их сыщи... Разве что встать посреди вокзальной площади Цюриха, поднять слиток над головой, да завопить благим матом: «Эй вы, акулье племя, збейдовы приятели! Налетай по одному, я из вас стейки резать буду!» Ага... тут-то тебя точно в дурдом отправят, вместе со слитком. Вот и получалось, что единственным местом, где еще имело смысл предъявить золото вживую, было то самое дюссельдорфское турагентство, куда звонил из волшебного Дааба несчастный светловолосый Гюнтер. Это был последний шанс, и следовало отработать его по полной программе, не упуская мелочей, во всеоружии тщательной подготовки – подобно тому, как отработали свое брюссельское задание невидимые берловы противники.

Поэтому Берл решил не торопиться. Он заказал все необходимое по телефону еще из Цюриха, а затем провел следующие два дня в принципиальном и преднамеренном бездействии, слоняясь по Нидердорфу, фланируя вдоль озера или просто валяясь на кровати в гостиничном номере. Ему требовалось прийти в себя, забыть про последние неудачи, что называется, обнулить счетчик. Нет лучшего лекарства для стонущих нервов, чем обыкновенная скука. На самом-то деле, ожидание было скорее вынужденным – на доставку нужных ему вещей требовалось время, но отчего бы заодно не поправить душевное здоровье? И скука не подвела – в зал прибытия Дюссельдорфского аэропорта Берл выкатился, сияя улыбкой, как новенький десятицентовик. Теперь он чувствовал себя готовым, не моргнув глазом, принять на душу любые грядущие разочарования.

Например, условленный код в камере хранения мог не сработать... или, скажем, ячейка могла быть пустой, без ключей от машины... или, в конце концов, сама машина могла оказаться вскрытой и обчищенной на долгосрочной стоянке каким-нибудь свободолюбивым албанцем, не желающим жить на унизительное, хотя и жирное германское пособие. Все могло произойти, но ко всему был готов обновленный берлов организм, надежно закаленный

спасительной скукой. Возможно, именно поэтому все как раз получилось тип-топ: и камера хранения, и код, и машина, и лицо, и одежда, и мысли – все прекрасно, все в целости и сохранности.

Следуя из аэропорта в центр города, Берл с удовольствием крутил головой по сторонам. Ему нравился Дюссельдорф – очевидно, взаимно, потому что ни разу берловы приезды сюда не заканчивались неудачно. Сначала он полагал, что главную прелесть вестфальской столице придает Рейн – широкий и спокойный в северном своем течении, как кряжистый пожилой грузчик со странно мечтательными глазами. Но потом Берл понял, что ошибался – ведь на берегах Рейна стоят многие города; отчего же он выделяет именно Дюссельдорф, а не Кельн или Дуйсбург, Кобленц или Роттердам? Очарование Дюссельдорфа заключалось в его полной гармонии с рекой: город был в точности таким же, как и сам Рейн – широкоплечим мечтательным работягой.

Туристическое агентство «Колумб» размещалось в маленьком переулке за Кенигсаллеей, и Берлу пришлось немало покружить, прежде чем он подобрался поближе и припарковал машину. Ограничения на радиус действия имеются у каждого жучка – даже у живого, что уж говорить об электронных. Повесив на плечо сумку, Берл танцующим шагом двинулся в направлении своего последнего шанса. Ему казалось, что он летит над землей.

В крошечной комнатке располагался один-единственный стол, окруженный буклетными стендами и тумбами с офисной аппаратурой. С потолка свисали большие фанерные картинки с изображениями райских уголков планеты Земля. Картинки слегка покачивались на сквознячке. Берл поднырнул под Мальорку, удачно уклонился от Новой Зеландии, но коварные Гавайи все-таки настигли его у самого стола. Берл охнул с преувеличенной досадой и бухнулся в кресло, потирая ушибленную макушку.

– Гонолулу! – с противоположной стороны стола на него, сияя дешевой вставной челюстью, взирал наиприятнейший старичок.

– Что? – не понял Берл.

– Гонолулу, – повторил старичок. – В нашем агентстве выбор цели путешествия предоставляется самой судьбе. Мы только развешиваем рекламные щиты, а дальше дело за клиентами. В какую фанерку лбом стукаются, туда и едут... – он хихикнул. – На первый взгляд, такой способ кажется экстравагантным, не так ли? Но поверьте моему многолетнему опыту, он ни разу еще никого не разочаровывал! Вам, например, рекомендуется Гонолулу.

Старичок рассмеялся дробным смешком, похожим на завершающее журчание сливного бачка.

Берл задумчиво хмыкнул. – Это что, обязательно?

– Что вы, что вы! – замахал руками турагент. – Конечно, нет. Только рекомендация. Немцы, знаете ли, любят порядок и заранее утвержденный план.

Он наклонился над столом и заговорщицки подмигнул:

– Но если уж немец решает сойти с ума, то тут только держись... тут – только фанерки...

– Ага, – понимающе кивнул Берл и сунул руку в сумку, стоящую у его ног на полу. – Значит, Гонолулу. Что ж, Гонолулу, так Гонолулу... Гюнтера помнишь, старый козел? – И одновременно с последней фразой он с размаху грохнул об стол тяжелый золотой слиток.

Старик дернулся, как от удара током и принялся стучать челюстями. Он был в шоке, в сильнейшем потрясении. Берл улыбнулся. Бинго! Он рассчитывал именно на шок, вызванный лобовой и абсолютно неожиданной атакой. И расчет оправдался, оправдался настолько, что Берл даже испугался, как бы старик не окочурился от инфаркта прямо здесь, за столом, тем самым оборвав драгоценную ниточку.

– Вижу, помнишь... – сказал он успокаивающе, аккуратно собирая рассыпавшиеся карандаши. – Да ты не переживай так, дедухан. Я ж без претензий, честное слово... Ты бы водички попил, что ли...

Турагент благодарно закивал и потянулся к стакану с рыжеватой жидкостью.

– Тыквенный сок?.. – участливо спросил Берл. – Ну как же, как же... да ты не удивляйся, мой дедка тоже такой хлещет. Ты, главное, пей, поправляйся.

Он нагнулся за упавшим карандашом, а по дороге незаметно просунул руку под стол, поближе к телефону и приклеил жучка. Вот, в общем-то и все, можно уходить. Старик судорожно глотал, барабаня об стакан зубами.

– Какой-то ты стал молчаливый, а, юный барабанщик? – ласково попенял ему Берл. – Давай сделаем так. Я сейчас пойду к себе, погуляю до завтра, пивка попью... А с утречка забегу снова, договорились? А ты тут пока перетри это дело с кем надо. Когда дар речи обретешь. Идет?

Старик молчал, выпучив глаза на золотой брусок. По поверхности стола от него бежали во все стороны мелкие трещинки; столешница была безнадежно испорчена. Берл встал, небрежно бросил слиток назад в сумку и прошел к выходу, едва избежав столкновения с Мальдивскими островами. Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся.

– Знаешь что, бижу? У тебя тут полный набор всяких раев – и гавайский, и синайский, и гаитянский, а самого главного не хватает. Повесь тут еще одну фанерку, с облаками, и напиши на ней только одно слово: Рай. Понял? Рай и все тут. Если бы Гюнтер сразу об такую табличку стукнулся, то вполне мог бы сэкономить на билете в Дааб. Разве не так?

СВИДЕТЕЛЬ №6

В тот год мне исполнилось пятнадцать лет, и я впервые в жизни влюбился по-настоящему. Во время рождественских каникул мы с отцом поехали кататься на лыжах в район Юнгфрау, а мать с сестрами остались в Цюрихе. Понятно, что девчонки протестовали, осо-

бенно старшая, Труди, она вообще вредина еще та. Но с мамой особо не поспоришь. Мама решила, что нам с отцом полезно пообщаться с глазу на глаз. Она так и сказала: – У мальчика иногда возникает необходимость пообщаться с отцом с глазу на глаз.

Понятия не имею, откуда она это выкопала, господин судья. Наверное, из бесчисленных благотворительных кружков и общественных комитетов, которыми была заполнена ее жизнь под самую завязку. А мы с отцом и не спорили. Он преподавал в университете, так что каникулы распространялись и на него тоже. В общем, все сложилось, как нельзя лучше.

Правда, осуществить мамино указание мы за эту неделю так и не успели. В поезде по дороге в Гриндельвальд, пока отец мирно кемарил у окна, я познакомился с девочкой по имени Марго, своей ровесницей, которая, по славному стечению обстоятельств, направлялась из Цюриха туда же, на Юнгфрау, причем в тот же самый отель, что и мы. Это обстоятельство немало позабавило нас и помогло счастливо миновать неизбежную неловкость, обычно возникающую в первые минуты знакомства. Впрочем, на этом совпадения не закончились: вскоре выяснилось, что ее мама прекрасно знает мою, и что, скорее всего, они просто пользовались одним и тем же турагентом – некоей третьей дамой, состоявшей с ними в одном благотворительном комитете.

Марго многозначительно сообщила мне, что, согласно ее опыту, в первый день заезда гостиницы всегда устраивают вечеринку, и я немедленно предложил ей свою компанию. Предложение было благосклонно принято. Дальше события развивались более чем стремительно. Курортный оркестрик, исполнявший модную тогда латинскую музыку, даже не успел повторить на бис знаменитую румбу «Эль Манисеро», а мы уже исступленно целовались в темном углу на балконе. Надо ли говорить, что во все остальные дни и вечера я оказывался с глазу на глаз со своим родителем только тогда, когда он уже крепко спал в нашем номере. Неделя прошла просто замечательно.

С утра мы катались на лыжах. Скажу, не хвастая, – я всегда был хорошим спортсменом, а уж в пятнадцать лет – тем более. Даже отец ахал, глядя на мои головокружительные трюки... что уж говорить о моей прекрасной возлюбленной. Она в ужасе закрывала глаза, и сердце мое трепетало в такт трепету ее пушистых, сверкающих инеем ресниц. Вечерами взрослые играли в канасту перед камином, а мы с Марго успешно прятались по темным углам. Под конец недели, устав от поцелуев, мы перешли к стадии клятв. Судя по клятвам, нам предстояло прекрасное совместное будущее. Правда, сначала надо было закончить школу и поступить в университет. Но что значили ничтожные полтора года по сравнению с силой вечной любви!

В Цюрихе, однако, все предстало несколько иначе. Повседневная жизнь – как налет сажи на сияющей бесконечности любви. На следующей неделе после возвращения у нас не получилось встретиться ни разу. И все из-за мамы. Ей потребовалась моя помощь для какого-то очередного благотворительного проекта, а спорить с

мамой, как я уже говорил, было совершенно бесполезно. Даже вечность не являлась для нее аргументом, заслуживающим внимания. На все про все у нее находился один-единственный довод, который всегда произносился тоном, не допускающим возражений.

– Как вы не понимаете? – говорила мама. – Вокруг нас идет война! Нельзя же быть такими свиньями!

Ха! Свиньями! При чем тут свинство? Да, вокруг шла война. Но ведь она шла именно «вокруг»! Швейцария, слава Богу, в войне не участвовала. Конечно, было жаль погибших людей... газеты рассказывали всякие ужасы о концлагерях и об истреблении евреев... но все это происходило как бы только в газетах, если вы понимаете, что я хочу сказать. В газетах, а не по-настоящему. Эту войну можно было отложить в сторону за утренним кофе и забыть или просто выбросить в корзину; ее можно было смять, свернуть в трубку и весело шлепнуть ею зазевавшегося одноклассника на школьной перемене. От нее оставался только серый налет типографского свинца на пальцах. Серый, легко смываемый налет, и все. Точка.

Впрочем, предполагалось, что войну можно почувствовать еще и по нормированию продуктов. К примеру, стало труднее покупать кофе, бобы и другие вещи. Но поскольку закупками занималась мама, то трудно было ожидать понимания этой проблемы от меня или от Труди, я уж не говорю про младшую пигалицу, которая вообще не помнила другого состояния дел. В общем, господин судья, я прекрасно обходился без всякой войны. Я не собирался впускать ее в мою жизнь и в дальнейшем, особенно сейчас, когда появилась Марго. Наличие Марго придавало особый смысл всему, что я знал до этого; все вещи и предметы словно осветились с новых, совершенно неожиданных углов, как будто эта девочка внесла в мир несколько дополнительных солнц. Война! Ха! При чем тут война?

Но мама упорно гнула свою линию. Надо сказать, господин судья, что и до того января она вынуждала меня кое-чем поступаться. Дело в том, что в страну постоянно просачивались беженцы, нарушая тем самым наш нейтральный статус. Большую часть справедливо отсылали назад, но некоторые ухитрялись остаться, не в последнюю очередь благодаря таким, как мама. Я имею в виду все эти ее комитеты. Они просто заставляли правительство заниматься этим дурацким вопросом. Вообще, мало того, что нарушители границы тащили войну в нашу страну, так они принесли ее еще и за наш обеденный стол. Родители постоянно спорили на эту тему, вплоть до ссоры.

– Дурацкая петиция! – сердито говорил отец, отбрасывая газету. – Чего вы требуете от министра внутренних дел? Ты представляешь себе, какой поток хлынет сюда, если открыть границу для этих несчастных?

– Вот именно – для несчастных! – возражала мама. – Для несчастных людей, которые иначе обречены на смерть! Разве помочь им – не моральный долг любого человека?

– О, Господи! – стонал отец. – Да мир полон несчастными людьми. В Африке мрут от голода, как мухи! Что ж ты не едешь

туда? Мы маленькая страна и не можем спасти весь мир. Отчего ты занимаешься именно этими беднягами?

– Африканцы не осаждают наши границы, – твердо говорила мама. – А эти бедняги, как ты их называешь, между прочим, евреи, как и ты.

– Ах вот как! – ядовито вскидывался отец. – Значит, ты спасаешь их только оттого, что они евреи? Меня просто тошнит от твоего расизма! Я не еврей, я – швейцарец! Если уж помогать, то...

– А меня тошнит от тебя! – кричала мама, перебивая его, и швыряла на стол поварешку. Поварешка прыгала, разбрызгивая суп по идеально белой скатерти, но мама этого уже не видела, потому что убегала из столовой, хлопнув по дороге дверью.

Отец кричал ей вслед: – А работой ты их тоже обеспечишь? – и, не дождавшись ответа, принимался сердито прихлебывать суп из фарфоровой тарелки.

Понятно, что я в этих ссорах всегда принимал отцовскую сторону, хотя и остерегался высказываться. Зачем спорить с мамой? Ее все равно было невозможно ни в чем убедить. Она просто не слышала логических доводов. «Нельзя же быть такими свиньями!» – слышали такое?

Итак, часть беженцев все-таки оставалась в стране. Для таких правительство построило рабочие лагеря, чтобы дать им возможность прокормиться собственным трудом. Мама постоянно ездила туда, отвозя беженцам еду и одежду. Но и этого ей показалось мало. В один прекрасный день, вернувшись домой из школы, я обнаружил в гостиной четверых оборванных, дурно пахнущих людей. Мама приволокла их прямо из лагеря в наш дом – «отдохнуть несколько деньков», как она выразилась. А поскольку разместить их было негде, то меня вынудили делить мою комнату с одним таким оборванцем. Надо ли говорить, что все это было в высшей степени неудобно! На счастье, администрация лагерей отпускала беженцев не более чем на три дня, так что, в итоге, кошмар закончился – на этот раз, потому что время от времени мама повторяла свою совершенно неуместную выходку.

Поэтому я смело могу сказать, что и до того января война задела меня самым грубым и непосредственным образом. Ах да, извините, господин судья. Я говорю «до того января», как будто всем должно быть понятно, до какого именно. Просто для меня лично январь 44-го года навсегда остался «тем январем». Или «тем самым январем». Гранью между... чем-то и чем-то, скажем так. Сразу после Нового Года мама сказала, что из «Красного Креста» получено извещение о вагонах с людьми, которые должны проследовать через Цюрих в течение месяца. И в связи с этим маминому комитету предлагается организовать раздачу горячего кофе и одеял. И поэтому маме потребуется моя помощь.

– А при чем тут вы? – спросил отец. – В поездах для раздачи кофе существуют проводники. Когда, наконец, в этом мире каждый начнет исполнять свои непосредственные обязанности? По крайней мере, те, за которые он получает зарплату?

Последние два вопроса папа произнес в пространство, поскольку ответ на них мог дать только Всевышний. Мама вздохнула и терпеливо объяснила, что речь идет о перевозке людей из Италии в Германию. И что людей этих повезут в грузовых вагонах. И что «проводники» в этих вагонах раздают не кофе, а разве что пули.

– Глупости! – сказал отец. – Я просто не могу в это поверить. Мы нейтральная страна. Через нашу территорию не может следовать транспорт с заключенными.

Мама усмехнулась и заговорила уже менее терпеливо. Сначала она напомнила папе о том, что через наш Сент-Готтардский перевал из Германии в Италию в течение всех этих лет шли и продолжают идти грузовые поезда с углем. О том, что с сентября, с того момента, как Гитлер оккупировал Италию, он вывозит оттуда целые заводы. И не только заводы. Разве не писали газеты еще в начале ноября о первом эшелоне с депортированными римскими евреями?

– Писали, – сказал отец. – Но я опять же не понимаю, при чем тут Швейцария? Почему тебе вечно хочется замешать нас в чужую кашу? Заводы, оружие и войска следуют через Австрию. Через Бреннерский перевал. Это всем известно. А уголь... что ж, договор о перевозках угля заключен задолго до этой войны... даже, если мне не изменяет память, еще до предыдущей. А договоры надо соблюдать.

Мама всплеснула руками.

– Скажи мне, ты всю жизнь так и проживешь в своем воображаемом мире? Перевал Бреннер закрыт, завален снегом уже несколько недель. Его регулярно бомбят американцы. Неужели ты думаешь, что при этом сент-готтардские вагоны из-под угля возвращаются назад в Германию пустыми?

– Не верю, – упрямо сказал отец. – И не поверю, пока не увижу своими глазами. Даже газеты врут, но твое обвинение настолько чудовищно, что о нем не пишут и в самой желтой газетенке. Это было бы слишком опасно для нашего нейтрального статуса.

Я, как всегда, в споре не участвовал и, как всегда, был целиком на стороне отца. Правда, на этот раз чувствовался какой-то надлом в его непримиримом упрямстве, какая-то глубоко загнанная неуверенность, которую он ощущал и сам, и это сердило его еще больше. Я думаю, что мама тоже знала об этом, потому что, в противоположность обычным ссорам, она не швыряла на стол поварешку и не хлопала дверью, а напротив, становилась все грустнее и грустнее с каждой сказанной фразой.

В конце концов, отец замолчал, раздраженно потеребил салфетку, и сказал, воздев вверх плечо, наподобие обиженного ребенка:

– Аа-а... что тебе говорить... Все равно ведь сделаешь по-своему! Что у нас на второе?

Моя участь была решена. Перечить матери в одиночку я бы не осмелился никогда, в особенности, сразу после того чудесного отдыха, который она устроила нам на Юнгфрау. Теперь приходилось смириться с потерей времени и скукой дурацкой благотворитель-

ности. Знал бы я, какой потрясающий сюрприз ожидает меня на первом же собрании!

Собрание проходило в здании гимназии, и мама сказала, что мы обязательно должны пойти вместе, потому что там будет инструктаж, и мне надо внимательно все послушать, чтобы потом не было неприятностей. И мы пошли, и угадайте, кого я там увидел? – Марго! Да, да, Марго! Как я уже говорил, наши матери занимались благотворительностью в одном и том же комитете, но мне как-то не пришло в голову связать предстоящую скучную работу с возможностью встретить Марго. Зато теперь все волшебным образом изменилось. Мы сидели рядом на этом дурацком собрании и, понятное дело, не слышали ничего, полностью поглощенные тем, чтобы как можно незаметнее коснуться друг дружки бедрами, коленями или локтями. На наше счастье, в зале было довольно тесно. Смешно сказать, но мне хотелось, чтобы собрание длилось вечно. Довольно странное чувство, не правда ли? Никогда в жизни мне еще не приходилось испытывать столь большую тягу к общественным мероприятиям.

Думаю, мама прекрасно понимала, что с нами происходит. Во всяком случае, она не особо дергала меня вопросами, потому что все равно я не разобрал бы ни слова. Я был просто оглушен близостью Марго, ее запахом, ее рукой, как будто невзначай дотрагивающейся до моей руки. Если бы дело происходило летом, то любая муха, осмелившаяся пролететь между нами, была бы на месте убита электрическим разрядом. Но в Цюрихе стоял январь, все мухи спали между двойными окнами, да я и сам соображал не больше мухи, бессмысленно качая головой на что-то, сказанное мамой.

– Ну как хочешь, – насмешливо сказала мама, пожимая плечами. – Я-то думала, что ты хочешь быть с Марго с одной команде...

Заветное слово пробило ватный занавес моего счастливого отупения. – Что ты сказала? – переспросил я.

– Надо разделиться на команды по четыре человека, – повторила мама. – Если хочешь, то мы могли бы объединиться с Марго и ее матерью.

Хотел ли я! Волшебная сказка продолжалась!

Следующие несколько дней мама посвятила добыванию продуктов. Я участвовал в этом процессе в качестве носильщика. Поскольку некоторые продукты были нормированы, пришлось основательно побегать из дома с дом, пока мы не набрали достаточного количества кофе, фасоли и овощей для супа. Заодно брали и старые одеяла. Отец скептически качал головой, глядя на нашу суету. Он до самого конца отказывался верить в депортацию людей через Сент-Готтардский перевал, через нейтральную Швейцарию. Как выяснилось, на инструктаже говорили о том, что в вагонах, помимо евреев, могут оказаться цыгане и даже обычные итальянцы.

– А итальянцев-то за что? – насмешливо спросил отец и осекся на полуслове. Мама только горько усмехнулась.

– Смейся, смейся... – сказал отец обиженно. – Я уверен, никаких поездов нет и в помине. Только зря продукты переводите. Тьфу!..

Наконец, стала известна точная дата. Я сейчас не помню, когда именно, что-то посередине недели, очень неудобно из-за школы. Мы вышли из дома уже в темноте. Январь. Погода стояла премерзкая – сыро и холодно. В войну мы ужасно страдали от частых перебоев с электричеством, и в тот вечер тоже. Фонари на улице не горели, а уж о трамвае и говорить не приходилось. На счастье, мы жили тогда недалеко от вокзала. Суп, кофе и одеяла должны были привезти на грузовике откуда-то из одного места, по-моему, из Общинного Центра. Так что мы с мамой шли налегке, если не считать керосиновых ламп и противогазов. Понятия не имею, зачем нам пришлось тащить с собой еще и противогазы, потому что в итоге никто ими так и не воспользовался. Наверное, на инструктаже что-то объясняли, но я прослушал. Думаю, боялись заразиться. Кто его знает, какие там могли оказаться болезни.

Около Юнион-Банка мы повернули на Банхофштрассе и по ней вышли к площади. Там было немного света – вокзал освещался несколькими газовыми фонарями, хотя и очень скупо. Помню, что его двухъярусный фасад с высокими дугами арок показался мне похожим на неприятную маску. Знаете, дети иногда, чтобы в шутку напугать друг друга, корчат страшные гримасы, в полной темноте подсвечивая снизу фонариком собственное лицо. Так вот, на фасаде вокзала застыла точно такая гримаса. Думаю, что именно в этот момент я почувствовал, что не испытываю никакой радости от предстоящей встречи с Марго. Это удивило меня, потому что накануне я строил далеко идущие планы, представляя, как в общей суматохе мы незаметно улизнем в какой-нибудь укромный уголок и там уже дадим волю своим рукам и губам. Я попытался вернуть себе нужное настроение, представив маленькую твердую грудь Марго под собственной ладонью, и не смог. Наверное, на меня подействовало мамино молчание или промозглая январская темнота, или эта дурацкая сумка с противогазом, болтающаяся на боку.

Мы пришли как раз вовремя. Внутри вокзала представительница «Красного Креста» собрала всех для последних наставлений. Я увидел Марго и помахал ей рукой. Она помахала в ответ. Мы даже не подошли друг к другу, господин судья. Вернее, подошли, но уже потом, при выходе на платформу. Как никак, мы были в одной команде. Команд всего набралось десять-пятнадцать, судя по общему количеству людей.

– Напоминаю правила, – сказала представительница. – Никаких разговоров, даже между собой. Ни звука. Никаких попыток общения с... гм... с пассажирами. Ни жестов, ни улыбок, ни кивков, ничего. Если будут нарушения, то нам просто запретят помогать им в дальнейшем. Пожалуйста, проявите максимальную ответственность.

Она говорила, а я стоял рядом с мамой, и больше всего на свете мне не хотелось выходить из светлого и теплого зала. Выходить наружу, в сырость и темноту, к чужим людям, тянущим к нам свои страшные язвы и болячки, от которых может не спасти даже противогаз. Помню, что в какой-то момент я даже подумал: не убежать ли домой? Или уйти в туалет, сославшись на боли в желудке, и пе-

ресидеть там весь этот бред? Мне было не то что страшно, а как-то ужасно неприятно. Но тут представительница сказала, что поезд еще не прибыл, и я почувствовал некоторое облегчение.

«Может быть, они так и не приедут?» – подумал я и представил себе отца, торжествующе бросающего на стол газету. То-то он будет доволен, если все так и случится!

– Вот и все, – сказала представительница. – Теперь берите посуду и распределяйтесь по станциям.

Мы взяли мешки со звякающими внутри металлическими кружками и вышли в темень. На платформе, распределенные по всей ее длине на равном расстоянии, уже стояли большие термосы с кофе и супом. Это и были «станции». Рядом с термосами высились аккуратные стопки байковых одеял. Наша станция оказалась где-то посередине. Темнота стояла кромешная, и принесенных нами фонарей едва хватало на то, чтобы высветить крышки термосов и черпаки. Теперь нашей четверке предстояло распределиться по цепочке от термосов до вагона. До еще не подошедшего вагона. Может, они все-таки не приедут?

– Кто хочет разливать? – спросила мама шепотом.

– Я! – поспешно сказала Марго, и я подосадовал на свою медлительность. Нужно было реагировать раньше. Теперь мне доставалось место ближе к краю платформы; я снова представил себе тянущиеся из вагонных окон узловатые руки, и меня передернуло.

– Хорошо, – сказала мама. – Ты, Марго, разливаешь; следующая – твоя мама. Затем – я.

Сердце мое дернулось. – Ты – последний, – сказала мама, обращаясь ко мне. Я только открыл рот, чтобы возразить, но снова опоздал – кто-то бежал по платформе, отчетливо стуча каблуками и приостанавливаясь у каждой «станции». Это оказалась женщина из «Красного Креста». Поравнявшись с нами, она прошипела: – Едут! Едут! Приготовиться! Помните: ни слова! Ни слова! – и помчалась дальше. Я повернул голову и увидел движущийся к нам свет тусклого прожектора... затем мимо проползла темная громада паровоза, и наконец, замелькали просветы в сплошной стене глухих товарных вагонов.

– Где же пассажирские вагоны? – подумал я. – Видимо, это какой-то другой поезд. Они-таки не приехали!

– Они не приехали, мама! Папа был прав!

– Шш-ш! – шикнула на меня мать, а за ней – паровоз, испустивший облако пара где-то впереди. Лязгнули буфера, поезд встал. И тут, в наступившей тишине, я услышал. Они были там, внутри. От них шел низкий, ровный звук, смесь ропота, вздохов, стонов, приглушенных голосов. Этот звук ворочался в вагоне, словно громадный мохнатый зверь... мохнатый и вонючий... они нестерпимо воняли, господин судья! Просто нестерпимо.

«Как же я буду подавать им кружки? – подумал я. – Окон-то нету. Наверное, все-таки откроют какое-нибудь маленькое окошко».

Но никто ничего не открывал. Ропот продолжался на прежней тяжелой ноте, а мы молча ждали возле своей «станции», ждали

дальнейших указаний. Наши фонари стояли на асфальте платформы, освещая термосы и ноги Марго в высоких отороченных мехом сапожках и дальше – такие же сапожки ее матери, и знакомые ботики моей мамы, и мои ботинки, и гетры с заправленными в них брюками, и глухую стенку вагона, за которой ворочался зверь.

И снова в темноте родился звук шагов. Он шел со стороны вокзала, уверенный звук хорошо подкованных сапог, совсем не похожий на прежнюю суматошную дробь женщины из «Красного Креста». Несколько человек двигались по направлению к нам, твердо ставя каблуки на асфальт, и липкий скрип голенищ тенью сопровождал эти четкие отпечатки. Они были в военной форме германской армии, с автоматами на плече. Я скорее угадал, чем увидел это в скупом свете керосиновых фонарей. Впрочем, сапоги можно было разглядеть во всех деталях, а по ним уже легко восстанавливалось остальное. Они прошли мимо, мелькая беспорядочными зайчиками ручных электрических фонариков. Прошли, но один из них остался рядом с нашим вагоном. Он не сказал ничего, даже не поздоровался, только мазнул по нашим лицам лучиком своего фонаря и молча встал вплотную к вагону, посверкивая широко расставленными сапогами. Мы тоже молчали, как предписывала инструкция. Я почувствовал мамину руку на своем плече. Рука слегка подрагивала, и я понял, что даже ей не по себе. Даже ей, моей железной маме.

Так мы стояли, глядя на его сапоги, и тут из вагона раздался крик. Вернее, не крик, а какое-то громкое непонятное восклицание. Я не знал тогда итальянского и поэтому не разобрал смысла. И сразу же поднялся многоголосый гомон, и стук по деревянным вагонным стенкам, и шум, шум, шум, как будто живущий в вагоне зверь рвался наружу. И мне стало страшно. Что, если они и в самом деле вырвутся? Выплеснутся на перрон, прямо на нас, растекутся, как грязная волна, сметая все на своем пути? Куда они денутся потом? Неужели мама заставит меня снова делить комнату с одним или даже несколькими такими существами?

– Молчать – отрывисто сказал немец и лязгнул автоматом. И они тут же замолчали, господин судья! Представьте себе, от одного только его слова!

Этот человек в сапогах определенно обладал какой-то колдовской властью над ворочающимся в вагоне зверем. Не считая вагонной двери, он был единственным препятствием между моим благополучным миром и грязной волной многорукого человеческого страдания. Единственным, но надежным.

И я почувствовал, что благодарен ему за это. Я вспоминаю его до сих пор, это чувство, господин судья. И тогда только трусость удерживает меня от того, чтобы пустить себе пулю в лоб.

Прошло еще несколько минут, и вдоль поезда, от часового к часовому, прошелестела какая-то команда, быстро и неслышно, как змея через дорожку. И они стали открывать вагоны! Открывать вагоны! Для меня это явилось полной неожиданностью. Я-то представлял себе маленькое окошко, через которое всего-то и можно, что просунуть кружку с супом или туго свернутое одеяло. Малень-

кое окошко, не более того! И я боялся даже его, этого окошка, боялся просунутых через него скрюченных рук с болячками, от которых не спасает даже противогаз... Представьте себе мой страх, когда я услышал лязг отъезжающей двери товарного вагона, когда скопившийся там смрадный воздух сразу, одним комом, вывалился наружу! Когда я увидел белые пятна лиц, глазеющие на меня из адской вагонной черноты! Сам не понимаю, как я не пустился в бегство немедленно. Наверное, у меня просто отнялись ноги.

Немец скомандовал еще что-то, вагонное месиво послушно зашевелилось, и кто-то серый спрыгнул на перрон и встал около двери.

Я почувствовал, что мать толкает меня в бок, обернулся и увидел протянутую мне кружку. Они уже начали наливать. Мама держала кружку за ручку, я взял ее ладонями за горячие бока и повернулся к вагону, вытянув кружку перед собой, ручкой вперед. И серый сделал полшага вперед, и взял у меня суп, и я повернулся к маме за следующей порцией. Суп оказался горячим; ладони жгло даже через перчатки. Автоматические многократно повторяющиеся действия успокаивают. Можно сказать, я почти успокоился, но страх не ушел, он жил где-то совсем рядом, очень близко к поверхности сознания. Я по-прежнему боялся их. Я не понимал, что мешает им вот прямо сейчас начать вываливаться из вагона на наши головы.

По запаху я определил, что суп закончился и пошел кофе. Оставалось потерпеть совсем немного. Наконец, дошла очередь и до одеял. Я старался не смотреть на серую фигуру, принимавшую у меня сначала кружки, а теперь одеяла и передающую их в вагон. Взяв первое одеяло, он что-то сказал, очень тихо, так, что я не расслышал. Да я особо и не старался, господин судья. Больше всего на свете я хотел, чтобы все это поскорее закончилось, и думал только о том, сколько там еще осталось одеял. Но серый не отставал. На этот раз я расслышал: он сказал по-немецки всего два слова: «Пожалуйста, возьмите...» Всего два, но он произносил их каждый раз, принимая от меня одеяло. Что ему было от меня надо? Почему он не хотел оставить меня в покое?

Я продолжал делать вид, что ничего не слышу. В конце концов, женщина из «Красного Креста» повторила несколько раз: «Никаких контактов!» Она особо просила проявить максимальную ответственность. И я проявлял максимальную ответственность, прикидываясь глухим. Но серый и не думал сдаваться. Он просто принялся совать мне в руку что-то, видимо, сложенную в несколько раз бумажку. Записку? Письмо? Документ? Я не брал, но серый делал это настолько отчаянно, что я испугался. Испугался шума, скандала, чего-то такого, что могло побудить пока еще смирную вагонную массу выйти из берегов. Кроме того, я был в перчатках и, значит, не мог заразиться от обычного клочка бумаги. И я взял записку и сунул ее в карман, и, конечно же, в темноте ни у кого не было ни малейшего шанса обратить на это внимание.

А потом одеяла кончились. Серый забрался в вагон, не забыв прошелестеть мне свое «спасибо», и я испытал настоящее облегчение, увидев, как немец задвинул вагонную дверь и щелкнул ам-

барным замком. Такие же звуки доносились и справа, и слева, и это означало, что работа заканчивается по всей длине платформы, и скоро можно будет пойти домой. Потом я помог погрузить на машину пустые термосы. Мама ждала меня на выходе из вокзала. Тут только я вспомнил, что так толком и не попрощался с Марго, но это почему-то ни капельки не огорчало. Вокзальные часы показывали половину одиннадцатого. Полтора часа. Прошло всего полтора часа. Записка жгла мне карман. Я хотел отдать ее маме еще на площади, но передумал – а вдруг кто-нибудь увидит?

Дома нас ждал отец, сидя у стола в гостиной и помешивая остывший чай в своей любимой фарфоровой чашке. Я посмотрел на чашку и вспомнил металлические кружки ручками вперед.

– Переодевайтесь и садитесь пить чай, – сказал отец.

– Подождите, – сказал я. – Мама, он всунул мне какую-то записку. Я не хотел брать, но...

– Давай, быстро... – сказала мама.

Я полез в карман, не снимая перчатку, и поэтому провозился довольно долго, прежде чем мне удалось вытащить многократно сложенный листок желтой линованной бумаги, какую используют для всяких анкет. Мама взяла его незащищенной рукой и сразу ушла в спальню, а я снова подумал о болезнях, микробах и бактериях.

Потом я переоделся, сунул в корзину с грязным бельем все, даже перчатки, тщательно вымыл руки, и вернулся к отцу. Мы уже пили чай, когда в комнату вошла мама с желтым листком в руке. Глаза у нее были красными от слез.

– Я хочу, чтобы вы послушали, – сказала она и начала читать.

Это было письмо, господин судья, даже не одно, а два письма. Первое послала женщина по имени Ханна своему мужу по имени Иосиф в сентябре 42-го года из пересыльного лагеря в Бельгии. Судя по времени, которое прошло с того сентября, Ханна, скорее всего, исчезла, может быть, даже погибла. Второе, ответное, – написал сам Иосиф, сидя в угольном вагоне, везущем его в германский концентрационный лагерь, возможно, на смерть. Все это время он хранил ее последнее письмо и теперь воспользовался им, чтобы сообщить ей о своей судьбе – на тот случай, если Ханна все-таки уцелеет и вернется в их брюссельскую квартиру. У него не было никакой бумаги, кроме этого желтого линованного бланка, исписанного ее крупным красивым почерком с ровным наклоном вправо. Между ханниных строчек оставалось достаточно места, если писать мелко. Так и получилось, что оба письма поместились на одном листке – одно поверх другого, вернее, одно, сплетенное с другим. Они как бы лежали вместе на желтом поле, два этих письма, обнявшись, словно муж и жена. Ее красивые чернильные буквы и его мелкая карандашная вязь.

Я не могу пересказать вам этих писем, господин судья. Мама прочитала их нам только один раз, а назавтра отнесла на почту и отправила по адресу, который Иосиф приписал в самом низу. Так что я не помню точных слов, а прибавлять от себя мне бы не хотелось. Что-то очень простое и естественное – ни больше и ни мень-

ше того, что обычно пишут друг другу любящие люди. В конце письма Иосиф просил у нее прощения за ребенка. Эта деталь запомнилась мне именно из-за своей непонятности. Но Ханна, конечно, поняла бы. Это все, что я могу рассказать вам об Иосифе, господин судья. Совсем немного, честно говоря. Я даже не знаю, был ли именно он тем серым существом, которое принимало у меня кружки с супом на вокзальной платформе. Возможно, что он просто попросил одного из своих товарищей передать мне это письмо. В самом деле, лучшей возможности ему могло больше и не представиться. ...

Самым странным в этой истории, господин судья, является ее замедленное действие. Понимаете, она изменила меня всего, перетрясла, как кости в кожаном стаканчике, повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. Ее удар был исключительно, фантастически силен по своим последствиям. Силен настолько, что силу его я понял далеко не сразу, хотя первые странные признаки чувствовались уже на следующий день. К примеру, я обнаружил, что даже думать не могу о Марго, в которую был безумно влюблен еще менее суток тому назад. Правильнее сказать, она вдруг стала мне неприятна, настолько, что я попросил маму подобрать нам другую пару для работы на следующем поезде.

Через день в газете написали, что жители домов, расположенных вблизи от первой платформы, жаловались на шум и крики из стоящего там поезда. Автор заметки возмущался непредусмотрительностью вокзальных властей. В самом деле, они вполне могли поставить злополучный поезд на крайнем пути в противоположном конце вокзала, примыкавшем к Национальному Музею. Там-то уж крики точно не помешали бы ничьему сну.

– Все правильно, – сказал отец, откладывая газету в сторону. – Но меня, честно говоря, возмущает другое. Мы сделали все, что могли. Проявили добрую волю.

Он так и сказал «мы», господин судья.

– Мы накормили их супом и даже приготовили кофе! Всякий знает, как трудно добыть кофе по нынешним временам. Дали одеяла... Я думаю, что эти люди могли бы проявить хоть немного благодарности и уважения и не беспокоить среди ночи своими кошачьими воплями столь гостеприимный город.

Вот тут-то, вдруг, я и понял, что ненавижу его, господин судья. Его и себя, отражающегося в нем, как в зеркале. Я не стал бросать ложку на скатерть. Я аккуратно положил ее на тарелку и вышел из столовой, и дверь за собой прикрыл тихо, не хлопая. Я даже успел услышать, как отец сказал маме за моей спиной:

– Ну? И чего ты добилась? Ты этого хотела, да?

Видимо, в чем-то он маму все-таки убедил, потому что на следующие поезда – а их было еще много, больше десятка – она меня уже не брала, ходила одна. Кстати, все последующие эшелоны пригоняли к Музею. Чтобы не мешать сну граждан столь гостеприимного города.

Окончание романа читайте в следующем номере журнала.

Ури Цви Гринберг

БОЖИЙ ГОРН

* * *

От тельца Аарона до тельцов Шарона*
И до еврейского государства на филистимском берегу
Не бывало у нас такого единства всего народа,
На радость ухмыляющемуся врагу.

Все кричат в один голос: «Без Иерусалима!»
«Зачем нам это старье?» – говорит ниспровергатель.
«Зачем нам эта скала?» – говорит предприниматель.
«Этот город свят для всего мира», – говорит писатель.

И даже в сердцах сикариев и зелотов,
Для которых Иерусалим доныне был самым священным оплотом,
Он померк. И с болью гляжу я в лицо измены
И вижу, как все надежды становятся тленом.

ГОРНИСТ

В чужбине на всех инструментах я песни играл;
Цветущие яблони душу томили весной,
Пронзая меня непонятной, но смертной тоской;
А рядом река тевтонов блестела, как ртуть...
И в море играл я на лире... и волны морские рекли:
«К вершинам ступай, а низкие кровли забудь.

Смотри: пред тобою лес, а над ним небеса.
Там птицы парят; а над птицами – пояс светил;
А выше светил поднимается только мечта:
Одна лишь мечта достигает такой высоты,
И лишь на одном инструменте мечту эту можно сыграть –
На горне из горнего Храма! И создан для этого – ты.
Будь горнистом! Твой меч и твой щит – Божий горн!»
И ответил я: «Да!» – ибо понял, чего мне всегда

Не хватало, пока я играл на цевницах пустых,
Сыну скитальцев Сионских, чьей скорби огромнее нет,

Переводы и стихи, отмеченные жюри Третьего поэтического фестиваля, памяти У. Ц. Гринберга, будут опубликованы также в следующих номерах журнала.

* Шароном автор здесь называет противопоставляемый Иерусалиму прибрежный район Израиля, в частности – Тель-Авив.

Сыну страдальцев за Бога, богов кроме Коего нет...
Мир все равно разделен на своих и чужих.
Будь горнистом! Вокруг тебя – тьма.
Играй что есть сил – и, быть может, приблизишь рассвет.

И вот я играю, играю всей жизнью своей –
И рассвет, золотой и кровавый, я вижу вдали.
От музыки, словно от солнца, расходится свет,
И место, где я стою, – пядь Эдемской земли.

КОНЕЦ

Я здесь один пока еще служу
Отчаянному, праведному гневу...
Но вслед за мной придет к тому колодцу,
Откуда пьют страдания и гнев,
Другой поэт, похожий на меня,
И станет жечь сердца словами боли.
Целую и приветствую его.

Перевела с иврита ***Рахель Торпусман***

СТАРАЯ ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ

Мы – пленники туч, мы застряли в потёмках.
В крови нашей реки текут вавилонские.
Сидим в темноте и мечтаем о свете.
А если появится вдруг среди нас
Кузнец, рассыпающий искры наитий,
И станет светло от могучей работы,
Глядим на него не с восторгом – с опаской.
Не лучше ли будет вернуться к свечам?

И знает лишь Бог, отчего так выходит.

Я понял, как тяжко тому работяге.
Он только что слышал моленья о чуде,
Он тьму, как железо, расплавил – и что же?
Столпились вокруг соплеменники, братья,
Но злоба темнит освещённые лица.
Смотри, всё плотней кузнеца окружают
И холодом дышат, и горн остужают...
И осень опять завывает впотьмах.
Ему не постичь, отчего так выходит.

Стара эта песня, грустна эта песня.

Перевела с иврита ***Зинаида Палванова***

Сухбат Афлатуни

В ДРУГОЕ ЛЕТО

* * *

Заболевший кочевник становится жителем сёл.
Он подсолнух растит, поливая его из кумгана.
И приметивши женщину, делает грудь колесом,
Но в груди у него не о женщине темная рана, –
Снятся степи ему, костры, и длинные тени верблюдов,
И тяжелое небо в тучах, как свежих курганах.

Заболевший кочевник рождает здоровых детей,
Но болезнь уже в генах змеей обжилась подколодной;
И на сельское солнце смеется подсолнух-злодей,
И кочевник пугается этой земли плодородной.
Снятся степи ему, грызуны, и безбрачие буйных набегов.
Он прогонит детей в города, где воздух негодный.

Заболевший кочевник, он в старость слепую свою
Постучится к своим сыновьям в городские ворота.
И ему отопрут, и с балконов над ним запоют,
И трескучая бритва коснется его подбородка.
Сколько внуков! А кто там, на лошади? Правнук?

Убегай, мой малыш, в край над степью расстеленных радуг,
Где от жирного дыма костров дальнозорче глаза.
Убегай, и пусть конь твой не вспомнит дорогу назад!

Заболевший кочевник в пустой телевизор глядит,
Как в эфире прямом расцветает подсолнух-бандит,
И за чьей-то душой в небе войлочный ангел летит.

ЯНВАРЬ

Январь – все равно, что гаррота, гаррота –
так горло сдавило шарфом,
обернутым в два оборота заботой
о детском здоровье твоем.
Зажаты дыханья ворота, и в брод ты
двор снежный пройдешь, не дыша –
где с крыш обсуждают воронии орды
твой вдвое обернутый шарф.

Январь, фа-минорная фронда природы;
под снегом тропа, как строфа,
протоптана рифмою в коду, к исходу
из жаркого ига шарфа:
на вдох ледяной, на икоту, на воду
из крана – предел озорства...

ФЕВРАЛЬ

На плоской, как скатерть, воде
Застыли в готических позах
Двенадцать смешных фигуристов.

(Откуда в Ташкенте – каток?
Не знаю). Все ждут клавесина –
Но в землю зарыт клавесин;

И вместо скрипичных трезвучий,
Въезжает трамвайчик скрипучий,
Ломая культяпки ветвей;

Вверху, над искрящей дугою,
Под ношей своей мочегонной
Ползет в облаках Водолей.

Двенадцать смешных фигуристов
Цепляются быстро к трамваю
И едут, один за другим.

Они не вернутся обратно.
Они не обратно вернутся.
Вернутся – уже не они.

ПАРК ГОРЬКОГО

Какое счастье этот парк:
Закат блуждает в облаках,
А на земле гуляют люди,
И держат за крыло детей.

Октябрь царскою рукой
Их кормит спелою листвой.
Но топчут люди подношенье,
И дальше с шорохом идут.

Снуют качели вниз и вверх,
И ветер вдаль относит смех –
Куда-то за границы парка,
В троллейбус, где старуха-парка
Прядет и вяжет, и молчит.

А на земле гуляют люди
В погасшем лиственном салюте;
Друг другу отдают салют,
И гномов за собой ведут,
И нас с тобой не замечают.

А мы сидим, цедя вино.
А наверху уже темно,
Там летописец книги судеб
Зажег прохладную свечу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАСРЕДДИНА

Вернулся: цел, сутул и невредим.
Все тот же – и Ходжа, и Насреддин,
И божий раб, и утренний прохожий –
И борода торчит из кожи,
Как ершик для бутыли от вина.

Осла неокрыленная спина
Седеет в мозглой сырости рассвета.
Всё так же благородна Бухара.
А время года – что-то вроде лета,
Но холодно сегодня, как вчера;
И нет вина,
чтоб выпить не за это.

Да, всё на месте – как не уезжал.
И новости всё те же, и газеты.
Ишак не умер, падишах не сдох;
Здоровы все. Чуть помутнел канал,
И аист на макушке минарета
Зовет меня взойти к нему в гнездо:
«Келинг, келинг».
Спасибо, как-нибудь...
в другое лето...

Светлана Мойбер

ЗДЕСЬ ТАКОЕ БЛИЗКОЕ НЕБО

Рисовать я начала, как все дети, в детском саду: домики, солнышко, птички, клубнички – ничего особенного. До пятого класса занималась музыкой. И вот как-то в Москве, когда я в очередной раз гостила у своей тети Берты и с упоением рисовала с натуры фарфоровых собак из ее коллекции, тетя воскликнула: «У ребенка талант к рисованию, ее надо отдать в художественную школу!» Тетя пользовалась в нашей семье непререкаемым авторитетом и принимала активное участие в поворотных моментах ее истории, как, например, смена имени папы в паспорте со Шмерл Мордухович на Марат Маркович и т. д...

Так я бросила музыку и поступила в художественную школу, параллельно посещая обычную школу и изостудию. Конечно, была уверена (так нас воспитывали), что те, кто упорно готовятся и много занимаются – поступят в художественный институт. Ошиблась. При конкурсе 10 человек на место – всегда находились нацкадры и чьи-то дети, для кого были приготовлены эти места. Три года благополучно проваливалась на вступительных экзаменах, либо не проходила по конкурсу. Но однажды, рисуя античную гипсовую голову, решила: «Хватит! Все что ни делается – к лучшему» (позже это стало моим жизненным кредо), и поступила в университет на филологию (здесь на место студента претендовали всего 3,8 человек). Училась в свое удовольствие, попутно оформляя студенческие вечера и стенгазету.

Первое стихотворение написала во втором классе:

На тетрадке у Володи появилась клякса,
Появилась клякса черная, как вакса...

В старших классах мы с подругой, подражая Я. Гашеку, писали сатирические изречения на тему школьной жизни. Будучи председателем совета отряда, написала стихотворный отчет о проделанной работе на рулоне, разворачивавшемся на несколько метров. После окончания института ни дня не работала по специальности. В моей трудовой книжке пестрят записи: инженер по научно-технической информации, инженер конструкторского отдела и даже – сборщица (электросчетчиков) 3-го разряда... На самом деле все это время я, в основном, работала художником-оформителем. Лишь последняя запись – воспитательница детского сада – соответствует действительности. Туда пошла за компанию с дочкой. Хотя и там разрисовывала стены, мастерила кукол для кукольного театра...

На моем первом после университета месте работы, изнывая от безделья, рисовала пейзажи в окне, занималась аэробикой,

организовывала выставки. К Новому году сочинила шуточное поздравление в стихах примерно для тридцати начальников отделов и подвесила их в виде шаров на елку.

И по сей день увлекаюсь «датской поэзией» – написанием поздравлений и приветствий близким людям к памятным датам.

На очередной работе, когда все вокруг дружно вязали жилеты, я, от нечего делать, елозила облезлой кисточкой тушью по бумаге. Получились случайные картинки. Потом сочинила к ним тексты. Это была моя первая книжка, которую размножила фотометодом и издала тиражом 7 экземпляров.

А сколько было сказок, стихов, спектаклей для своих детей. Однажды даже сочинила сценарий итальянского фильма!

Когда ехали в Израиль, не представляла, чем же буду здесь заниматься? Столкнувшись с неуправляемыми израильскими детьми, поняла, что работать в детсад не пойду. К тому же выяснилось, что университетский мой диплом для этой работы не подходит. Объяснить же, что в Союзе я занималась наглядной агитацией, – не представлялось возможным. Единственно, в чем была уверена – моя будущая работа должна быть творческой.

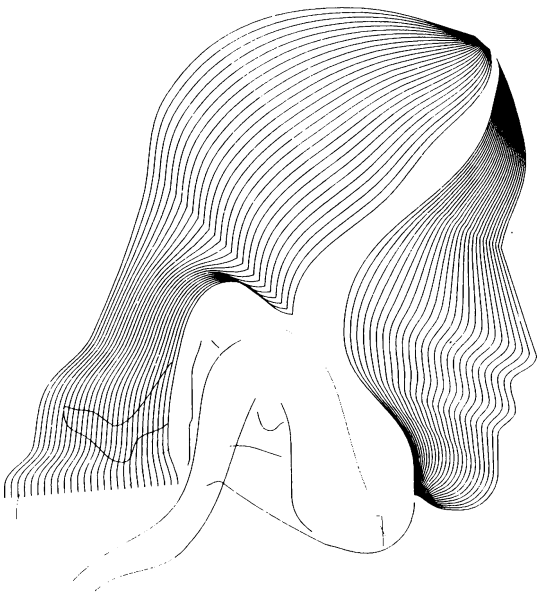
И мне посчастливилось. Закончила курсы компьютерной графики. Первую работу искала трудно, «из двери в дверь» – методично обходя типографии, завидуя не совсем белой завистью всем работающим. Моя первая зарплата – 400 шекелей. И вот уже тринадцать лет работаю. Это не всегда творческий труд – бывает механическая рутина, но выпадают и счастливые моменты, и интересные встречи. И случается вдохновение: такой взлет и подъем, когда чешутся руки и хочется творить. Это бывает не как у Ю. Олеши – «ни дня без строчки», а нечасто и непредсказуемо, спонтанно. Тогда я пишу или рисую. Здесь такое близкое небо, такие живописные горы и такой, всегда разный, Иерусалим, где особая приподнятая атмосфера и ощущается высота и присутствие! В Иерусалиме издала три свои книжки: стихи, эссе, графика. Трезво оцениваю их – они для узкого круга родных и друзей. Раздариваю и получаю от этого удовольствие.

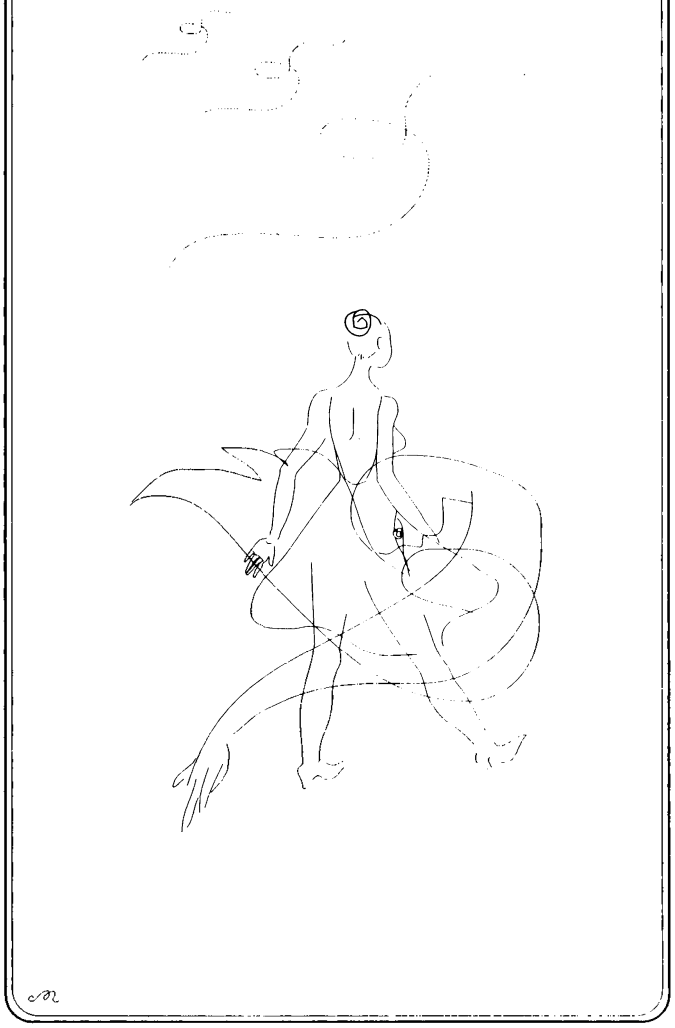
В общем, занимаюсь тем, что нравится. Работаю для удовольствия, а муж – для денег.

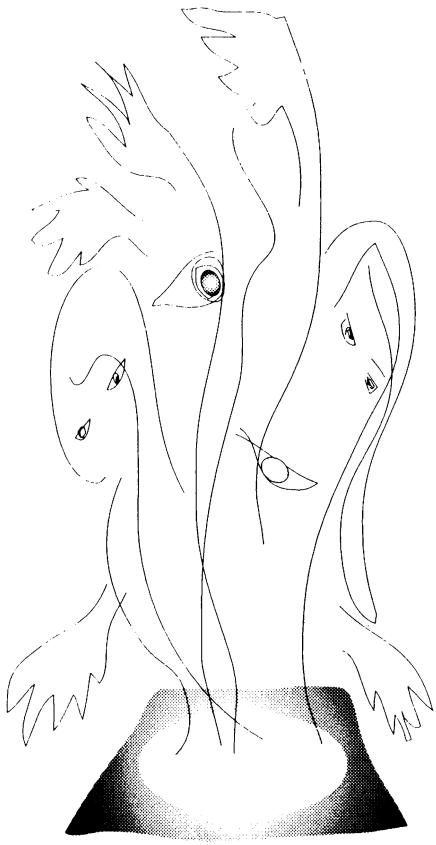
Моя графика соткана из ассоциаций, впечатлений и почти случайных переплетений линий и пятен. Рисую на компьютере, а также люблю писать пейзажи темперой и пастелью.

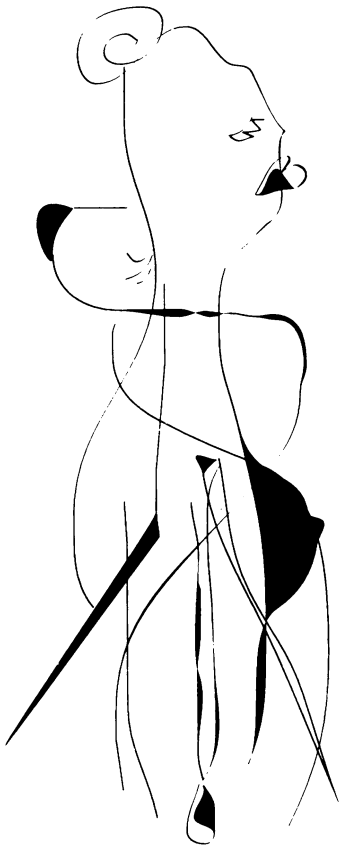
А Иерусалим – это не только место жительства, а любовь, боль и Всевышний...

Иерусалим на горизонте –
Три точки в небо поднялись;
Весь распахнулся он навстречу –
Движеньем вверх, стремленьем ввысь.
Все очень просто: нет столетий –
Вражды людей, борьбы идей;
Смотри, как солнцем он рассвечен –
Входи в него и им владей!









Александр Городницкий

ТЕНЬ ПРЕДКА

* * *

Я не сам по себе – я лишь тень отдаленного предка.
Постоянно мне кажется – с ним я один человек.
Я на дереве общем всего лишь случайная ветка,
От которой появится новый зеленый побег.

Я лишь тень моих предков, поэтому режут мне уши
Свист нубийских мечей и немецкое «хальт» за спиной.
Черный дым Холокоста меня в сновидениях душит:
То, что с ними случилось, случилось уже и со мной.

Я за их униженья живу в постоянной обиде.
Ощущаю надежность к работе приученных рук.
И когда ты испуг временами в глазах моих видишь,
Я отчетливо знаю, откуда приходит испуг.

Не останусь с тобою, – меня призывает дорога,
Как она призывала их тридцать столетий назад.
И когда говорю, что в единого верую Бога,
То не я говорю тебе это, – они говорят.

Миллионы за мною и передо мной миллионы.
Жар свирепой пустыни, зола от костров на снегу.
Как измученный зек, из невидимой этой колонны
Я и рад убежать бы, да только, увы, не могу.

08.07.2004.

МЕЧ И ПОСОХ

Мне жгли лицо Полярный Север
И Антарктида.
Я видел посох Моисея
И меч Давида,
В Стамбуле, во дворце султана
С огромным садом,
Они под куполом стеклянным
Хранятся рядом.
Я целый час смотрел украдкой,
Не сняв котомки,

На меч с тяжелой рукояткой
И посох тонкий,
Слова забывшейся молитвы
Прося у Бога.
Один – сражения и битвы,
Другой – дорога.
О, юных лет былые даты,
Пора вопросов!
Я мог бы выбрать меч когда-то,
Но выбрал посох.
Я шел туда, где небо стынет,
Вослед пророку,
И солнце желтое пустыни
Висело сбоку.
Я плелся выжженной травою
Над преисподней,
Но над чужою головою
Меча не поднял.
Я брел проулками предместий
Вдали от тронов,
Но ни для славы, ни для мести
Меча не тронул.
И не горюю я нимало,
В безвестность канув,
Что не сгубил ни птахи малой,
Ни великанов.
Для жизни выбирает каждый
Доступный способ.
Не сожалею, что однажды
Я выбрал посох.

18.10. 2002

БАЛЛАДА О ФОТОЛЮБИТЕЛЕ

Герхард Марквард, Германии скромный солдат
В мирной жизни машиностроитель,
На Земле проживавший полвека назад,
Был отчаянный фотолюбитель.

Он старался во всю свою юную прыть
Фатерлянду казаться полезным.
В полевой жандармерии славно служить
И крестом красоваться железным.

В Белоруссии, в грозные эти года,
На суровых дорогах военных,

Он насиловал женщин, и жег города,
И пристреливал раненых пленных.

И везде – на опушке, где хаты горят,
Над убитою стоя еврейкой, –
Всё, что видел в округе, снимал он подряд
Безотказною старенькой «лейкой».

Гитлерюгенда преданный ученик,
Как его ни сгибала работа,
Он всегда заносил аккуратно в дневник,
Где какое им сделано фото.

Застрелил на базаре под Гомелем он
Старика, голодавшего в гетто,
И второй для контроля истратил патрон,
И никто бы не ведал про это.

Он калек до могильных дотаскивал ям
И, схватив рукоять пистолета,
Беззащитные жертвы расстреливал сам,
И никто бы не ведал про это.

Развеселою ротой своею любим,
Он снимался под Оршею где-то,
У виска партизана держа карабин,
И никто бы не ведал про это.

Я смотрю на его неулыбчивый рот,
На газетную ретушь портрета,
И досада меня запоздалая жжет,
Что никто бы не ведал про это,

Если б сам он, наивный и преданный пес,
Исполнитель приказов ретивый,
На себя самого невзначай не донес,
Проявляя свои негативы.

Был альбом в пятьдесят обнаружен втором.
Десять дней проведя в Моабите,
Наградил и себя деревянным крестом
Незадачливый фотолюбитель.

Он оставил двоих малолетних детей,
И жену, и каталог предлинный
Фотографий своих, ежедневных затей
С аппаратом поклонник невинный.

Я сижу в ресторане у Эльбы-реки,
Вспоминая забытые были,
А вокруг улыбаются мне старики,
Что сниматься тогда не любили.

26. 01. 2002

ПОМИНАЛЬНАЯ ИДИШУ

Только наружу из дому выйдешь,
Сразу увидишь:
Кончился идиш, кончился идиш,
Кончился идиш.
В Чешских Градчанах, Вене и Вильно,
Минске и Польше,
Там, где звучал он прежде обильно,
Нет его больше.

Тех, кто в местечках некогда жил им,
Нет на погостах, –
В небо унес их черный и жирный
Дым Холокоста.
Кончили разом пулей и газом
С племенем мерзким,
Чтоб не мешала эта зараза
Hebrew с немецким.

То, чем гремели некогда Зускин
Или Михоэлс,
Перемогая словом изустным
Время лихое,
То, чем и Маркиш пели и Шолом
Птицей на ветке,
Бывшее ярким, стало дешевым,
Сделалось ветхим.

В книге потомков вырвана с корнем
Эта страница
С песней о том, как Ицик упорно
Хочет жениться.
В будущем где-то жизни без гетто
Им пожелай-ка!
Тум, балалайка, шпиль, балалайка,
Штиль, балалайка.

Те, в ком когда-то звонкое слово
Зрело и крепло,
Прахом безмолвным сделались снова,
Горсткою пепла.
Пыльные книги смотрят в обиде
В снежную замять.
Кончился идиш, кончился идиш, –
Вечная память!..

16.08.2001

* * *

Не время подводить итоги,
А время вспоминать о Боге,
Которого, возможно, нет.
Звенят ручьи водою талой,
Моих ровесников не стало,
Горячий простывает след.

Чего живу, не знаю ради,
И мне себя, сказать по правде,
В мои преклонные года
Осознавать невыносимо
Моложе собственного сына,
Чья борода уже седа.

Своей душою озабочен,
Он молится с утра до ночи,
Листая старую Тору,
А я, не думая о Храме,
Сижу за рюмкой вечерами
И жду свиданий поутру.

Мои воспоминанья сладки:
Я разбивал в снегу палатки,
Перед бедою не дрожал,
Гонял по перекатам плот свой,
И грубою любовью плотской
Окрестных женщин ублажал.

Благословляю день текущий.
Мне в райских залетейских кущах
Не уготовано и дня.
Не искуплю своей вины я,
А все грехи мои земные
Пусть сын отмолит за меня.

20.04.2003

ЦАРЬ ДАВИД

Первый бард на планете, пастух иудейский Давид,
Что плясал от восторга во время общения с Богом,
Отчего и сегодня еврей в лапсердаке убогом
При молитве качаться вперед и назад норовит.

И тебе, говорят, с сыновьями не слишком везло,
Ты чужую жену возжелал, несмотря на запреты.

Научи различать, где добро обитает, где зло, –
То, что тысячи лет различать не умеют поэты.

Научи меня счастью коротких любовных минут,
Темной ярости боя и светлому пенью кифары,
Научи меня стойкости, если друзья предадут,
Потому что, как ты, скоро немощным стану и старым.

Мой сородич таинственный, царь моей давней страны,
О тебе, постарев, вспоминаю все чаще сегодня.
Научи меня петь, не жалея себя и струны,
А порвется струна, – так на это уж воля Господня.

Пусть тучнеют стада меж библейских зеленых полей,
Где звенят твои песни, земным не подвластные срокам,
И склонились посланцы у пыльной гробницы твоей
Трех враждебных религий, тебя объявивших пророком.

10.05.2003

* * *

У природы законы простые,
Что об этом ни говорите.
Мне случись бы родиться в пустыне,
Я бы песни слагал на иврите.
Со судьбой понапрасну не спорю,
Чтобы сердце потом не болело.
Если б рос я у теплого моря,
То писал бы я справа налево.
Жил бы в доме под красною крышей,
И стихи бы читал на тусовке,
Где одни лишь согласные пишут,
Добавляя потом огласовки.
Тасовал бы ивритские рифмы,
Возмужал бы на службе солдатской,
И нырял на эйлатские рифы,
Аквалангом снабженный и маской.
В том краю, где цветные эстампы
Иллюстрируют Библию снова,
Я, наверное, классиком стал бы,
А по-русски не знал бы ни слова.
Мне желали бы многие лета,
И в журналах печатали фото,
Только был бы не я уже это,
А другой, неизвестный мне кто-то.

22.07.2004.

НА МОГИЛЕ РОДИТЕЛЕЙ

Всякий раз, когда я, покосившись на серые тучи,
На могилу родителей узкой дорожкой иду,
В грозовых небесах появляется солнечный лучик,
И поет соловей, задыхаясь в любовном бреду.

Не избалован солнцем пейзаж ленинградский унылый.
В чудеса я не верю, – я в этом не слишком ретив.
Но пока я стою у родительской пыльной могилы,
В небе теплится лучик и длится нехитрый мотив.

Знаю я, – это все без меня в запустение канет.
Я стараюсь умерить его роковые черты:
Облезает решетка, две буквы осыпались с камня,
И пора поменять бы увядшие эти цветы.

На еврейском участке дождливо, безлюдно и сыро.
И когда под плиту эту лягу гранитную сам,
Сын ко мне не придет, ибо нету поблизости сына,
И друзья не придут, ибо некогда будет друзьям.

Но пока, всякий раз отзываясь в надорванном нерве,
Длится песенка эта, и лучик сияет во мгле,
Я поверю внезапно, что Бог существует на небе,
И любовь существует на горестной этой Земле.

И когда этой песне недолгой внимаю я чутко,
Распрямляет ладошки на ветках зеленых листва,
И в груди возникает какое-то странное чувство,
Рассказать о котором уже не сумеют слова.

07.07.2004.

Михаил Карпачёв

БИБЛЕЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

* * *

Заплутав, мировая культура
И история сбились с пути.
В Ханаан из далёкого Ура
Авраам передумал идти.

11.10.04 Лондон, Британский Музей

Что-то злых вестей не жалеет век.
Мир от скуки и слёз продрог.
И стоит зашараханный человек
На развилке пяти дорог.
Вправо-влево – побег, впереди – пальба,
Позади по-над полем – дым.
И куда-то наверх в пустоту Судьба
Указует перстом худым.
Где-то там, где ветер да облака,
Птица белая бьет крылом,
И кричит надсадно издалека:
«Поделом тебе, поделом!»
Одиноко бродит по небесам
Полумесяц, звеня серьгой.
Всё, что душит меня, я затеял сам.
Только я, и никто другой.
Всё куда-то плыл я, не чуя дна,
Никому не сказав: «Прости!»
Неужели жизнь мне была дана
Ради пары монет в горсти?
Ничего откладывать на потом
Я себе не позволю впредь,
Чтоб увидев меня с изумленным ртом,
Соловью захотелось петь.
Да, тревожен мир! Да, конечен путь!
Да, раскаты грозы близки!
Но своей рукой наводить на грудь
Ни к чему острие тоски.
Нет, ещё попляшут в зрачках огни!
Свежий ветер в гортань проник.
А дурные мысли пинком гони.
Много чести им – петь про них.

8– 28.11.2004

ИЕРУСАЛИМ

Памяти Аркадия (Аарона) Гурова

Я смотрю на него с высоты крыла,
И вопрос мой неутолим:
Для чего Судьба меня так вела,
Волокла в Иерусалим?

В этот город, сползающий с двух холмов,
Чей невидимый глазу свет,
Помутил не один миллион умов
За последних три тыщи лет.

Странный город ты выдумал, царь Давид, –
Охмурил он мою семью.
Вещих снов толкование он хранит
За печатями за семью.

Я молчанью этому даже рад –
Знать что проку грядущий день?
Пусть его заслонит от меня мой град,
Занавесит, затянет в тень.

Эта тень едка и горчит как дым,
Но пока ещё время есть,
Дай мне воздуху, о, Иерусалим,
Дабы встретить дурную весть.

И невесть откуда петух кричит.
Так же глухо кричит, как встарь.
Храм разрушен, но выстрела ждёт в ночи
Ненасытный его алтарь.

От тревог дорога белым-бела,
От озноба бела-белым.
Для чего Судьба меня так вела,
Волокла в Иерусалим?

В белый город, сползающий с двух холмов,
Чей невидимый глазу свет,
Помутил не один миллион умов
За последних три тыщи лет.

Он источен влагой солёных глаз
Глубже, чем дождевой водой.
Боже, может, хотя бы на этот раз
Ты его обойдёшь бедой!

Но уже назначен и день и час,
Равнодушия не тая...
Боже, что ты затеял на этот раз,
И зачем тебе нужен я?

октябрь-ноябрь 2003

* * *

Евгению Гришковцу

Помнишь этот дом на краю земли?
А в окне мальчишка – так это я.
Что ему привиделось там, вдали?
Может быть, грядущая жизнь моя?

Матушка зовёт: «Остывает чай!»
Жив ещё отец – вот его рука
Ворошит затылок мой невзначай.
Мы стоим и смотрим на облака.

Мы глядим поверх суеты двора
На чудесный мир из огней и льдин.
Но отец уходит – ему пора.
Я отныне буду стоять один.

И уже не так будет прочен дом.
И не столь уютен и мягок свет.
Эти перемены с большим трудом
Я пойму, а он (тот мальчишка) – нет.

Эта песня вовсе не обо мне.
Если так почудилось – очень жаль.
Я давно уехал, а в том окне
Он стоит, мальчишка, и смотрит вдаль...

4.05.04

* * *

Мне ни днем и ни ночью
Неймётся, не пьётся, не спится.
Из разодранной в клочья
Души ностальгия сочится.

Не хватает чего
Этим вечнозеленым маслинам?
Рвется крик кочевой
Вслед за тающим в облаке клином.

Кто украл мой покой,
Тот едва ли признается в краже.
Лунный свет чумовой
На библейские льется пейзажи.

Здесь лишь камни да пыль,
Да неслыханно низкое небо.
В этой местности быль
Так легко погружается в небыль.

Сквозь прорехи столетий
Отсюда спускаются в Лету.
Мы, как малые дети,
За ниточку держимся эту.

Словно верим в спасенье,
Которого нет и в помине.
Даже ветер осенний
Бежит Иудейской пустыни.

Брошу нищенке грош
В ветхий фартук, изъеденный потом:
– Ты навстречу идешь,
Что там ждет меня за поворотом?

Желтый лист, возносясь к небесам,
Не дождется ответа.
Возлагал он надежды и сам
На грядущее лето....

15.12.03

* * *

Я знаю все доводы наперечёт.
В уютной ладони пригрелась синица.
Но кровь закипает, толкает, влечет
Куда-то лететь и к чему-то стремиться.

А срок нам отведен, увы, небольшой.
Дорога теряется в дымке нерезкой.
Ну что мне поделать с моею душой,
С любовью славянской и болью еврейской?

Случайной мелодией увлечена,
С восторгом неистовым и непокорным
Такие зигзаги выводит она,
Что скрипки сдаются, куда там валторнам!

С беглянкой-душой я б ужился вполне.
А может быть, ну их – прекрасные дали?
С такой сумасшедшей попутчицей мне
Уйти далеко ухитриться едва ли.

Весь мир мой в слезинке ее голубой.
Все счастье в улыбке ее благодарной.
Мне есть в чем покаяться перед тобой,
Висящий на ниточке лист календарный...

12-14.12.2004

* * *

Я глаза закрою и снова
Припаду скулой к валуну.
Нынче вместо волка степного
Мой черед завыть на луну.

На земле записка от милой,
А в письме недобрая весть.
То-то сердце так заломило –
Ни вздохнуть, ни дух перевесть.

Боль – она умеет стираться.
Я приучен горечь терпеть.
Это надо очень стараться,
Чтобы мне расхотелось петь.

Ежели я вырвусь из плена,
Одолею эту беду –
Обопрусь рукой о колено,
Отдышусь и дальше пойду...

Может, вспоминал бы я редко
О чугунной этой тоске,
Если бы не белая метка
На моем на левом виске.

23.02.05

* * *

Мы лениво живем, настороженно глядя под ноги.
Нет бы нам смаковать каждый день, как сосут леденец.
Но на смену одной вырастают две новых тревоги,
И сжимает рука пустоту, а не меч-кладенец.

Нас спасет от уныния разве что непостоянство,
Да причуды дороги, да детских фантазий полет.
Чтобы нам объяснить, сколько света вмещает пространство,
Одурев от любви, перелетная птица поет.

Забурлив, побежало по веткам целебное зелье.
Облака досмотрели последние зимние сны.
Нам с тобой не пристало причины искать для веселья –
Мы дожили еще до одной безмятежной весны!

Так давай восклицать, принимая в безумствах участье!
Я хочу куролесить! Я смерти не сдамся живым!
Если я увлекусь, мне напомнит о хрупкости счастья
Боевой вертолёт над притихшим кварталом жилым...

13.03.05

Марк Вейцман

ГРУСТНО-ВЕСЁЛЫЙ, ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЙ

Через несколько дней после смерти Саши я получил письмо от Марины Бородицкой: «Как же мне грустно, что умер Крестинский! Как я его – чуть ли не с детства – любила! И рассказы о ленинградских мальчишках, и «деревенского» (почему-то) Ивана Моторихина, и стихи. Это ведь его? (цитирую по памяти): «Король Бим-Бом пошёл на бой за высохший ручей, хотя – и это знал любой – ручей тот был ничей...» Вообще он был какой-то свой, наш, грустно-весёлый, многослойный, детско-взрослый, как Берестов, Погодин, Коваль... Как сейчас помню: держу в руках свежий номер «Пионера», открываю на рассказе Крестинского про довоенных мальчиков, их секретную игру в солдатики, сразу попадаю глазами на фразу: «Кронино лицо облито мягкой смуглотой...» Мальчика звали – Кроня, Кронид. И сразу в глазах – зимний сумрак, чужой таинственный дом, лампа с абажуром, ощущение волшебства... Какая же я дура, хоть бы привет ему через тебя передала, «от неизвестной поклонницы». Или передавала? Эх!..»

...В середине 70-х Александр Алексеевич Крестинский, сотрудник журнала «Костёр», выдернул мои стихи из редакционного самотёка и опубликовал подборку в журнале. С его подачи в течение двадцати лет я был постоянным автором «Костра», ездил в Питер на знаменитые «костровские» семинары. На первый из них я прибыл с опозданием. В актовом зале Ленинградского Дворца молодёжи шло пленарное заседание. На сцене высокий, худой, чернобородый человек рассказывал о «костровской» поэзии. К моему удивлению, он по памяти стал воспроизводить мою «Обычную драку»:

Чужие мальчишки
возникли из мрака –
и Васька не струсил:
обычная драка.
А Колька замешкался
самую малость.
Он думал: что делать?
И Ваське досталось!
Потом он решился
и ринулся смело...
Но это значенья
уже не имело...

Но ещё больше удивился я, когда бородач стал темпераментно доказывать, что стихи эти истинно пионерские. «Товарищи» из ЦК ВЛКСМ и местные партийно-комсомольские боссы, восседавшие в президиуме, недоумённо переглядывались. «Кто это?» – спросил я. И мне ответили: «Крестинский».

Он руководил поэтическим семинаром. В тесном редакционном кабинете бок о бок сидели молодые писатели, критики, издатели со всех концов огромной советской империи, авторы журнала. Москвичи Андрей Усачёв, Марина Бородицкая, Лола Звонарёва, Лев Яковлев, Александр Архангельский (да-да, тот самый – из «Тем временем»!), ленинградцы Михаил Яснов, Сергей Махотин, Игорь Шевчук и многие другие, широко известные ныне литераторы. Приходили в гости и «старшие товарищи» – Борис Стругацкий, Даниил Гранин, Юрий Рытхэу, Святослав Сахарнов (он же редактор «Костра»), кинорежиссёр Александр Митта, композитор Григорий Гладков.

Атмосфера, во многом созданная руководителем семинара Крестинским, была непринуждённой, но стихи обсуждались по «гамбургскому счёту», без каких бы то ни было скидок и поблажек.

Книги Крестинского я прочёл позднее. Думаю, что его «Мальчики из блокады» – одна из лучших книг о войне. «Самолёт был невидим. Он шел на такой высоте, что зенитки не могли его достать, они надрывались, как псы на привязи: видят вора, а ухватить не могут... Над нами стояло чистейшее синее небо без единого облачка. Небо, которому нельзя было доверять».

Эвакуироваться не удалось. Отца отправили рыть окопы под Лугой. Там строили оборонительные сооружения, которые впоследствии немцы попросту обошли стороной. Вернулся – полутруп. Двое в штатском, вломившиеся в квартиру («Здесь проживает гражданин Алексей Николаевич Крестинский?»), опоздали: мертвый отец, завернутый в простыню, лежал в соседней комнате. Он был родным братом «врага народа» Николая Крестинского, бывшего секретаря ЦК, посла СССР в Германии, расстрелянного в 1937-м, так что арест всё равно рано или поздно должен был бы состояться. Опоздали...

В 1947 году Саша поступил в Ленинградский университет на философский факультет. Каждый день «брали» кого-нибудь из товарищей, оказавшихся «безродными космополитами».

Ещё будучи студентом, стал работать в школе – нужно было кормить рано заведенную семью – жену и дочь. Преподавал логику, психологию, историю, литературу. Работал старшим пионервожатым, ставил с ребятами спектакли, водил их в турпоходы. Стал писать и публиковать стихи для детей. Университетский приятель Игорь Масленников (постановщик популярного телесериала о Шерлоке Холмсе) пригласил поработать в молодёжной редакции телевидения, которой заведовал. Затем – «Костёр». В редакцию Саша приходил засветло, читал детские письма, наивные, но по-своему мудрые, готовил к печати статейки юнкоров. Возглавил школьный отдел журнала. В поисках сюжетов для очерков объездил всю страну.

Одна за другой в «Детской литературе» и «Малыше» стали выходить его поэтические и прозаические книги – «Туся», «Железнодорожный перестук», «Солнце на гвозде», «Маленький Петров и капитан Колодкин», «Жизнь и мечты Ивана Моторихина», повесть «Штиблеты для дедушки». Последняя – проходила в издательстве со скрипом. Ещё бы! Дедушка-то оказался еврейским! Человеком провинциальным, «мастером мелкого ремонта». Более того – пьющим и

– о, ужас! – говорящим с сильным местечковым акцентом. Тем не менее – добрым, цельным, житейски мудрым.

«Я приехал в Израиль, – напишет он впоследствии, – в мае 2000 года, растерянный, безъязыкий, не совсем ещё оправившийся от тяжёлой двухлетней болезни. Две вещи меня спасали: ежедневная дорога от Бат-Яма до Яффо по кромке моря, босиком, наедине со стихиями... и – театр Мушкатиных». (О «романе» Крестинского с молодёжным театром см. его эссе «Прогулки фраеров по Земле Израиля» в журнале «Новый век» № 3, 2003).

Хотя, конечно же, Крестинский был писателем не только детским. Он привез из Питера три отличных сборника «взрослой» лирики – «Тихий рокер», «Нищие неба» и «Отзовётся душа». В 2003 году вышла его поэтическая книга «Дорога на Яффо», лирический герой которой с юношеской доверчивостью и наивностью неофита идёт навстречу новой диковинной жизни, безусловно рассчитывая лишь на ответное стремление к пониманию и участию и категорически не желая лезть со своим уставом в чужой монастырь, ничего не скрывает от читателя, о себе повествует с обезоруживающей откровенностью:

Перед вами, мой читатель,–
Человек со стороны.
Так планировал Создатель
И моей в том нет вины.

Да, в определённой степени он был действительно человеком со стороны. Не мог, в частности, принять окололитературных нравов. «Слушай, – говорил он мне, – ведь этот N. – он же совершеннейший графоман! Между тем его стихи и песни на его тексты постоянно звучат в эфире, он собирает аудитории. Но самое страшное, что о нем пишутся хвалебные статьи не только такими же графоманами, как он сам, но и людьми, в литературе искушенными!»

Мы с ним жили по соседству, ходили друг к другу в гости. Саша много и напряжённо работал. Стихи, проза, мемуары. После сложной операции в больнице «Шиба» ему стало лучше. Он заметно приободрился. А затем наступило резкое ухудшение здоровья. И вот...

В начале 80-х группа ленинградских писателей обратилась в Президиум СП Украины. В письме выражалось возмущение по поводу проволочек с моим приёмом в СП. Среди десяти подписей была и подпись Александра.

...Однажды в издательстве дали Крестинскому на рецензию рукопись книги молодого, никому не известного автора Олега Григорьева. Саша сразу почувствовал, что перед ним стихи поэта редкого дарования. Он рукопись пересоставил и собственноручно перепечатал. Разумеется, рекомендовал её к опубликованию.

Григорьев оказался не только превосходным поэтом, но и одарённым художником. По мировоззрению и стилистике примыкал к группе «Митьки». За пьяную потасовку с милиционером Олега посадили. Александр Крестинский стал его общественным защитником. После одного судебного заседания уговорил судью и присяжных уделить ему 10 минут, в течение которых просто почитал им стихи Олега.

Голодная тюремная диета, которую испытал на себе Григорьев, связалась в воображении Крестинского с блокадным голодом. Он написал тогда стихотворение, посвящённое Олегу, и передал его в камеру. Вот оно (в сокращении):

ОДА РАЗДАТОЧНОМУ ОКОШКУ

Окошечко кухни блокадной,
Где пара летающих рук
Швыряет ораве всеядной
Железный тарелочный стук.
Обрывочный сон мой склерозный
Причудлив, подробен, сердит.
Там повар, усатый и грозный,
За выдачей порций следит.
И в царстве кухонного духа
Душа, неопрятно нища,
Летает, как пьяная муха,
Над вспученной магмой борща.
Да будет земля тебе пухом,
мне пайкою выданный век,
Нарпита пропитанный духом,
Отведавший атомный крэк...
К клеёнке прилипшая крошка,
Царапина детской вины,
И мятая скользкая ложка,
Что я оботру о штаны.

На заключительное судебное заседание журналистов не пускали, но ребята из «Пятого колеса» все-таки прорвались. Выступление Крестинского попало в телерепортаж. Потом ему звонила Белла Ахмадулина, спрашивала, чем может помочь Олегу. В судьбе Григорьева пытался принять участие и Эдуард Успенский.

Олега освободили прямо в зале суда. Саша хотел его обнять, но тот отстранился: «У меня вши»...

А ещё Крестинский помогал престарелому писателю Пантелееву, автору знаменитой «Республики "Шкид"», прояснял обстоятельства эвакуации на Кавказ школьников во время войны. А ещё... Да мало ли чего ещё!

В давнем стихотворении «Опыт биографии рода», посвящённом бывшей узнице Вильнюсского гетто Марии Рольникайте, он написал:

Говорю твёрдо:
Да, я жидовская морда.

По приезде в Израиль заявил: «Эту землю, как судьбу, приемлю». На вопрос «Как дела?» ответил: «Поят, кормят, работаю – чего же ещё!» Определил раз и навсегда: «Господь привел меня сюда не гостить, а жить» Жаль только, что прожить здесь ему довелось прискорбно мало – всего пять лет.

Вадим Халупович

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Трудно представить, что Саши Крестинского нет, что больше не увидеть его высокую спортивную фигуру, его красивое лицо, обрамлённое благородной сединой, не сказать ему, что мы рады его новым книгам, умению быстро сходиться с порядочными людьми. А это, особенно в Израиле, так непросто.

В Петербурге мы не были особенно близки, но образ его был всегда безупречен, порядочен и скромен. Он никогда не старался выделиться, выслужиться. Его книги для детей были замечательны, но первый «взрослый» сборник стихов вышел только в 1990 году.

На прощальном вечере перед моим отъездом в Израиль он эту книгу мне подарил, и в стихотворной надписи были такие слова: *Черепа лежат безглазые, / Между ними бродят мальчики босые. / Неоконченною фразою / Ты с поэтами прощаешься, Россия...*

Каждая новая Сашина книга поражала богатством используемых поэтических приёмов и удивительно точным, беспощадным зрением: *О, этот запах судебного зала, / Запах клозета, запах вокзала...*

И дальше: *Что мне о Времени скажет рассказчик, / Не предоставив для носа образчик / Дьявольской смеси из серы и гари, / В коей хрипят посеревшие хари...*

С нами рядом жил большой поэт – Израиля и, не побоюсь это сказать, России. По свободе говорения поэтического, по широте души, по интимной доверчивости к читателю и по только ему присущей деликатной интонации...:

Не в своём нам доме жить,
Не в своём прощаться.
Видишь, выносилась нить,
Начинает рваться.

Не натягивай, смотри,
Шутки с этим плохи,
Мы сегодня не внутри,
А вовне эпохи.

С тылу оползень сплошной,
Всё, чем дорожили...
Голос птички заводной:
«Жили-жили-жили...»

Он был нашим другом. И к этому относился трепетно и серьёзно. Жизнь его была трудной и скудной. Он не жаловался. Его любили.

17 января в Питере прошёл большой вечер памяти Саши. Читали его стихи, слушали старые записи. А 20 февраля мы собрались в Иерусалиме. И опять звучал с магнитофона Сашин голос – с последними стихами самой высшей пробы. Молча мы расходились с этого вечера. А стихи его оставались с нами. И останутся.

Александр Крестинский

ТАКОЙ ВОТ СЧАСТЛИВЫЙ УРОД

ЗАПАХ ЗЕМЛИ

Деревья молчали. Их тени легли
На коврик зеленого дерна.
Я запах почуял – то запах земли
Оттуда сочился проворно.

Он ноздри мои щекотал, как во сне,
И голову нежно дурманил,
Он ластился, словно котенок, ко мне
И всласть надо мной атаманил.

Я даже не думал, что так тосковал
По глыбе, что вывернет лемех.
Червей дождевых я душой обнимал,
Как братьев двоюродных племя.

Я бросился наземь. Зеленый ковер
Легко подо мною пластался.
Зеленый ковер и небесный шатер,
Я б с вами вовек не расстался!..

* * *

А. Дидурову

Всё небо в молниях косых,
Его я видел сам,
И треск разрядов голубых
Прошел по волосам.

И был я тощ, и был я наг,
И беззащитен был,
И был там друг, и он же враг,
И я его любил.

И нестерпимо стало мне
Светло и горячо,
И я глаза закрыл – зане
Я жить хотел еще.

Звучал тире и точек писк,
Взлетали вверх снопы
Космических электроискр,
И не поднять стопы.

И отголосок бурь глухих,
Подземных перемен,
Формировал мой новый стих
И брал он жизнь взамен.

Нет, не ступала здесь нога
Харит и аонид,
Одна лишь вольтова дуга
Поэзии – горит.

* * *

Я нужен Господу еще
Иль путь мой вышний пройден?
Несиротливо и нищё
Живу в любой из родин.

В России кисло мудаку,
В Израиле – муд-рею.
Здесь сладко полу-русаку,
Российскому еврею.

Как поросенок на огне,
Щекаст и розов манго,
Скрипит антоновка во сне,
А наяву – обманго...

Дорожным потом просолим,
Я к одному лишь годен:
Идти в Святой Ерусалим,
Где родина из родин.

* * *

Белый лист под каретку скользнул,
Солнца блик отразив налету.
Слышу гул, нарастающий гул –
Так берет самолет высоту.

Я не знаю, как лягут слова,
Припаду или воспарю...
Я люблю этот мир, и едва
Просыпаюсь – благодарю.

Бескорыстных объятий размах,
Бессловесных признаний пора...
Высота застревает в ушах,
Вагонетки идут на гора...

16 сентября 2004 года

* * *

Господи, да какой я еврей!
Столько намешано разных кровей!
Славный составили предки коктейль,
Только не дали мне крепких локтей,
Только любить научили закат,
Только любить научили восход,
И получился с головы и до пят
Такой вот счастливый урод...

* * *

Во ржи стою. Я ниже колоса
И зернышки в моей руке.
Синь. Тишина. Не слышно голоса,
Лишь птичий гомон вдалеке.

Мгновенье в звонком единении,
Ребенка с космосом дуэт...
Как знать, в моем втором рождении
Был повитухой этот свет?

Вдруг шорох ржи. И в знойном мареве
Мой друг – за совесть, не за страх.
Мечта о вареве и жареве
В отчаянных его глазах.

О, тех минут святая магия,
Когда спасаются от пут!
Мы с Кокой – беглецы из лагеря,
Где голодно и неуют.

Мы дети нрава беспечального,
И мы не выпустим из рук
Морковку с огорода дальнего,
И репку, и зеленый лук...
Хрустим!

Сто лет прошло. Ржаное поле то –
Глоток свободы на двоих –
И кровью и слезами полито.
Мой ржавый колос – этот стих.

8 января 2005 года.

ПОЛЁТ

...дрожащие огни печальных деревень.

Это не Европа и не Азия,
Это не Канада, не Китай,
Это, брат, деревня Безобразия,
Над которой лучше не летай.
Собьют!

Но душа моя меня не слушает,
Рада новым крылышкам – летит!
Ничего не пьет она, не кушает,
У нее к полету аппетит!

Я ее ласкаю нежным именем,
Я ее прошу: «Лети в Париж!»
А она планирует над Ильменем
Аж до самых деревенских крыш.

Озеро парит вечерней дымкою,
Рыбаки затеяли костер,
А она поодаль – невидимкою –
Слушает мужицкий разговор.

То да сё, дрова, грибы да ягоды,
Виды на улов и урожай,
И про те, про липовые выгоды,
Что сулит министр-краснобай.

Рыбачки меж тем врубили стерео,
Выловили «старку» из ручья,
А душа облюбовала дерево,
И моя, и вроде бы – ничья.

На сучке, как птичка незамужняя,
Знай себе тоскует под крылом,
Бедной той земле уже ненужная.
Дом бомжихи – небо над селом.

3-5 декабря 2004 года.

* * *

Кого спросить – ты любишь ли меня?
Кому сказать – паси моих овец...
Кому вручить, почуявши конец,
Всю неизвестность завтрашнего дня?

Увяла ветвь, прервалась связь времен,
О как побеги новые слабы!
Кто – смелый очерк собственной судьбы,
Как эстафету, пронесет вдогон?

Я головою к дереву приник –
Хочу услышать новый кровоток,
Хочу увидеть почку и росток,
Но как невнятен дерева язык!..

* * *

...А если вдруг в иные годы
Воротится моя душа,
Увидит ли живые всходы,
Знакомым воздухом дыша?

В какой-нибудь деревне малой
На бабушкином берегу
Забудется ль пришлец бывалый
Глубоким сном в сухом стогу?

А на заре в тугих покосах,
Где трав – коса не прокоси! –
Возьмет ли он суму и посох,
Пойдет ли с песней по Руси?..

ОТЕЦ

(*Писано в 107-ю годовщину со дня рождения*)

Мальчик в матроске
Из позапрошлого века.
Улицы, лица,
Фонарь, аптека.
Прочие отголоски
Позавчерашней жизни
В отчизне,
Которой нет.
Только карточка эта,
Что прилетела со мной
С того света
В обитель Бога.
Благословенна дорога!

Мальчик из Вильно,
Как ты доверчив,
Агнец,
Сын Николая и Анны...
Мальчик из Вильно!
Время бессильно
Вернуться

Хоть на мгновенье.
Стихотворенье
Старого сына,
Позднее бормотанье,
Братанье...

Кротко, ясно, невинно
Лицо твое,
Мальчик из Вильно.
Ты похож на царевича,
Последнего,
Убитого зверски.
Даже имя совпало.

ССОРА

Мы ссорились в сквере по ходу людей,
Причина была – мелочёвка.
Меж тем как по части высоких идей
Всегда между нами стыковка.
Уродина быта взяла нас в тиски,
И душу кромсала она на куски.

И вдруг вокруг
Запахло снегом,
Он хлынул разом, как вода.
Он послан был с небес стратегом,
Как ангел, прилетел сюда.

И вдруг вокруг
Все стало белым,
И сквер обличье поменял,
К нам прижимаясь хрупким телом,
Снег снова нас соединял!..
Я подарил тебе снежок
В тот час, в тот час,
Его лукавый холодок
Мне руку жжет сейчас...

Ты приняла холодный дар,
Нас бросило обоих в жар,
Снежок растаял.
Я рукавичкой руку тёр,
И пел в душе снежиный хор,
И мы с тобой мололи вздор,
И пёс бродячий лаял.

* * *

Мне приснилось, что мы молодые
И любим друг друга.
Не седые еще, не седые,
Не супруг, не супруга...

Мне приснилась любовь не телесной
А иною загадкой.
Между твердью земной и небесной
На башенке шаткой.

А была она цвета рубина
И чуть-чуть горьковата,
Как та памятная рябина,
Что мы рвали когда-то...

* * *

Становились нам родными
Дерево и куст,
Не куражился над ними
Никакой прокруст.

Вольно веяли ветвями,
Стоя на ветру,
Много лет играли с нами
В тихую игру...

Провожали и встречали
Летом и зимой,
Шли мы в радости-печали
Мимо них домой.

После – стало всё иначе.
И, погладив ствол,
Я ушел со старой дачи,
Навсегда ушел.

За лесами, за морями,
В дальней стороне,
Это дерево ветвями
Тронет душу мне.

Словно тайный вздох услышит,
Глянет между строк,
Всей листвой своей одышит:
– Как ты там, дружок?..

11 сентября 2003 г.

Нина Елина

О Лее

Как мы с ней подружились? В 1993-м, года через полтора после того, как я приехала в Израиль, нас познакомили мои родственники, жившие в Кирьят-Арбе. Они повели меня в Хеврон, и мы пришли в Адассу, бывшую больницу с пристроенными флигелями. Здесь и жила Лея Мушник-Гольдштейн со своей семьей: сын Шмуэль Мушник, художник-пейзажист и экскурсовод, изучающий и преподающий историческую географию, его жена Нехама – математик, работающая в вычислительном центре, и четверо их детей – дочка и три сына.

Мы вошли в квартиру Шмуэля. Большие шкафы, заполненные священными книгами, отдельно стоят альбомы по искусству. На низком диване сидели Шмуэль с приятелем, рассматривали какую-то монографию, и Лея, худенькая изящная женщина, в шляпке, из-под которой виднелись аккуратно причёсанные седые волосы, светлое лицо и яркие голубые глаза. Приняла она нас сдержанно, но радушно. Меня расспросила, давно ли я приехала, откуда, и я сразу почувствовала к ней симпатию.

После этого знакомства Лея несколько раз приезжала в Иерусалим, заходила ко мне и каждый раз становилась всё ближе и милее. Взгляды у нас во многом совпадали. Но поразила она меня не взглядами, а поступками.

В Москве я, по договоренности с иерусалимским редактором, написала книгу о Василии Гроссмане, но напечатать её в Израиле оказалось трудно. Прошло почти три года после моего приезда. К началу 1995-го я перенесла небольшую операцию, ходить по городу только-только начала и что делать с рукописью, не знала. И вдруг пришла Лея и решительно сказала: «Вот что! Я нашла дешёвую типографию, хозяева люди честные, вашу книжку быстро напечатают! Мы сейчас с вами туда поедем». «Но я ведь плохо хожу», – заикнулась, было, я. «Ничего, вы же не одна поедете, а со мной» Она говорила так уверенно, что я почувствовала себя твёрже на ногах. Дальше всё произошло так, как она сказала: книжку напечатали быстро и недорого. Она имела успех. Лея очень радовалась, хотя, как она призналась, Гроссмана, даже роман «Жизнь и судьба», она не любила. Тем временем я стала подумывать о публикации второй книжки: из Москвы удалось привезти написанные там невыдуманные рассказы, здесь к ним добавились ещё два, но я сомневалась, интересны ли они здешним читателям, не говоря уже о расходах на издание книги. Кое-что я дала прочитать Лее, и она твёрдо сказала: «Надо обязательно печатать!» И я прислушалась к её мнению. Так и вторая книжка увидела свет благодаря Лее.

Через несколько лет после того, как мы познакомились, Лея тяжело заболела. Ей сделали онкологическую операцию, и она решила не продлевать жизнь дополнительными мучениями. Как-то она держа-

лась, но в Иерусалим больше не приезжала. Зато я стала чаще ездить в Хеврон, а иногда и оставалась там ночевать. (Пока Лея была в силах, она встречала меня на автобусной остановке). Дома она рассказывала о себе, о своём детстве, молодости. Кое-что я узнавала и о её родителях. Они примкнули к партии большевиков совсем молодыми, до 1917-го, и до второй половины 30-х годов разделяли коммунистические идеи.

Отец, Шмуэль Розентуль, был родом из маленького украинского городка, очевидно, окончил традиционное еврейское учебное заведение, русский язык, историю, литературу и другие науки постигал самостоятельно. Мать, Зельда (Евгения) Дерчанская, родилась в Вильно и там окончила гимназию.

Их единственная дочь родилась в 1920 году в Москве. Они дали ей имя Люция (дома её называли Люся). Отец, по-видимому, оказался от природы талантливым экономистом. На рубеже 20-х и 30-х годов его послали в составе торгпредства в Париж и в Антверпен. Когда они жили во Франции, Лея училась в частном пансионе, хорошо освоила язык, познакомилась с французской литературой и приобрела сдержанную манеру поведения, свойственную европейцам. Мать в Москве работала в одном из отделений Наркомпроса, а во Франции служила в Торгпредстве. В Антверпене она не работала, и для девочки это был лучший год. Они вместе ходили в музеи, читали книги. В 1934-м вернулись в Москву, и Лея продолжила обучение в советской школе. В 1936-м отца послали сопровождать теплоход с грузом продовольствия для испанских республиканцев, сражавшихся против Франко. Это было опасное плавание, к счастью закончившееся благополучно.

Когда отец вернулся из Испании, его уволили с работы. К великому счастью арест его миновал. Но он не считал это счастьем. «Мне стыдно, – говорил он, – ходить по улице, когда честных людей называют врагами и запирают в тюрьмы». Когда в 1941-м началась война, отец добровольцем пошёл на фронт и не вернулся.

Он имел большое влияние на дочку. Хотя виделся с ней мало, возвращался домой поздно, когда она уже спала, но в нужный момент оказывался рядом. Однажды, в пятилетнем возрасте, она честно сказала явившемуся милиционеру, что у них живёт приезжая. Тётка, которая это отрицала, рассердилась на неё: «Нечего влезать в разговор взрослых». И после ухода милиционера поставила её в угол. Вернувшийся в эту минуту отец успокоил обиженную девочку: «Ты была права, надо всегда говорить правду». Позднее она, наверное, внесла корректив в эту фразу, но завет остался в памяти. Когда в первом классе учительница почему-то попросила учеников назвать их национальность (тогда такого рода вопросы ещё не были «в моде»), она ответила, как большинство других детей, «русская». Учительница посоветовала ей обратиться с этим вопросом к отцу, и он, посадив дочь на колени, объяснил ей, что она еврейка, и ничего дурного в этом нет. Когда Лея оканчивала школу, именно отец посоветовал ей поступить на медицинский факультет: «Врачебная профессия – хорошая профессия: будешь людям помогать». Она его послушалась.

Помогать людям, даже во вред себе – это свойство было у матери. Во время войны, живя в эвакуации скудно и голодно, она приняла мальчика-племянника, высланного с матерью в какую-то дальнюю деревню, и мальчик, пока власти не обнаружили его, жил у них. Лея унаследовала эту материнскую черту.

В 1944-м она закончила в Омске эвакуированный туда Московский мединститут и, хотя пятый пункт уже начал действовать, её по рекомендации нескольких профессоров оставили в аспирантуре. Очевидно, оценили не только её способности и усвоенные знания, но и понимание больных, и сострадание к ним, – дар истинного врача.

Но тут в Молдавии вспыхнул тиф; Лея случайно узнала, что среди мобилизованных на борьбу с эпидемией врачей – молодая девушка, у которой был тяжело болен отец, и тут же вызвалась её заменить. «Сумасшедшая!» – воскликнул декан. Лея только пожала плечами...

Вернулась, когда окончилась война, и начала заниматься в Москве в аспирантуре Института туберкулёза. Но неожиданно дар, который так ценили в ней профессора, обернулся другой стороной. Лея так близко принимала к сердцу страдания больных, что это грозило нервным срывом. Она переменила специальность – стала биохимиком.

...Первый муж Леи, Абрам Мушник был много старше её, преподавал электротехнику в Пищевом институте, выпустил несколько научных книг. Но главное – по убеждениям он был сионистом и всю жизнь мечтал об Эрец-Исраэль. Лея без колебаний согласилась ехать с ним и их сыном Шмуликом в Израиль. Но мечта Абрама не сбылась, незадолго до отъезда его сразила тяжёлая болезнь.

Преданно любила Лея и второго мужа, Павла Гольдштейна – историка, который около двадцати лет провел в советских лагерях. Впервые она его увидела в Москве, когда в числе многих других он зашёл к ней и попросил прислать ему вызов, подчеркнув, что вызов должен быть понадёжнее, т.к. он много лет провёл в заключении. Второй раз она встретила его на улице Иерусалима в день, когда он приехал, ровно через год после её приезда. Она его поддержала на первых порах, а затем вскоре стала его женой. Помогала Павлу издавать журнал «Менора», была его правой рукой. Ей были очень близки его религиозные и нравственные воззрения.

Она ухаживала не только за мужем, но и за его престарелым дядей, даже после смерти Павла.

К несчастью, и Павел умер преждевременно, прожив с ней всего одиннадцать лет. Остались единственный сын Шмулик и его семья.

Семья, в представлении Леи, была основой человеческой жизни, основой общества.

Выйдя на пенсию, она полностью отдалась заботам о доме. Готовила, угождая вкусам старших и младших. («Бабушки, – говорила она, – не воспитывают внуков, а любят их»).

Старалась не огорчать никого из родных, скрывала от них серьёзность своей болезни, молчала о мучительных болях.

Мне она всё же иногда признавалась в слабости, в болях, говорила, что хвастать нечем, но стоило ей почувствовать себя хоть чуть легче, она сразу же сообщала: «мне лучше».

Что она ценила в людях? Нравственность, мужество и смелость. Эти качества, считала она, так же определяют историю народа, как политика и экономика. Эти черты были присущи и ей самой.

В Москве, в шестидесятые годы, когда они с первым мужем были в отказе, она встречалась с разными людьми, за которыми пристально следила Госбезопасность, в том числе – с израильским дипломатом. Она передавала ему рукописи, письма, которые, попади они в руки властей, могли причинить ей и мужу большие неприятности. У неё дома ночевали люди, пытавшиеся выехать в Израиль. Когда её вызвали в КГБ, она держалась спокойно и хладнокровно отвечала на провокационные вопросы, а когда гэбист позволил себе сделать ей оскорбительное замечание, она встала, резко отчеканила: «На этом разговор окончен!» и вышла из комнаты, хлопнув дверью. После смерти мужа, родственники, друзья и знакомые стали отговаривать её ехать в Израиль. «Куда ты везёшь мальчика? На войну?». Но она осталась непреклонной. В 1970 году они со Шмуликом выехали в Израиль.

Чтобы переселиться в Хеврон, тоже нужно было мужество. Балкон, где она развешивала бельё, находится прямо над Касбой, напротив солдатского поста на крыше арабского дома. Во время стрельбы пули с лёгкостью могли пробить её дверь, а крики разъяренной арабской толпы, казалось, раздавались тут же, за стеной. Когда внуки подросли и начали участвовать в защите «незаконных» форпостов, она беспокоилась за них, но не возражала, считая, что они правы. Рассказывала она об их действиях со сдержанной гордостью.

Лея любила людей, и они платили ей тем же. В 1953-м, когда клеймили «убийц в белых халатах» и начались гонения на рядовых врачей-евреев, Лею – заведующую маленькой лабораторией при Пятой Советской больнице, вызвала главврач, на вид – партийный сухарь, и сказала, что лабораторию, вероятно, закроют, а Лею сократят. Но тут же добавила: «Если хотите, я вас устрою лечащим врачом в нашей поликлинике при больнице». Для того времени это был редкий поступок.

Впоследствии Лея опять вернулась к своей специальности, поработала во Второй Градской больнице, в научных институтах, а спустя несколько лет её разыскал директор Института вирусологии и, несмотря на Леину беспартийность, предложило заведовать большой биохимической лабораторией.

В Израиле она не вспоминала о своих научных успехах, зато основала в Кирьят-Арбе медицинскую лабораторию, которая освободила жителей города от лишних поездок в Иерусалим.

Среди ее друзей были коренные израильтяне и репатрианты российского, американского и иранского происхождения. Её дружбой дорожили такие известные люди, как Яков Эйдельман, Юдифь Ратнер, Роза Этингер Её имя не было широко известно, но те, кто при мне его называл, произносили его с уважением и сердечностью. Историк Шмуэль Этингер, с которым она резко расходилась во взглядах, (он придерживался левых убеждений), однажды в пылу гнева закричал: «Я остановлю машину – выходите!». Это не мешало им относиться друг к другу с большим уважением.

В обычные дни её навещали и ей звонили разные люди, и она с ними беседовала на разные темы от кулинарной до философско-религиозной, больше, правда, слушала.

О чём мы с ней разговаривали, когда я к ней приезжала, а потом – ежедневно по телефону? О самочувствии – совсем немного, о её внуках – с юмором, обсуждали статьи Дова Конторера. Думали вслух о том, что происходит в стране, часто с возмущением и болью, но всегда – с надеждой. Говорили о литературе. Она любила Толстого, придававшего такое большое значение семейной жизни, и была холодна к Достоевскому, изображавшего «случайные» семьи. С интересом относилась к Агнону, хотя не всё у него понимала, и отрицательно к Башевису-Зингеру – за его эротику и чертовщину. Восхищалась публицистикой Жаботинского, критиковала его художественную прозу.

В людях Лея старалась видеть только хорошее, а дурные черты не замечать. Если у меня не складывались с кем-то отношения, она не осуждала ни меня, ни другого человека, а миролюбиво замечала: «У вас психологическая несовместимость, лучше поменьше встречайтесь». Но при всей своей доброжелательности, Лея подлеца называла подлецом. Предательство – предательством.

Когда я приезжала к ней, она показывала свою Бейт-Адассу, другие старые дома и новостройки. Водила по лестницам, балконам и площадкам, открывала двери музея Хеврона, который создал ее Шмулик.

Любила она не только Хеврон, но и Иерусалим, весь Израиль; любила свой народ, верила в его мужество и стойкость, верила, что он не отдаст ни пяди земли, обетованной Всевышним. Она была последовательницей рава Кука, с уважением относилась к религиозным людям других направлений и не отвергала тех, кто остался вне религии, если только они не выступали с нападками на поселенцев и «харедим». Её собственная вера была очень глубокой. Она была убеждена, что Творец не оставит свой народ, а народ сделает правильный выбор.

Благодаря Лее, я поняла противоречия израильской жизни, психологическую и идеологическую разнородность людей, приехавших в страну. Но не только в этом и не только в практической поддержке была её помощь, она одарила меня сердечным участием, которое так нужно каждому человеку. Всегда была готова забыть о своей беде и помнить о твоей. Для меня она воплотила то лучшее, что есть в нашем пёстром смешанном народе.

До конца Лея боролась со своим страшным недугом. Но настал час, когда она мне сказала: «Больше не справляюсь, надо в больницу». Я не сразу поняла, что это особая больница, где людям помогают уйти без мучений. Это было за две недели до ее кончины. Мне сказали, что, уже находясь там, она пыталась вспомнить номер моего телефона, чтобы спросить, как я себя чувствую...

Пробыла Лея в этом последнем пристанище недолго... Через две недели её не стало...

Свеча догорела...

Владимир Болотин

И ТАК ЖЕ ДОЛГО БУДУ ЖИТЬ

* * *

До свиданья, Володя, до встречи, когда Господь
соберет нас опять воспеть на краю апреля
и субботними звёздами выстелет Млечный путь,
где дано обнять Иешуа и Гилеля.

И вернувши гитарам плоть, повернёт Мессия
и от Храма пойдёт пешком, ни гроша в кармане,
и твоя Иудея, брат, и моя Россия
у небесных врат на одной сойдутся поляне.

Ни оранжевых ленточек, ни поминальных свеч,
а родная речь – на Чимгане, в другом раю ли –
и пронзительно-звёздный, самый пасхальный луч,
по которому ты ушёл к небесам в июле.

…О любви и воле, о чём же ещё, о чём –
этот жанр устный, круг этот наш нетесный,
где с небесным градом Давида к плечу плечом
Академгородок небесный, Ташкент небесный.

Игорь Бяльский

* * *

Грустно ли быть весёлым?
Просто ли, взять и заплакать?
Горе шагало просёлками,
Словно король в новом платье.

Гляньте, король-то – голый!
С горем играли дети –
Спрятали солнце за морем,
Место лучами отметив.

Детство проходит скоро.
Взрослые в горе играли –
Спрятали солнце за морем
И в темноте потеряли.

ТРИПТИХ

1.

И пустота, чтоб явной стать,
Должна пройти через величье
И сотни книг, картин приличных
Необходимо написать,
Чтобы предстать во всём безличье.

2.

И славен тот, кто может знать,
Что он никто, но в день прекрасный
Свободный от трудов напрасных
Он с лёгкостью любови страстной
Коснётся кистью иль пером
Всего того, что есть кругом –
Деревьев, листьев, звёзд, и сразу
Померкнет солнце, Бог и разум,
И мир состарится, и в нём
Возникнет новый, где огнём,
Сжигая ложь, старьё и тени,
Сгорает гений.

3.

И мудрость, чтобы явной стать
Должна пройти через безличье,
Побыть природой, вещью, нищим,
Царю и вору стать подстать,
И вот тогда, сумев узнать
И суть, и ложь, и их соседство,
Вернуться даже дальше детства
Ещё за год до рождества,
Сломив законы естества,
И раньше на день иль на час
Себя же самого зачать.

* * *

Библиотекарь ты или кассир,
Девчонка-продавец из зоомагазина –
Люби его за то, что он мужчина,
Но чти поэта в нём, а не усы.

На перекрёстке, где полно машин,
Регулировщица, увидишь ты однажды,

Как он нарушит правила и скажет,
Что невиновен, знай: в нём нету лжи.

Будь женщиной, но не бросайся вслед
Из чувства долга перед светофором,
Он стар и слеп, как хиросимский ворон,
Видавший в жизни и поярче свет.

* * *

Горе, право, и не горе,
Если рядом друг.
Ну а если с ним вы в ссоре,
Если тьма вокруг?

Если он впотьмах, с разбегу,
Вдребезги и в дым –
Даже отсвет, даже эхо…
Он? А может ты?

Хуже вряд ли и бывает,
И обычней нет.
Ну и ладно, он-то знает,
У кого кто свет.

ЭЛЕГИЯ «СВОБОДА»

…и кости наши расцветут подобно зелёным веткам.
Исайя

Тогда, когда печаль легка,
Как лёгок ветер отчужденья,
Играет Божия рука
На клавишах освобожденья.

Вздымает торс внеземный свой
Вседержец вечный и Воитель
Над землями, над пустотой
В незримости своей пленителен.

Он шлёт столетьям и мирам,
Всему своё предназначенье,
Но среди них я сам не сам,
Как ветка в снежном облаченье.

И потому печаль легка
Тогда, когда я стар и молод,
И до Свободы не века,
А так, пустяк, лишь снег да холод.

НА ГРАНИЦЕ ЛЮБВИ

Я в приграничном районе. Вечер.
Солнце-прожектор меня высветил,
Ещё минута – и лягут на плечи мне
Сквозь ветви протянутые лучи-мысли.

Левее сердца – свобода, вечность,
Правее рана: мать, брат любимый,
Я убегу,
я буду отстреливаться
До последней капли лесной малины.

В плену зимы
Хирург, садист ли
Над сердцем склонясь, любовь мне вырежет,
И более смертных к смерти завистливый,
Не приходя в сознание, опять я выживу.

И вот я снова свободный как птица,
Лечу в расположение наших войск,
Чтоб пасть пред любимыми,
Где граничит
Со смертью бессмертие и любовь.

* * *

Народу полный двор,
Высокие как на подбор,
А я едва до подбородка
Им достаю рукой.
Не видно мне, кто там лежит в гробу,
Твердят, что молодой, красивый.
– И я смогу, –
подумал я.
Пусть солнце отвернётся от меня,
А я, привстав над всеми, как луна,
Взгляну на тайну безразличным взглядом
И тихо-тихо лягу рядом.

* * *

Наступит год, да так, что хрустнут косточки,
Активный, олимпийский, високосный,
А по подмосткам шелухой из горсточки
Рассыпался народ – разжал кулак Высоцкий.

Он умер, и потом всё переносится,
Доносится, что он назло, и всё не правда то...
Но гроб, как свет невыносим, выносится
И даже тени на колени падают.

Лежит, овеянный июльскими знамёнами,
Над ним ни свечки, ни креста и ни звезды,
Но караульные его беспечно вечно мёртвые
В руках с нейтральной полосы замёрзшие цветы.

* * *

О, Господи,
Я только блик Твой на влажной глине,
Что брошена Тобой на круг вселенский.
Ты лепишь из неё сосуд нелепый, дерзкий, –
Хранить подобие Твоё его удел великий.

О, Господи,
Я только блик Твой на бренном мире –
И облик мой предельно чист и ясен
На клавишах иль на могильных плитах,
Политых потом ли, слезами, или
На послеливневой земной, повальной грязи.

О, Господи,
Я только блик Твой на влажном мире...

* * *

Сокол соколу рад,
Лев льву,
А я как всем враг
Во рву.

Еле слышны шаги,
Фонаря свет...
– Если за мной – сгинь,
Дома нет!

Около поищи
Рва окрест,
Если найдёшь – свищи,
Но не здесь.

Клином опять свет.
Около тебя нет.

ОРУДИЯ КАЗНИ*

1.

– Скотина ты, гильотина,
дубина и та человечней,
ведь люди не из пластилина,
не прилепишь конечность,
а тем более голову.
– А зачем она голому?

– Скотина ты, гильотина,
Голый – так что ж бездетный,
иль денег не заплатил он,
чтоб умереть одетым?
Раздели, и голову к чёрту что ль?
– А зачем она мёртвому.

2.

Плакала плаха,
Со скрипом всхлипывая:
– Господи, на фиг
я с детства липой была.

Росла б орешником
Или осиною…
Пусть сами б вешались,
Зачем же силою.

Плаха плакала,
Палач поёрзывал,
Рубаха красная,
Топор берёзовый.

3.

Самоуверенный и нищим не товарищ,
Не путай с топорищем,
Не потрафишь.

Оно топорное, а он остёр
И щёголь.
Оно топорное, а он топор.
Ещё бы!

* Стихотворение о кресте из цикла «Орудия казни» опубликовано в «ИЖ» №20-21.

* * *

О, как славно быть
Ни под чьей «звездой»,
Ни под чьей рукой –
По теченью плыть
За самой водой,
За самой судьбой,
Никаких держав
И ничьих причуд
Не держась ничуть,
Крепко зубы сжав,
Лишь весло держать,
Поправляя путь.
Крепко зубы сжав
И закрыв глаза,
Никому сказать,
Что душа, дыша,
Ускользнула за...
Где ни сна, ни зла.
О, как славно быть
Ни под чьей судьбой,
Ни под чьей звездой –
По теченью плыть
За самой водой,
За самим собой.

ОСЕННИЙ ЭТЮД № 1

Разве мёртвых кто-нибудь обманывает?
Помнишь, лето пронеслось без капли лжи?
Лесостепь и озерцо внеплановое.
Много ль – мало ль? Не соврав, скажи.

Отпуск. Отдых. Умирающее лето.
Руки от крапивы в волдырях.
Пробирались к тайному, неведомому –
Оказались в пионерских лагерях.

Ну свернули бы тогда в болото,
Ну прошли бы чуть левее поле ржи.
Разве меньше бы Платонов был измотан?
Маяковский дольше бы прожил?

Не помочь ни прошлым, ни последнему.
Будь безгрешен, словно ангел, измолись.
Карусельные лошадки в тьму осеннюю
Убегают без оглядки, как и жизнь.

* * *

Осень. Снова ветер странствий
Бросил мир мне на ладони.
Целый мир печальный, как листок опавший.

* * *

Пока потихонечку,
Пока не спеша,
Пока не устала ещё душа,

Ты пёрышка кончиком,
Движением век
Сотри гончих полчища,
Загнавшие век.

Развей мимолётность,
Часы разбей,
Но сердца полотнище
В небо взвей –

Не гордым знаменьем
Чужих потерь,
А в знак примиренья
Людей и дней.

Пока потихонечку,
Пока не спеша,
Пока не устала ещё душа...

ПОЧТИ ПО ШЕКСПИРУ

Померещилась улыбка ль
Мне меж ветреных ланит,
Или кто-то дверью скрипнул
И сквозь щёлочку глядит?

Чей-то локон вьётся, об пол
Бьётся медленный хрусталь,
То ли глазки с поволокой,
То ли шпаги острой сталь.

То ли яд в словах холодных,
То ли просто капля лжи,
За портьерою Полоний?
Иль сквозняк, таясь, дрожит?

* * *

Сырой и тёмный снег забился в подворотни,
Извёсткой влажной пахнут стены на проспекте,
Зима сдаёт свои права бесповоротно,
И, честь отдав, их забирает март-автоинспектор.

Так идиллично наступает потепленье,
Но не всегда. Порою дерзкий нарушитель улиц,
Апрель несётся в скользком исступленье,
Сбивая толпы зазевавшихся сосулек.

Но тут и май спешит на место преступленья,
Допрашивает птиц – свидетелей досужих.
Народ шумит, галдя, как листья на деревьях,
И с удивлением глядит на впопыхах неубранные лужи

* * *

Тогда, когда меня не будет,
Я буду так же, как они,
Я буду так же, как они,
Которые уже не люди.

И так же долго буду жить,
Не разрываясь и не плача,
Вот только радость и удача
Меня не будут находить.

Тогда, когда её не будет,
Всё будет так же, как в те дни,
Всё будет так же, как в те дни,
Когда мы были только люди,

И петь, и верить, и любить,
не расставаясь на столетья,
мы будем громко, словно дети,
сквозь лихолетья проходить.

Тогда, когда нас всех не будет,
Мы будем так же, как они,
Мы будем так же, как они,
Которые навеки люди.

Мы снова с ними будем жить,
Деля их счастье, смысл и ужас,
Мы будем их живые души,
Им будет чем на свете жить.

* * *

Тяжесть женской груди,
Невесомость вечернего света,
Мной воспеты.
Но создан не мной
Облик твой неземной.

Твоё тело, как ткани рулон,
Тяжело и атласно,
Складки к лону стекают подвластны
Лишь портному поэту,
А он

Всё не выкроит ночь или лето,
Чтобы жить у тебя до рассвета.
Всё, на что он способен порой –
Это сшить из тебя два сонета,
Чтоб не холодно было зимой.

Ну а ты? Ты искусством согрета?

* * *

У ночи синий язык,
Вечером она слизывает с моих окон остатки дня,
И я вижу, какая чёрная у неё пасть,
Вся усыпанная острыми, мелкими звёздами.

Но я не боюсь её,
Она молода и красива.
Страшна ночь старая, мутная, беззубая.
Она липнет к моим окнам и прикосновением своим
Превращает их в зеркала.

В чёрные зеркала.
Сама, прячась за ними, ждёт.

* * *

Ходят, бродят меж людей
Нелюди.
Нелюдимы в ясный день
Рядом в невидаль.

Нелюбимые детьми –
В глазах наледи,
Невидимые они,
когда на людях.

Но в укромных пакостных
Головах-логовах
Их дела-замыслы
Пострашней волковых.

Оболгут, обгложут
Без стыда, чести,
Люди добрые! Люди Божия,
Будьте вместе.

* * *

Я пил с физиком спирт,
А вокруг установки,
Разноцветные кнопки –
Фантастический вид.

Я пил с физиком спирт,
И на той остановке,
Где прощались мы с Вовкой,
Там наука стоит.

* * *

В. Ланцбергу

Будто меня одинокое детство
Облаком дивным ведёт.
В сумрачный день солнцу не разогреться,
Разоблача небосвод.

Облачный день словно грозное знамя,
Жить запрещают врачи.
Пой и молчи – это как наказанье,
Хуже лишь гибель в ночи

Будто во мне обо мне беспрестанно
Подлый приятель стучит.
Пой и молчи, это больше чем странно,
Это от ада ключи.

Будто весельем своим озабочен
Клоун пошёл в палачи,
Пой и молчи – это больно не очень,
Хуже погибель в ночи.

Даже у полюса внутренним голосом
Молча сиянье поёт,
Голосом глобуса, колосом колосу
Поле молчит и народ.

Многоголосая, многопечальная
Молча Земля наша мчит.
Пой и молчи – это как заклинание,
Чтобы не сгинуть в ночи.

Молниеносное небо громоздко,
Кончился облачный рай.
Старый певец, умудрённый подросток
Кончился? Значит, играй.

Пой, и забудут врачи предсказания.
Пой, и замрут палачи.
Пой и молчи – это больше, чем знание,
Это победа в ночи.

* * *

Мой дом прогнил до основанья:
Чуть хлопнул дверью – и готово,
Он весь от потолка до пола
Вдруг вздрагивает, как в признанье
Чего-то злого.

В нём жизнь как пыль в щелях таится.
Сквозняк – и вновь всё завертелось,
Но к ночи мама разболелась,
И форточка разбитой птицей
К нам прилетела.

Не надо памяти и взглядов.
Но август холоден и вечен,
Как старый негатив исчерчен
Косым беспечным звездопадом.

Растопим печку...

* * *

Я сыт и в тепле, но порой
На хлеб насыпаю соль.
Чёрный белому предпочитаю
Что за антимечта?

Что за блажь? Наполняю потом
Я стакан пустым кипятком,
Как шампанское выпиваю.
В чём здесь тайна?

Дело в генах, наверное, в них
Отложились лихие дни,

Когда деды мои в опале
Выживали.

Хлеб да соль, да ус пожуют –
Ссылку переживут.
Ковш воды да глоточек воли
Переживали войны.

Деды выжили, вот и я живу,
Тоже солоно хлеб жую,
Запиваю водой простою,
Чтобы жить без простоев.

Губы вытер, соль стряхнул,
Крошки съел – пора за труд
Да помогут и мне они же
Средь довольства поэтом выжить.

* * *

Иван-царевич, не смей,
Не сравнивай себя с ней,
Ей можно и невозможное,
А ты при ней так, заложником.

Коль если что где не так –
Тебя поведут в овраг,
Вот так-то, Иван, вот так,
Останься-ка ты, дурак,
Останься живым, дурак.

Иван-царевич, не смей,
Иван-царевич, не бей,
Иван-царевич, не пей,
Иван-царевич, не верь.

А так как здесь всё не так –
Меня поведут в овраг.
Вот так-то, страна, вот так.
Иван-царевич – дурак.

* * *

Я чувствую себя небесно-старым,
Небесно-голубым я был вчера,
И звёзд на небе только и осталось
Что до утра.

Я чувствую себя лазурным горем,
Лазурность моря приторно-ясна,
Из ста просоленных насквозь историй
Одна слеза.

Я чувствую себя безбедно-нищим,
Безбедно жившим жизнь не так сладка,
А мне весь мир людской как ветка вишни,
В ней два цветка.

Я чувствую себя, но вот что странно –
Нет имени тем чувствам, словно снам,
И я, дорогу потерявший странник,
Ищу слова.

* * *

Если я не против флага над школой,
Значит, я против неба над флагом.
Дисгармония – это не шкода,
Это либо предательство, либо лажа.

И художник – это не рожа,
Не взгляд и не пальцы даже.
Это – когда фальшь невозможна,
Даже если возможна драка.

* * *

Я некто,
Наносящий на карту объекты,
Сверхсекретные данные века,
Заношу в свой блокнот и вещи,
Не имеющие значения для сегодняшнего человека.

Я разведчик. Мой шифр «вечность»,
И когда-нибудь на рассвете
Завоюют тот мир поэты.
Мной разведанный в день победы,
Будет взорван весь и воспет он.

Между соснами в бледной просини
Облака, как из края отчего…
Я разведчик. Меня забросили в пятьдесят пятом.
Сеанс окончен.

Публикация ***Татьяны Болотиной***

Инна Лиснянская

НА КРЫЛЕЧКЕ

Письмо Дмитрию Полищуку

Дорогой Дима! Павел Нерлер и Николай Поболь, задумав издать книгу, посвященную памяти Семена Израилевича, обратились ко мне – не напишу ли я воспоминания. Это было почти три года тому. Но тогда рана была так свежа и так глубока, что из нее могли хлестать, рваться толчками, сочиться только стихи, любящие, скорбящие, помнящие и надеющиеся на посмертную встречу. К тому же у меня еще при жизни С. И. была написана прозаическая вещь «Хвастунья», где Липкин – главный герой, если не считать самой хвастуньи, то есть меня. И когда Вы, Дима, вновь попросили меня вспомнить еще не вспомненное, я сослалась на уже написанное мной о характере и быте С. И. в моем «мономане». И думалось мне, что вспомнить дополнительно я ничего не смогу. Но вот, когда для меня три года без любимого человека и поэта превратились не в календарное времяисчисление, а в вечность, я задумалась. Если все-таки вернуться к условности, я имею в виду календарное время, то многое вспоминается иначе.

Третью зиму я живу у своей дочери в Иерусалиме, куда в ноябре 1989-го мы с Семеном Израилевичем по приглашению мэра города приезжали для выступлений в Тель-Авиве и Иерусалиме. Жили мы в иерусалимской гостинице Мишкенот Шеананим, что в переводе на русский – Дом для блаженных. В этой роскошной гостинице С. И. действительно блаженствовал после довольно трудного периода жизни. Особенно по вечерам он любил выходить на длинный общий для всех проживающих балкон. Проживающих мы на нем не видели. Не потому, что перед нами открывался под звон вечерних колоколов непередаваемо красивый вид на Старый город с его минаретом и храмами, а потому, что проживающие возвращались в гостиницу слишком поздно. Семен Израилевич почти допоздна не уходил с балкона, на котором собиралось не меньше семи-восьми кошек. По-моему, ему здесь и только однажды в жизни понравились кошки, а так он их не любил, видел в них нечто вкрадчиво-предательское. Он восхищался, что любуется сразу тремя типами огней – разноцветными и многоступенчатыми огнями города, которые в Иерусалиме же и воспел в стихах, крупно-синими звездами и пронзительно зелеными кошачьими глазами. А еще повторял, что жить он хочет в России, а умереть в Израиле. Повторял, так как неоднократно говорил об этом в 1970–80-е годы, когда началась эмиграция евреев. Это предлагалось нам и властями, не желающими терпеть людей, добровольно вышедших из Союза писателей, можно сказать, из дворца переселившихся в подвал. Но властям, конечно, Липкин своей мечты не высказывал. Он этой мечтой отвечал на вопросы как уезжающих евреев, так и рус-

ских друзей: мол, почему бы не уехать из страны, где тебя лишили права на профессию и где подвергаешься опасности, в свободный мир, где уже выходят твои книги и где тебя никто не тронет?

«Хочу жить в России, а умереть в Израиле», – почти неизменно отвечал Липкин. Он вообще был большим мечтателем, иногда почти утопистом. Так вот, жить в России, а умереть в Израиле и было одно из его несбыточных мечтаний. Сам же он утопией считал свою мечту быть читаемым поэтом после смерти. И редко мои слова восторга перед его поэзией принимал всерьез, а все же Семену Израилевичу было приятно слышать похвалы.

И вот сейчас я вновь, как в своем предисловии к посмертной публикации стихов Липкина в журнале «Знамя» об архиве поэта, повторю поразительную по правдивой простоте мысль Ахматовой *«Когда человек умирает, Изменяются его портреты»*. Что, собственно, меняется в портретах? Главным образом, наше отношение к умершим. Пока человек жив и с нами, мы замечаем много всяких черт – и крупных, и мелких. Когда человек умирает, то память становится гиперболой, если речь идет о значительной личности. Вот ушел Семен Израилевич, и куда с его смертью подевались некоторые мелочи в его характере? Куда подевались мои жалобы на эти мелочи? И это вовсе не пошлость наподобие «нет человека – нет проблемы», вот и вспоминается радужно. Просто смерть сбрасывает всю шелуху с прожитой жизни, если ее проживает душа высокая и целомудренная, каков и был Семен Израилевич. Для меня он всегда был Сема, а теперь почти неизменно я его и в разговорах, и в письмах называю по имени-отчеству. А все потому, что изменился его портрет, укрупнив крупное.

Я это письмо пишу Вам, Дима, поскольку Вы чаще кого бы то ни было из друзей с 2000 года по 2003-й приезжали к нам на дачу и подолгу разговаривали с Липкиным. Помните, я, бывало, жаловалась на него – дотошно точен, все по часам, меня от себя ни на шаг не отпускает, ревнует ко всем, даже к моему брату. А ведь не приходила в голову простая мысль, ибо я ее страшилась, – С. И. чувствовал и понимал, что недолго ему осталось, и нуждался в постоянном моем присутствии. Нет, не для того чтобы я его поддерживала при ходьбе, а по призыву его знакомого поэта Александра Кочеткова: *с любимыми не расставайтесь!* А бывало, что греха таить, я раздражалась порой на свою подневольность, хотя виду и не показывала. А теперь всегда, даже в данную минуту, сидя на полукруглой каменной скамье напротив фонтана возле Мишкенот Шеананим, думаю лишь об одном – вот бы вдруг, как бывало в том ноябре, появился неожиданно Семен Израилевич, как он любил, возвращаясь с прогулки. Боже ж Ты мой милостивый, как была бы я счастлива – пускай бы на мгновенье от себя не отпускал, пускай по двадцать раз повторял одни и те же рассказы, ссылаясь на то, что Лев Толстой тоже повторялся. Это все я описывала в «Хвастунье», весело замечала его мелкие недостатки, подтрунивала над ними. А это все шло от счастья. Потому что только когда теряем счастье, осознаем, что были счастливы. Так счастливы, что позволяли себе посмеиваться над любимыми. Кто знает,

может быть, сам Господь, творя человечество и любя свои создания, посмеивался над делом рук своих!

Посмеивалась я над Семеном Израилевичем в «Хвастунье» за то, что он все поучал меня держаться с ахматовским достоинством. Теперь я понимаю, что он просто по многим поводам любил говорить не только о стихах Ахматовой, но и имя ее произносить. Да, когда умирает человек, изменяются его портреты. И для Семена Израилевича изменился портрет поэта, написавшего две эти строки. А ведь при жизни Ахматовой он, как признавался мне, за глаза называл ее старухой, грубил Марии Петровых по телефону: «Старуха мне надоела, все время вызывает к себе надо не надо»! Но умерла Ахматова – и умерли в сознании Семена Израилевича все мелкие мелочи, раздражавшие его. Портрет изменился – это была уже Ахматова в нимбе ясного света вкруг крупного лица, где ни пылинки. И даже когда Семен Израилевич, бывало, говорил, что Ахматова искусно выстраивала свой образ, он нежно отсылал меня к строке Пастернака: «Ваше право, так надо играть». Но сам он и как человек, и как поэт никогда не играл, разве что принижал себя несколько, рассуждая о своих стихах, однако был совершенно уверен в том, что высказал именно то, что хотел высказать. Его всегда мучило не *что* он сказал, а *как*, с какой мерой художественности. Семен Израилевич пытался ясно осмыслить любое событие, любую частность жизни и с той же ясностью донести обдуманное до читателя. А почему ему так нужна была четкая досказанность? Говоря его строкой, – *Чтоб остаться, как псалом*. А в наше безумно-перестроечное время, в 1995 году, в стихотворении, посвященном Василию Гроссману, мечтал:

Когда безумие воинственно,
А в сердце тьма и пустота,
Как нам нужна простая истина –
Таинственная доброта.

Когда мы заняты раструскою
В родной стране, в умах, в быту,
Как ты, я верю только в русскую
Бессмысленную доброту.

О своем друге Гроссмане Липкин мог говорить часами, как и о других своих немногочисленных друзьях, особенно умерших. Но и недостатки их от себя, да и от меня не скрывал, хотя портреты и изменились. Помню, с каким достойным, еле сдерживаемым ликованьем говорил мне С. И. о своей убежденности в том, что своими настырными разговорами столкнул-таки Васю с советских рельс. Из-за этого «сталкивания с советских рельс» однажды между ними произошло охлаждение. Они стояли на утесе над Волгой. Гроссман приехал в Сталинград в дни, окончившиеся победой, и что-то стал говорить о роли партии в Сталинградской битве и рассердился на Липкина за его настойчивое возражение: «Не вижу никакой роли партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ». Эту фразу я запомнила дословно из-за мысли, что сам Господь Бог вселился в народ. Но

впоследствии Гроссман, не будучи религиозным и думающий, что Сталин извратил Ленина, как считали многие интеллигенты, согласился со своим младшим другом. И дальше пошел, написав «Все течет». И Семен по-детски радовался, считая, что благотворно повлиял на Гроссмана, хотя другим этого не рассказывал, дескать, нескромно. В своих воспоминаниях «Сталинград Гроссмана» он лишь намекнул на причину недолгой размолвки. Семен Израилевич, будучи крайне скромным, я бы сказала, застенчиво-скромным, ставил себе в заслугу лишь то, что сохранил беловик арестованного органами романа «Жизнь и Судьба».

Сейчас, встав с пригостиничной скамьи, добравшись до компьютера, усевшись за письмо к Вам, хочу написать о последних годах жизни Семена Израилевича.

В конце ноября 1999 года Липкин наконец получил от литфонда дачу, о которой многие годы мечтал и даже устно и письменно просил, хотя никогда ничего не просил у властей. «Ничего мне не доставалось даром от советской власти, – любил повторять мне С. И. – Я работал не покладая рук и за все платил или расплачивался».

Не хочется мне сейчас вспоминать, как его дурило руководство литфонда, как сулило дачу и обманывало. Но не могу не сказать, что Липкин грозился написать повесть о руководителе литфонда, которого он называл новым типом гоголевского Чичикова. Грозиться грозился, а меня усадил за письмо в ПЕН-центр, за мою первую в жизни и последнюю письменную жалобу. Я подробно написала, как нас мурыжил и обманывал обещаниями руководитель литфонда, ссылаясь не на свои решения (он, мол, всей душой за нас), а на якобы нелюбовь к нам писателей – членов ПЕН-центра, а сам, оказывается, состоял в общественном руководстве ПЕН-центра. По просьбе С. И. я также написала, что, если ПЕН-центр не прислушается к нашим словам, то мы не хотим числиться в организации, один из руководителей которой – человек без малейшего намека на честь и совесть.

Но для чего я об этом? Я ведь намеревалась лишь благодарно вспомнить Андрея Вознесенского и, в особенности, Зою Богуславскую, добившихся дачи для Липкина. Помог и Олег Чухонцев, сказав, что просить надо конкретную дачу, и указав на освободившуюся часть одноэтажного домика, где до самой своей смерти жил Марк Галай – летчик, Герой Советского союза, писатель, человек чистый и благородный. Дом этот стоит неподалеку от музея Окуджавы, впритык к музею находится небольшая дачка Чухонцева и его жены, Ирины Поволоцкой. Через дом от нас – дача, на которой жил Анатолий Рыбаков, а сейчас живет наш друг – Наталья Иванова. Нам понравились и дом, и соседство. Эту улицу мы хорошо знали, часто из дома творчества догуливая до Рыбакова, с которым Липкин приятельствовал и талант которого высоко ценил, что не мешало ему на обратном пути добродушно подтрунивать над подробным хвастовством Анатолия Наумовича, – перевели его книги на все языки мира, все корреспонденты мира пишут о нем и интервьюируют его и т. п. Надо сказать, именно Рыбаков отговорил нас выходить из ПЕН-центра, усты-

жая: «Не делайте такой глупости. Вы уже однажды выходили из союза писателей, и ваше теперешнее намерение выйти из ПЕН-центра выглядит дурацким фарсом».

В конце ноября я получила ордер на дачу. Всегда и во всем терпеливый, даже медленный, Липкин лихорадочно заторопился, и я не менее лихорадочно начала обустраивать дачное помещение. Не будучи хозяйственной, проявила невероятную прыть; конечно, мне помогала в покупках сестра Оля и дежурная в доме творчества – красавица Марина Красина, предложившая себя в помощницы и по сей день не оставляющая меня своей заботой. В течение трех недель был сделан косметический ремонт, приобретены некоторые вещи в магазинах, а некоторые – подержанные и списанные – в доме творчества. Кое-что перевезено из городской квартиры. Семен Израилевич, естественно, в этом не участвовал, но не по старости лет, а потому, что, кроме любимого дела – мытья посуды, в быту был всегда беспомощным неумельцем. Но нет, еще он тщательно протирал тряпкой письменный стол и пишущую машинку «Эрика». Ее мы на дачу не взяли – я освоила компьютер и под диктовку писала все нужное для С. И. или выпечатывала из тетрадей. Когда на даче все уже было приготовлено к его приезду, осталось последнее – взять с собой кресло Семена Израилевича, сидя в котором он любил смотреть телевизор. Тут С. И. ухватился за подлокотник: «Кресло не забирай»! – «Но ведь тебе оно понадобится, – начала я убеждать, – а такое же из моей комнаты я перенесу в твою». Он убедился быстро, так спросонок убеждаешься, что больше не спишь. У него было такое же выражение лица, как в конце телевизионного фильма о нас, где Семен Израилевич недоуменно развел руками: «Куда вы меня зовете»?

А я его в середине декабря уже звала на дачу. Семен Израилевич был доволен всем – и более просторным помещением по сравнению с городской квартирой, и тем, как мы с Мариной все расставили, и светлыми, неброскими обоями, и старыми домотворческими занавесями, и даже дешевыми безвкусными светильниками, и тем, как наш давнишний друг Коля Поболь поместил в двух комнатах книжные полки и заполнил их книгами, – они встали приблизительно в том же порядке, что и в городе. Но особенно, конечно, тем восхитился, *что* за окном. А за окном зима стояла, как невеста. На небольшом участке пышно кудрявились лиственные деревья, будто радующиеся смене желтого одеяния на белое, искрящееся солнечным морозом. А елки вдоль забора походили на старинных стражников в треугольных блескучих шапках, сработанных то ли из ангорской шерсти, то ли из облаков. А выдающийся, самый мощный треугольник заснеженной ели располагался, сторожа покой, у самого крыльца. Это крыльцо будет играть огромную роль в последние три года жизни Липкина. Об этом крыльце я постараюсь не забыть в письме. Новосельный двухтысячный год мы встретили у нас с Юрием Карякиным и его женой Ирой, заглянула и не накоротко к нам Наташа Иванова. Карякин долго говорил Семену Израилевичу о его поэме «Техник-интендант», не только об особенностях содержания, но и об органичном для этой поэмы свободном стихе и его редкостном ритме. Долго говорить Ка-

рякину не о Достоевском – это значит, говорить минут пять. А там, конечно же, разговор перешел на любимого классика, но говорили и об Ахматовой, и о Гойе, которым в последнее время Карякины более чем увлечены.

Годы, прожитые Семеном Израилевичем на даче, были по-своему счастливыми, но нелегкими. Здесь его радовала природа, а чему бы он радовался в городе? Ведь он так любил подмосковные прогулки! Правда, они становились все короче, а в зимние дни и вовсе постепенно прекратились – свелись к креслу на крылечке. Зимой Семен Израилевич надевал обширную синюю куртку на гагачьем пуху, высмотренную для него Майей, женой Василия Аксенова, у которых мы в 1989-м несколько дней гостили в Вашингтоне. Но куртки было мало, я укутывала его ноги в плед, и Сема по часу и по полтора дышал воздухом. Гораздо больше времени он проводил на крыльце в поздне-весеннюю, в летнюю и начально-осеннюю пору. На крыльце он не читал, а наблюдал за лесом, ибо садом наш участок никак нельзя назвать, цветов не сажали, за двумя яблоньками не ухаживали, и они дичали и хирели. Но все не садовое продолжало цвести и отцветать – подснежники, одуванчики, незабудки и, как ни странно, – пионы. Росли, видимо, из благодарной памяти о бывшем хозяине. И из той же благодарности на клумбе под кухонным окном вдруг вылезали то несколько тюльпанчиков, то ирисы. А всю клумбу захватили огромного роста лопухи и выжили растущий по соседству куст жасмина. Глядя на агрессивный лопух, Семен Израилевич вздыхал, жаль было сада. Вздыхал безропотно, понимая, что садом некому заняться. И вообще, Семена Израилевича ужасала всякая агрессивность, в частности, та, с какой в Переделкино богачи-нувориши вкладывали деньги в постройку разнообразных дворцов с эклектичными башенками, огораживались высокими каменными заборами, рубили заповедный лес. Кустом бордово-фиолетовой сирени старый поэт подолгу восхищался и печалился, когда эти тяжелые гроздья скукоживались. Это о крыльце.

Но ведь до последних дней Семен Израилевич и на прогулки выходил. Первый год сам, а после в моем сопровождении. Вообще, его возраст главным образом определяла походка. Помню, когда мы в 1967 году познакомились в Малеевке, солидная палка уже имела место, но эта палка с набалдашником в виде головки змеи служила для Семена Израилевича признаком важности, он был важен даже при ходьбе, а не только в суждениях и разговорах. Однако и весел, – и размашисто, помальчишески писал змеиным жалом по снегу: «Инна, я тебя люблю». Лет через десять он стал нехотя опираться на свой посох. У него даже одна из поздних стихотворных книг названа «Посохом». А уже в последние шесть лет жизни, крепко держа в руках змеиный набалдашник, осторожно налегал на дорогу. Дачные прогулки были недалекими. За домом, за ветхим забором уже начинался заповедный лес, на задах дома – корт. Семен Израилевич в летние месяцы, если не дождь, один или со мной, а в последнее лето при моей обязательной поддержке, уже мало надеясь на один только посох, делал полукруг: сначала шел по Довженко, на углу сворачивал налево, в переулочек, ведущий в лес, и направлялся к задам нашей дачи, то есть к корту. Держась за железную

сетку-ограду вокруг корта, он, стоя, подолгу наблюдал за игрой, особенно ему нравилось следить, как уже немолодая худощавая женщина учит детей теннису. Черный пуделек преподавательницы облаивал зрителя, но тот не отводил от детей и мячика своих серо-зеленоголубых, в зависимости от освещения, глаз с широкими веками, глаз слегка выпуклых и на редкость внимательно-выразительных. С. И. так пристально наблюдал за игрой, что я иногда шептала ему в ушной аппаратик, мол, неловко так подолгу стоять и так въедливо смотреть, но он, передразнивая меня, отмахивался моим жестом – рукой вниз.

Да, ушной аппаратик уже мало помогал Семену Израилевичу. Поэтому корт и дачный участок, где черно-белые с красной грудкой дятлы да пестро-зеленые синицы на деревьях, были почти единственными зрелищными, подвижными кадрами. Из деревьев его больше всего привлекали березы и, когда из четырех две старые, едва держащиеся на корнях, были срублены, С. И. так горевал, как будто смерть расправлялась с его собственной жизнью. Но и печалился он кротко и непродолжительно. Он вообще ничего не требовал и, если жаловался на здоровье, то мне. А на вопросы, как он себя чувствует, шутил: «Ушел из большого спорта», а если было не до шуток, отвечал: «По возрасту» О том, что у него сильно испортился слух, напоминал, например, Олегу Чухонцеву, говорящему, как правило, тихо. Да, друзьям напоминал, так как было интересно их слушать. А некоторым, случайным людям, лишь головой кивал, дескать, слушаю, кивал, не желая объявлять о своей глухоте. Из-за этого недуга С. И. отказался от телевизора, не расслышивал, когда два голоса, да еще – музыка. А глазеть в экран не слыша – такое действие его оскорбляло.

Ведь слово для него было главным, а писал в последние три года Семен Израилевич очень редко. Все время читал, то что-нибудь серьезное, то – детективы. Из отечественных детективщиков нравился ему один Акунин. Читал половину дня, исключая часы прогулок и сиденья на крылечке. От длительного неписания Семен Израилевич страдал. На свое молчание жаловался лишь мне и очень близким людям. Я, как умела, утешала его, мол, это временно, для поэтов периоды молчанья закономерны, и тут же перечисляла периоды молчания у Ахматовой, Пастернака и Мандельштама. Ссылалась и на его недавний перевод Гильгамеша – сколько, мол, энергии ушло. И это правда. Шутка ли – перевести Гильгамеш! И не могла я пошутить: «Зимянин не звонит», как всякий раз шутил С. И., когда я жаловалась, что не пишется. «А куда тебе спешить, – прекращал мое нытье Липкин, – Зимянин не звонит!» Зимянин был долголетним главным реактором газеты «Правда»

Главным же девизом Липкина было: «*Молчи, скрывайся и таи*». Более всего он таил от людей свои жалобы, трудности и печали.

Вот и теперь наша помощница Марина Красина вспоминает Семена Израилевича приблизительно в таких выражениях: «Никогда не встречала такого умного и доброго человека. Никогда не канючил. Даже если болел. Всегда побрит и чисто одет. Всегда каждого внимательно выслушивает, вот и о своей жизни я ему рассказывала, а он подбрасывал чуткие вопросы. И ведь ни на что не жаловался! Все ему нравилось, что ни сготовишь. А благодарил-то как остроумно: "Спа-

сибо, Мариночка, Ельцин такого не ел!", а как Путин пришел, – "Путин такого борща не ел!" Семен Израилевич только однажды, на третье лето, покраснел и признался: "Мариночка, я фаршированных перцев не люблю". А я их раз сто за три лета, наверно, фаршировала. И ни звука недовольства! Вот лежали Вы в больнице, так Семен Израилевич на каждый звонок бежал. Я ему говорила: "Уж лучше и дома с палкой ходить" Но куда там! Любил жизнь, а вас-то, Инна Львовна, как любил, как кричал в телефон: "Инночка, я тебя люблю!" Никогда я в старых людях такой любви не видела».

Тут я ее обычно перебивала, чтобы поговорить, как восхищался Семен Израилевич ее красотой. Марину хлебом не корми, но поговори с ней о ее красоте или кулинарном таланте. И то и другое – чистая правда. И я в который раз начинала о том, как Семен Израилевич любовался ею, когда сидел на крыльце, а она развешивала белье после стирки. Еще бы не залюбоваться ее статной фигурой, пышущей здоровьем, ее стройными ногами (ходила или в шортах или в короткой юбочке), ее высокой соломенной прической над тонкими чертами лица. Марина подхватывала – да, любовался и даже пел.

Сидя на крыльце, Семен Израилевич часто, особенно в последнее лето и осень, напевал. Напевал он старые еврейские песни, слышанные им от родителей, бабушки и соседей. Мотивы тех песен, какие я слышала в исполнении сестер Бэрри, он нещадно перевирал. Музыкальный слух у него был, но пассивный. Он слышал, когда мелодию перевирает другой, но сам воспроизвести мотив правильно не умел. Я очень любила часы, когда он начинал свое тихое напевание. Чувствовалось, что он в гармонии со своей памятью, с мыслями о родной Одессе, о своих родных и с самим собой. Старалась не мешать, но он звал меня и просил, чтобы я спела «Тумбалалайку». Я выучила ради него припев песни, а вот куплеты никак мне не удавались. Тогда Сема начинал делать дирижерские движения руками и просил петь куплеты по его подсказке. На самой высокой ноте он подымал вверх указательный палец. А потом начинались наши беседы о родных, о знакомых. О поэтах, ушедших и живущих. Об этом я уже говорила, хоть и не подробно в «Хвастунье», лучше всего сам Липкин в своей мемуарной книге «Квадрига» изложил многие свои соображения о литературе и писателях, написал воспоминания о них. Стиль письма в этой книге, плотный, густой, насыщенный мыслями и деталями. В мемуарах он умел отодвигать свою личность в тень так, чтобы она была видна исключительно в необходимых для повествования случаях, подчеркивая свет, исходивший от воспоминаемых, что нынешним воспоминателям, в том числе и мне, не свойственно.

Обычно на крыльце, после пения, мы начинали перебирать в памяти наши две поездки в его родную Одессу. В первый раз мы останавливались в небольшом номере гостиницы «Аркадия» – это то ли близкий пригород, то ли окраина города. Нам не повезло только с номером, именно над ним в ресторане располагался джазовый оркестр. В остальном все было прекрасно, море, Дерибасовская, театр оперы и балета, порт и корабли на рейде, аллея на набережной, обилие акации и рыбы, нарядные щеголи и щеголяющие нарядами упи-

танные женщины, одесские трамваи. Мы смеялись, вспоминая, как в одном из них, перед остановкой, сидящий немолодой господин постучал костяшками пальцев, как в дверь, в мой зад: «Женщина, вы выходите?» Еще вспоминали разные смешные эпизоды. Но главным не столько моим, сколько его воспоминанием, были православные и католические храмы, синагога. Больше всего мне нравилась греческая церквушка, сохранившаяся в целости после стольких атеистических погромов. Она меня привлекала не только тем, что часть стены была расписана розовыми цветами на горизонтально расположенных, толстых зелено-коричневых стеблях, какие я видела только на бакинских стенах в спальне родителей, а тем фактом, что церквушка жива. Воспоминания Семена Израилевича относились к разрушенным церквам, и их я представляла себе лишь по его всегда живым словесным рисункам. И, безусловно, – Еврейская улица. На ней мы подолгу простаивали – как наяву, так и в воспоминаниях на крылечке. На этой улице провел детство и юность Семен Израилевич, он называл все имена соседей, вздыхал по умершим или уничтоженным в войну фашистами. Чьи-то дети еще были живы, судя по фамилиям, вывешенным в подъезде, но Семен Израилевич стеснялся постучать в дверь, побеспокоить. Дольше всего мы задерживались перед бывшей квартирой Липкиных на первом этаже. «Видишь, окно, – говорил мне муж, – это была мастерская моего папы, он в ней шил костюмы заказчикам, в ней же была и спальня родителей, и столовая, и как жаль, что я тебе не могу указать на свою комнатушку, окна нет, она темная. В ней при свечке или при керосиновой лампе, как повезет, я делал уроки и читал Гомера».

Сейчас две поездки в Одессу соединились в одну, о второй я помню, что она состоялась в 1982 году, денег уже не было, все Семен Израилевич оставил (и правильно сделал) старой семье после переезда ко мне. Жили в Одессе мы у племянницы С. И., у Людочки, которую он очень любил и, когда готовилась наша с ним общая книга стихов, пожелал дать фотографию во вставку, где мы в его родном городе рядом с миловидной, добронравной Людочкой. Еще помню, что во вторую поездку нас провожал незадолго до своей эмиграции Юрий Кублановский.

Вспоминали на крылечке мы и Львов. И о том, как горевали у авиакасс, не сумев достать билеты на самолет, чтобы вылететь на похороны Марии Петровых. И во Львове С. И. первo-наперво повел меня в храм. Церковь была униатская, полузапрещенная. На стенах лики как бы выдвигались из кружевных рушников. Прихожане сидели на длинных скамьях, между рядами стояли мужчины с хоругвями, а священник говорил не с амвона, а словно с лекционной трибуны. В этом храме – некая смесь православия с католичеством. С. И. и я были людьми верующими, но не воцерковленными, он не посещал синагоги, а я очень редко заходила в церковь. Но первостепенное, что он делал в любых поездках, было посещение храмов, куда бы ни приезжали. Лишь приехали в Гамбург, как отправились в кирху. Таким образом Липкин изъявлял уважение и почтение тому народу, в чью страну или город он попадал.

Вспоминали на крылечке и Ялту, куда в 1983-м ездили, он в энный раз, а я впервые. Жили в однокомнатной квартире матери нашей приятельницы. Дом с внешними галереями, как в Баку, располагался очень высоко и далеко от моря. До часу Семен Израилевич, как всегда, трудился. Заканчивал свою пьесу «Картины и голоса», через год эта пьеса о войне, еврейском гетто и послевоенном времени, вышла на русском языке в Англии. В России никогда не печаталась. Не отвергали, даже не были знакомы с ней издатели, а театры – тем более. Так получалась, что ни в какую книгу Липкина эта пьеса по своему профилю не вписывалась. Семен Израилевич в последнее время мне настойчиво говорил, что, если до его смерти не удастся издать всю его прозу и подключить к ней пьесу, то он просит меня выполнить его просьбу. На самом-то деле мы своего никому не предлагали, ждали приглашений от издательств. Приглашения издать стихи поступали, а вот насчет прозы к Семену Израилевичу никто из издателей повторно не обращался. «Зимянин» насчет прозы не звонил. А ведь можно было бы и с коммерческой точки зрения переиздать два тома: в одном, как мечтал С. И., – «Записки жильца» и «Квадригу», а во втором – «Декаду» и «Картины и голоса», в этих двух вещах отчетливо звучат национальные и межнациональные мотивы, животрепещущие в годы укрепления ислама и ксенофобии. Не знаю, взялся бы какой-нибудь театр за такую длинную пьесу с авторскими отступлениями. Думаю, это чрезвычайно трудно, почти немыслимо. А вот читать «Картины и голоса», на мой взгляд, крайне интересно. Есть и острая фабула, неожиданные сплетения судеб, а действующие лица, за исключением двух третьестепенных, декларативных, новы и ярки. Именно в Ялте Семен Израилевич закончил «Картины и голоса».

Да, дом стоял на горе, и мы долго спускались к морю по ступенчатой каменной тропе вдоль узкой речки, извивающейся расплавленным стеклом, – сквозь него мерцали разноцветные камушки. Всякий раз по дороге к морю С. И. вздыхал: все эти дома на горе принадлежали крымским татарам, в войну их выслали и до сих пор, единственных из высланных народов, не принимают на родине. Он так много об этом говорил, что я даже написала на эту тему стих такой длинной строкой, как наша дорога к морю. А между тем, с середины апреля до середины мая было непривычно для жителей Ялты холодно. Мы не предполагали такой непогоди, и одеты были слишком легко. Зябли и дома, и на улице. Но в один из дней на набережной встретили вездесущего, иногда способного на добрые порывы, Рейна. Он отвел нас в дом, где и хозяин дома, и его сын были любителями поэзии и ее собирателями. Как нам повезло, мы и оделись в теплое, и даже обулись, и куда только нас ни возили – то сын, то отец! И вспоминая пригревший нас дом, мы винились друг перед другом, что напрочь забыли имена наших благодетелей. А Семен Израилевич еще и приговаривал: «Будем наказаны – умрем и никто о нас не вспомнит. Но я умру первым и, пока жива, хоть ты не забывай обо мне».

Но нас еще не разлучила смерть, и мы сидим на крылечке и вспоминаем пансионат «Отдых» неподалеку от Новой Рузы, где под фамилией Новрузовы скрывались в 1984-м от преследований КГБ. Мы

наперебой вспоминаем наши длинные и короткие прогулки. Короткие и более частые, за час до обеда, они проходили по очаровательной опушке, полной желто-розовым мятликом, напоминающим пушистой формой лисий хвост. Кажется, в народе мятлик так и зовется. А кусты татарника – уже в пуху, над цветочной пестротой летают бабочки-простолюдинки и бабочки-аристократки, например, – павлиний глаз. С опушки, окруженной кустарником (был там и шиповник), тропа расширялась в пыльный спуск к Рузе меж небольшими синими полями-островками льна. У реки мы передыхали на высоком и плоском, не хуже скамьи, бревне, потом, обогнув пионерский лагерь, возвращались дурманно благоухающей липовой аллей к обеду. Длинные прогулки, проработав до двенадцати, Липкин объявлял так: двигаем в пейзаж Коровина. И мы двигались по пересеченной местности с оврагами и рекой, доходили иногда даже до устья, до впадения Рузы в Волгу. Открывалась широкая панорама на среднерусские поля, окаймленные лесочком, лес казался маленьким, ибо был достаточно далеко от нас. На лесистом горизонте явственно торчали уродливыми крестами антены-глушилки. (И все же нам удавалось вылавливать какой-нибудь «вражеский голос», вещающий по-русски). По хлебному полю прыгали воробьи, а на огромном приречном лугу паслись коровы. Я их боялась, а С. И., побывавший в Индии, совершенно спокойно проходил меж ними и меня за руку вел. С ним вообще мне редко когда было страшно, была в нем защитная обстоятельность, уверенность в том, что, как Бог рассудит, так и будет. Особенно веселился С. И., когда вспоминал соседа по столу, еврея, подполковника милиции из Ташкента, прикипевшего всей растерянной душой к Семену Ильичу Новрузову (и отчество по понятной причине было изменено). Они разговаривали о Ташкенте, но подполковник милиции все сводил к еврейской теме, неясно почему так доверившись нам, может, нюх у него был особенный на умеющих держать тайну или на тайных евреев. Он жаловался на евреев-отказников, на евреев-диссидентов. И вообще на всех диссидентов, которые распустились и неизвестно, что с ними делать. «Ой, – хохотал С. И. в номере, – если бы этот еврей знал, за кем он на прогулках увязывается, если бы знал, кто такие Новрузовы!» Ходил подполковник в пансионате в гражданской форме, так что, возможно, мы и недослышали, в каком органе он работает, ибо вряд ли милиционера, даже в чине подполковника, так сильно изнуряют отъезжающие евреи и вообще диссиденты. Почему-то Семена Израилевича особенно рассмешил милицейский чин, когда, завидев коров, бросился в паническое бегство под недоуменное мычание рогатой скотины, бежал, как ветер, несмотря на свой высокий рост и солидный вес.

На крылечке мы вспоминали и Галю Балтер, у которой гостили зимой и которая недавно умерла, и Бориса Балтера, написавшего повесть «До свидания, мальчики» и исключенного то ли из Союза писателей, то ли из партии за дерзкую речь на вечере, посвященном Платонову, сейчас не вспомню, откуда исключили. Если вспомню, напишу. Знаю одно: он подвергался остракизму, сидел без работы. Мы с 1967-го, ежегодно живя зимой в Малеевке почти

по два месяца, в воскресные дни, прихватив в буфете коньячок и редкие по тем временам апельсины, наведывались в дом Балтеров. Они совсем недавно построили этот дом в Вертушине и жили там круглый год. Балтера и его Галю все любили, как писатели, так и деревенские жители. Приходилось Балтерам материально туго, но встречала нас Галя всегда разносолами и вареньями. У них же мы обычно встречали старый Новый год. Собирались за столом Рассадины, Сарновы, Лазаревы и физик-астролог Иосиф Шкловский. Если компания посмеивалась над Шкловским и он уставал, переходили на насмешливые споры с заядлым спорщиком Балтером. Семен Израилевич в насмешливые споры не вступал не только из нежного отношения к Балтеру, но потому, что любил серьезные споры на серьезные темы. (Однако очень любил сплетни и сам сплетничал. Я этому в начале общей нашей жизни поразилась, а С. И. ответил, что сплетни питают писателя, что вот и Ахматова обожала сплетни). Гостили у Балтеров и что-нибудь мастерили и его друзья Войнович и Панченко. Коля Панченко строгал доски для полок, а что строил Войнович, забыла и я, и Семен Израилевич не мог вспомнить. Балтер в новом доме прожил недолго. Мы на крылечке вспоминали его многолюдные похороны в жаркий разгар лета, на высоком месте кладбища Старой Рузы. Почему-то мне запомнился не Василий Аксенов, кажется, распоряжавшийся похоронами, а чета сионистов Воронелей, ехавших на похороны из Москвы и сидевших в вагоне рядом с нами. Меж тем за ними увязался чекистский опасный хвост, они находились уже в долгом отказе и власть, возмущенная их «вызывающим» поведением, всячески препятствовала их отъезду в Израиль.

А Семен Израилевич запомнил на этих похоронах почему-то неподвижное лицо Слуцкого. Странно, что, дружа со Слуцким, С. И. не замечал того, что я заметила сразу. Впрочем, я была там, откуда выходят часто с застывшими лицами и монотонными голосами, а Сема, слава Богу, не был. Но и Слуцкий, кажется, там еще не был, но неподвижность лица, да и некая окаменелость голоса говорили о том, что он страдает депрессией. Иногда, собираясь в Малеевку, мы со Слуцкими заказывали одно такси на четверых. Так было и в ту зиму, когда Таня умерла вскоре после приезда, вскоре после того, как мы вчетвером медленно гуляли по заснеженной Малеевке. Она слегла, и я ухаживала за ней, поскольку так она захотела, и Слуцкий, выехавший на два дня в Москву, попросил присмотреть за Таней. Впрочем, это мое собственное воспоминание, а о Слуцком С. И. вспоминал уважительно и благодарно. Но об этом написано им в «Квадриге» и в книге воспоминаний о Слуцком. От себя же могу добавить, что С. И. вспоминал об этом крупном поэте и его трагичной болезни крайне жалостливо. Говоря же про наши прогулки по коровинскому пейзажу, С. И. обычно заключал: «А как далеко я, несмотря на стенокардию, умел гулять, а теперь все на крылечке посиживаю».

Но не все, не все было так грустно в три последних года жизни, — были у Липкина, помимо радости общения с природой и с друзьями, и литературные радости. В 2000 году у него вышла почти полная

книга стихов «Семь десятилетий». Он читал ее чуть ли не ежедневно, как и свою прозу. Часто я заставала его улыбающегося за чтением своих книг. Но никогда не спрашивала, чему он грустно улыбается. Слишком деликатная тема. А возможно, улыбался, вглядываясь в свое творчество, как улыбается Бог, озирая свое творение: грустно, но ничего лучшего я, как ни пытался, создать не мог. Вот и сказал себе: «И это хорошо».

А в 2001 году справлялось девяностолетие Липкина на территории Музея Булата Окуджавы. День выдался на редкость теплый для последней декады сентября. Честно говоря, я побаивалась этого празднества, как бы Семен Израилевич не переутомился, и была уверена, что он откажется. Однако сказала Ирине Ришиной, которая с одобрения Ольги Окуджавы затеяла юбилейное торжество: спросите Семена Израилевича, вряд ли это ему под силу. Конечно, в какой-то мере я исходила из своей нелюбви к выступлениям. Ирина Ришина прошла в кабинет Семена Израилевича и вернулась, сияя: «С радостью согласился, а вы говорили!» С. И. действительно обрадовался. Я этого никак не ожидала. Мы иногда ходили по субботам в музей, как всегда, в три часа дня. Так Семен Израилевич выступал на вечерах (почему-то так эти послеобеденники называются) Вячеслава Вс. Иванова и Фазиля Искандера, обоих любил, Иванова считал выдающимся ученым, а Искандера – выдающимся прозаиком.

Так вот, день выдался на редкость теплым. Вся территория двора была заполнена сидящими и стоящими писателями и читателями. Сначала, как всегда, звучали песни Окуджавы, он пел их, глядя на нас с экрана телевизора, – запись на видео. Потом горячей приветственной речью поздравила Липкина Ольга Окуджава и преподнесла торт с девяносто зажженными свечами, он задувал, и я ему помогала. Юбилейный вечер вела Ирина Ришина, которая, по моей просьбе, предупредила выступающих, чтоб недолго. Выступили Ахмадулина, Чухонцев, Наталья Иванова, Искандер, Кублановский, Рассадин. Люша Чуковская прочла поздравительное письмо от Солженицына. Кроме того, Ирина Ришина озвучила многие поздравительные телеграммы. Особенно радовала С. И. телеграмма из Калмыкии, где он был народным поэтом, а теперь уже стал героем Калмыкии, орден героя Калмыкии вручал ему президент Кирсан Николаевич Илюмжинов, приехавший к нам на дачу вместе с поэтом Давидом Кугультиновым. Кроме того, Ришина поставила магнитофонную запись – Аверинцев, страстный поклонник поэзии Липкина, поздравлял его короткой, но емкой речью. И еще несколько человек выступили, но я точно не помню, кто именно, так как волновалась – предстояло мне по просьбе Семена Израилевича прочитать хотя бы два-три стихотворения из посвященного ему цикла «Гимн». Он восхищался этими стихами, утверждал, что подобных счастливых стихов о любви еще не было. После меня стихи, сидя, читал Липкин, я держала микрофон. Читал звонким помолодевшим голосом, при этом неспешно и ясно выговаривая и музыку стиха и каждое слово. Начал чтение с моего любимого – «Имена». Удивительно, что это стихотворение на библейскую тему, о том, как Адам «Явленьям и тварям давал имена» написано в 1943 военном году, и еще более удивительно,

что наши крупнейшие поэты на темы как Ветхого Завета, так и Нового Завета, пишут самые свои значительные вещи амфибрахием, с той разницей, что применяют разные типы рифмы и строфического начертанья. Амфибрахием написана Пастернаком гениальная «Рождественская звезда», а Бродским – не менее гениальное «Сретенье». Ну, это я к слову, как бы в скобках. Слушали Липкина, затаив дыхание, а ведь собралось около двухсот человек. Прохладнело, и моя дочь принесла Семену Израилевичу куртку потеплее. В конце вечера, перед застольем, спела три стихотворения Липкина Галина Бови-Кизилова, приехавшая специально на юбилей из Швейцарии. Липкин и дома с упоением слушал, когда Галина под гитару исполняла песни на его слова. (Любил еврейские и русские народные песни и романсы, а вся прочая музыка именовалась «лишним шумом».) Он еще в юности, как рассказывал мне, мечтал, чтобы его пели. И сам написал несколько песен, но неудачно. И для чего я Вам рассказываю про этот юбилей – Вы же были на нем и все сами помните. Но дома я могу посмотреть этот день, так осчастлививший Липкина, на видеокассете, а здесь мне хочется вспомнить его в письме. Семен Израилевич был счастлив и так разохотился, что через год, на следующий свой день рожденья, читал уже в закрытом, но довольно просторном зале музея сразу две поэмы – огромного «Техника-интенданта» и тоже не маленькую вещь «Жизнь переделкинскую». И так же молодо и вдохновенно читал, а это с перерывчиком – три часа! Слушатели, как и на юбилее, были и пожилые, и совсем молоденькие. Поэтесса Олеся Николаева привела послушать Липкина свой литинститутский поэтический семинар. Снова я страшилась, что Семен Израилевич переутомится, и снова ошиблась. После выступления, уже дома, он мне сказал: «От чтения своих стихов человек не устает, ему не до усталости – либо радуется, либо огорчается. Я, пожалуй, радуюсь, а как тебе кажется, внимательно ли меня слушали?» – «О, – ответила я, – ты мне задаешь мой вопрос!» С. И. рассмеялся. Дело в том, что он любил, посмеиваясь над моим характером, рассказывать друзьям и знакомым: «Инна читает гостям стихи, ее хвалят. После ухода гостей, спрашивает меня: как ты думаешь, Сема, меня похвалили или поругали?»

Охотно в эти годы Липкин снимался для телевидения, вспоминая то Каверина, то Гроссмана, то Платонова. Однако потом сетовал: «Почему телевизионщиков интересуют мемуарные рассказы, а не стихи?» Впоследствии, видимо, по этой причине отказался сниматься в фильме о Переделкине, хотя был хорошо знаком с первыми обитателями писательского городка – Пильняком, Бабелем, Чуковским, Фадеевым, Всеволодом Ивановым, Пастернаком, Катаевым и другими.

С удовольствием читал С. И. перед видеокамерой и магнитофоном, когда к нему приходили молодые поэты, критики, журналисты, да и читатели. Так Павел Крючков, к которому Семен Израилевич относился с нежностью, записал его и даже выпустил диск, правда, маленьким тиражом. Приезжала из Израиля и моя дочь Лена с замечательным оператором Фимой Кучуком, они сняли очень милый фильм о Семене Израилевиче.

И в 2002 году литературная радость была у Семена Израилевича. И не только радость, а и радостное для него занятие. По приглаше-

нию издательства ОГИ летом 2002-го он составлял большое избранное, куда вошли и две поэмы, которые читал в музее Окуджавы. Семен Израилевич даже в самые свои беспросветные в смысле публикаций годы без конца составлял книжки своих стихотворений. В архиве же сохранилось несколько экземпляров оглавлений к стихотворным сборникам, в особенности – в молодые годы. Возможно, в молодости, зная наизусть все свои стихи, просто писал в столбик содержание книг. Избранное С. И. назвал «Волей», ему нравилось это заглавие, которое дал Бродский, составляя для американского издательства «Ардис» сборник его стихотворений. Книгу Семен Израилевич составлял тщательно и любовно целый месяц, да и мне помог сложить полное мое на тот день избранное. Успел прочесть Семен Израилевич и верстку, видел и обложку. Все ему понравилось – и то, что на книжной странице много воздуха, и оформление. Но вот выхода новой своей «Воли» не дождался, как и не успел получить Президентскую премию.

Ушел Семен Израилевич неожиданно и беззвучно. Он возмущенно попросил меня прочесть какую-то небольшую статейку и сказать ему свое мнение. Я прочла, а тут как раз Вы позвонили, мы проговорили минут пять-семь, не больше, и я в ночной рубашке (так всегда по дому хожу, когда нет посторонних) заторопилась высказать свое мнение, какое и о чем, не помню. Захожу в кабинет Семы, а его нет, заглядываю в спаленку, тоже – нет, в ванную и уборную – нет. Куда же он, думаю, подевался, ведь не пошел же в мокрый снег гулять, да и никогда, не сказавшись, на улицу не выходит, да и, выходя, так громко стучит палкой по коридору, что не слышать невозможно. С этими мыслями я и выскочила в ночнушке на крыльцо и увидела. И побежала к нему. Палка была откинута так, что было понятно, что он дошел до ворот и пошел назад, к крыльцу. Но это я уже потом восстановила картину. А тогда я наклонилась, повернула к себе его голову и увидела один широко раскрытый остановившийся глаз, другой был в земле и снегу, бросилась щупать пульс, хотя все поняла сразу. Тело под дубленкой и рубашкой было еще совершенно теплым. Но моего Семена Израилевича уже со мной не было. И хоть знаю, что умер он внезапно, на ходу, от тромба, а все же широко раскрытый глаз, до сих пор мне кажется, – не в небо уставлен, а на меня с укором.

А дальше я уже не в силах писать это письмо, ведь пишу его без малого сутки. Добавлю только одно. О таком мгновенном уходе с земли можно только мечтать. А на самом деле, что мы знаем об этом, если даже до сих пор не способна я уразуметь, как это Семен Израилевич в такую промозглую погоду и так бесшумно сошел с крыльца. А может, это ангел смерти вывел его, а он смотрел вопрошающими, как в фильме, глазами: «Куда вы меня зовете?»

Всего Вам доброго. И.Л.

10 марта 2006

Наум БАСОВСКИЙ, «Об осени духа и слова» [Стихотворения 2000–2004] – Иерусалим, «БИБЛИОТЕКА ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА», 2004.

...Я хотел написать совершенно иную книгу,
а сложилась книга о жизни, как она есть.

Наум Басовский

Человек, однажды написавший шедевр – не свой личный, а один из шедевров в русской поэзии вообще, – сильно рискует дальнейшим охлаждением к нему литературной публики. Ведь даже повторное восхождение на такую же высоту, какой бы захватывающей она ни была, – только повторение. А ещё более высокие вершины, они не то что неодолимы (хотя и это нельзя не учитывать), но их попросту может и не оказаться. Не в мире этого автора, а в мире вообще. Ибо вершины бывают не только относительными, но и абсолютными тоже.

А былые свидетели удивительных подъёмов своего героя – за его «будничной» работой вряд ли будут следить с прежним замиранием сердца. Поэтому писать шедевры поэтам опасно. Крылатые строчки – можно, они продолжают жить на устах легко, шедевры – требуют взаимного роста автора и читателя. А расти в одну и ту же сторону дважды – нельзя. Доля разочарования неизбежна.

Для поэта это может обернуться не только продолжением прежнего, как бы уже «фонового» одиночества, но и новым, поначалу непонятным ему одиночеством, той изолированностью, когда «полковнику никто не пишет». Горько, но – ничего не попишешь – наверно, справедливо, и мало что тут можно изменить. Дело жизни – не застывать перед памятниками, а... суетиться. Суетиться, копошиться, рождаясь, умирая, вновь рождаясь...

Но – всегда остаются и служители маяков, да попросту фонарщики, занимающиеся своим маленьким, но постоянным, неизменным делом. Они будут следить за своим маяком, даже если он на какое-то время, в силу погодных ли условий, изменений ли климата или ландшафта, вдруг перестал быть *объектом*, притягивающим внимание многих. «Многие» – пусть отдыхают, занимаются своими делами – пусть. «Смотрители» – будут продолжать своё служение. Единожды вспыхнувший маяк – будет по-прежнему работать. По-прежнему преодолевать рассеивающую тьму. Так ему заповедано. Наум Басовский – работает.

Для меня этот поэт – не тот, кто получил звание лауреата русской (или – русскоязычной? думаю – всё-таки русской) поэзии Израиля. А тот, кто написал, например, стихотворение «Причал», поразительное по своей внутренней гармонии и по гармонической же (вот так, а как ещё тут сказать?) стойкости перед невозможностью гармонического бытия:

/.../ Монотонный сон и тревожный
в сваях плещется односложно,

неумолчно, неумолимо,
словно медленный ток реки.
Пароход из осени в зиму,
как во сне, проплывает мимо, –
близко-близко – коснуться можно,
но никак не поднять руки...

Это поэт, сумевший вложить в свои стихотворения ту интонацию, которая, увы, почти недоступна; мне, например, не только что в поэзии, но и просто в жизни. Говоря другим языком, Наум Басовский – поэт, некогда одаривший меня-читателя такими подарками, которые и по сию пору остаются для меня – *новыми*, по-прежнему дорогими и необходимыми. Но тут никакой специальной логики не надо, чтобы понимать: человека, некогда получившего подарки щедрые до невозможности, новыми подарками – удивить *в той же степени*, что и прежде, – очень трудно. Практически невозможно. Ожидаемое – воспринимаешь спокойней. И – наверно, довольно преамбулы? – я хочу *спокойно* поговорить о новой книге Наума Басовского. Уже одно спокойное, несуетное название – «Об осени духа и слова» – к этому располагает.

Осень – время сбора плодов, и наверное, главный вопрос, который стоит перед всяким человеком в эту пору – каковы же итоги, соответствуют ли они вложенным стараниям? Собственно, об этом и размышляет неспешная, раздумчивая книга. *«Удалась ли жизнь? Заболоцкий сказал бы – нет...»* Размышления чаще не то чтобы печальны, но как-то строги, что ли. Потому что грустна сама наша жизнь. И дело даже не в удачливости как таковой: для мыслящего, тонко чувствующего человека жизнь – всегда грустна. И общий эмоциональный фон её – редко бравурен. По несоответствию чаяниям, по грустному опыту, да просто... «по определению».

/.../ Справедливость, правосудие –
Непонятные дела...
Лишь дотронулся до сути я,
тут и старость подошла.
Жалок вид пустого невода –
протекли мои года
между русским словом *нéкуда*
и ивритским *некудá* *.

Пустота, постепенно сжимающаяся в точку, – вот оно, пространство человека. И он, венец творения, всегда стоит перед пустотой, сталкивается с ней ежедневно. Только в молодости он легко от этого отвлекается на что-то другое, будь то счёт футбольного матча или лицо милой девушки в окне; с годами же – бытие становится с нами всё откровеннее. И сопротивляться его гулким отзвукам помогают две вещи: любовь и творчество. А ещё – любовь как творчество и творчество как любовь.

* Некудá (*иврит*) – точка.

Они и помогают нам жить и наполняют наши действия смыслом. И тогда всё можно ещё возвратить, уместив в той же точке, которую занимает твоё, казалось бы, такое слабое «я». Но точка эта вдруг приобретает объём, запахи, звучание...

/.../ Из *ничего* я создал мир,
и в нём,
пожалуй, *что-то так, а что-то эдак*;
мне нужно озаренье напоследок,
чтоб воздухом заполнился объём,

чтоб он морозцем и тобою пах,
чтобы пальто светилось красным светом
и жарким средиземноморским летом
чтоб снег тихонько таял на губах...

Эта книга Басовского, собственно как и две его предыдущие – «Свободный стих» и «Полнозвучие», – часто возвращает автора в его прежние переживания, смыкая их воедино с чувствами сегодняшними. Дело это не простое. Люди не так уж и любят вспоминать, живут чаще только сегодняшним. Но потому они и не называют себя поэтами, что живут в маленьком, сиюминутном, по возможности комфортном мирке. Поэт же в каком-то смысле навсегда остаётся бродягой, «слоняющимся» по улицам и переулкам своего собственного поэтического пространства, которое много шире и разнообразнее пространства бытового.

/.../ Но есть мегаполис, что с детства знаком,
где каждый мой звук отзывается эхом,
который зовётся родным языком,
и в нём я живу, никуда не уехав.

На самом излёте осенней поры
Он мне открывает богатства сплошные:
Я знаю его проходные дворы,
Короткие спуски, ходы потайные...

И это не только поэтический образ. Это реальность. Обретается опыт, старое перечёркивается новым, и человек не всегда замечает, что с какого-то времени он начинает жить *памятью* и *воображением*. Они и становятся его *реальностью*. Но не потому, что всё окружающее его становится неинтересным ему или недоступным, а потому, что он начинает видеть по-другому и понимает эфемерность реалий мира материи. «Всё течёт, всё изменяется...» Это вокруг. Но всегда остаётся некая цитадель в душе поэта. Её питают воображение и память, память и воображение:

/.../ Гляжу в окно: зелёная мимоза;
не только ни метели, ни мороза,
но раскалённый свод над головой.

А память возвращается в начало,
когда весь мир, казалось, заметало –
стоял февраль. Он до сих пор живой.

Давно – и очень разительно – изменилась внешняя сторона жизни поэта, слишком велика разница между тем, что было в России, и тем, что есть в Израиле, но всё, что попало в стихи, – продолжает жить. К сожалению, видеть, ощущать это – дано не многим. Но такие немногие, слава Богу, есть. Книга, о которой мы здесь говорим, начинается с авторской предпосылки: *«Посвящаю В., без которой ни эта книга, ни все предыдущие просто не появились бы на свет»*. И это даёт нам право считать поэта Наума Басовского – человеком счастливым. Разве это не счастье, когда рядом с тобой близкий человек, готовый разделить с тобой всё, что́ бы в жизни ни выпало. И для этого родного тебе человека и ты сам всегда постараешься найти то, что будет и его делать счастливым.

Вот поэт обращается к своей любимой:

/.../ Я знаю, что тебе придётся здесь по нраву:
покой и тишина, и тень над головой,
и книги, и вино – и ты войдёшь по праву
в придуманный сюжет реальностью живой.

Некоторые считают стихосложение занятием рациональным, математически просчитанным, другие же – наоборот, почти подсознательным, сродни шаманству. Стихи этой книги говорят скорее в пользу первого: в них обыденные или высокомудрые рассуждения, с одной стороны, и сокровенные душевные чаяния, с другой, – ведут некий свой интонационный диалог, и в большинстве стихов рассудительность заметно доминирует. И – всё же...

Чуть отвлечёмся. Думаю, многие это ощущали: есть стихи-молитвы, есть стихи-заклинания. И что самое важное – молитвенное чувство, вложенное в стихи, – бывает услышанным. А заклинания – действуют. Вопреки любому рассудочному взгляду на якобы материальную действительность. Попробуем вернуться к стихотворению, строчку из которого я уже приводил:

Удалась ли жизнь? Заболоцкий сказал бы – нет,
ибо рано умер, в лагере был и в ссылке /.../

Это – то, что мы *знаем*. Но к этому спасительно примешивается то, чего мы не знаем, но зато *можем почувствовать*, ощутить едва уловимо, – то, что́ и можно ухватить только с помощью поэтического слова:

/.../ Но тогда откуда утренний этот свет,
где на сером фоне янтарной зари прожилки?

Но тогда откуда утренний этот звук,
где в прозрачной роще слышно листа паденье?

Но тогда откуда морозной свежести дух,
что приходит и в нас остаётся, как наважденье? /.../

Вот! Вот что важно – *«приходит и в нас остаётся»*. Так откуда же это? Благодаря чему?

/.../ Это всё из слов: это в них земля и вода,
наших душ покой, наших судеб чёт или нечет.
Удалась ли жизнь? И стихи отвечают – да,
вопреки всему, что ломает нас и калечит.

И стихи-заклинания отвечают: «Да, удалась жизнь». Удалась. Потому что успела воплотиться в поэтическое слово. Потому что *«только строки стихов сохраняет / горемычная память людская»*. Потому что она, жизнь, будет удержана для вечности – уже силой художественной, соприродной творческой силе самого Создателя. Такие стихи-заклинания не только дают «счастливый ответ», они именно что перевоплощают реальность, которая – в высшем свете, в свете Провидения – действительно становится реальностью радостной.

Но поэт – не только «даритель счастья». Он делится – всем, чем жива душа человеческая. В том числе – и напоминанием не только о радостях, а как раз наоборот – о многих печалях и тревогах. Ибо, повторюсь, так ему заповедано, и иначе он не может, просто не сумеет. И поэтому иногда, прямо в канве обычных, почти «бытовых» признаний поэта, может словно проблеснуть дальняя тревожная зарница:

/.../ Всё, что в жизни суровой и жёсткой
Мы ещё пересилить должны,
Будет здесь,
На земельной полоске
В эпицентре грядущей войны /.../

Откуда вдруг эта щемяще-пугающая оговорка? Знак ли это, поданный поэту извне, или обмолвка тревожного предчувствия тонкой чувствительной жилки самого поэта? Бог весть. Израиль – земля библейская. Иногда кажется, что к ней может оказаться приложимо *любое* пророчество. И сильно вникать в них я, пишущий это издалека, просто не осмеливаюсь. Каждый читающий сам увидит в стихах то, что сумеет, или что дано будет ему увидеть.

Считая свою задачу куда более скромной, чем толкование поэтических откровений, попробую напоследок высказаться о стороне сугубо профессиональной. Точнее было бы сказать: о своём личном восприятии этой книги именно как книги поэтической. Позволю себе даже немного строгости. Я люблю в ней останавливаться на тех стихотворениях, которые целиком прочитываются с удовольствием, как единая, словно нерукотворная, данность, в которых всё уложено в безупречной гармонии и равновесии. Но в иных – попадаются и строки, которые на мой взгляд кажутся... ну как бы не самыми оптимальными для стихотворения в целом. Меня как читателя (и читателя всё-

таки искушённого, в том числе и поэзией самого же Наума Басовского) не всегда устраивают метафоры, особенно те, которые сводятся к «сравнениям от противного». Например, «несколько книг, не порющих дичь» (вместо просто «хороших книг»). Понятно, что автор хотел выразить своё раздражение «мировым уродством», но меня такие сравнения как-то сбивают с лирического лада.

Ещё одна мысль касается, скорее, общей болезни нового времени. Всё больше замечаю, что сегодняшним книгам жалобно недостаёт редакторской руки (это относится как к поэзии, так и к прозе). Получив возможность выпускать книги в авторском варианте, мы не учитываем, что роль редактора – не то же, что функция цензора. Редактор, по моему мнению, прежде всего – *соавтор* будущей книги, берущий на себя часть ответственности и могущий эту ответственность на себя взять. Нужен просто «другой глаз». Ведь – это же обыкновенное свойство человеческой психики – сам автор часто не замечает того, что другому человеку может показаться неточным или невнятным, ведь автор читает всё это больше своим внутренним голосом, со своей, помогающей ему, интонацией, видя всё сквозь призму своего лично опыта. А вот другой глаз, другой слух, другой опыт – что-то, может быть, и не пропустили бы. Например, какую-нибудь неправильность (вспомним классический пример – «Из пламя и света» вместо «из пламени» у Лермонтова). Так и меня смущает, например, строчка: *«...ливень смывает дотла»*. Смыть, мне казалось, можно *начисто* или что-то в этом роде, а *дотла* – можно только сжечь. Возможно, это что-то вроде авторских окказионализмов, но которые, тем не менее, могут показаться и неблизкими читателю.

Впрочем, что ж, ведь и сам автор, стремясь *«...убрать все белые нитки / неточных слов и рифм...»* и сравнивая игру виртуозного музыканта и свой труд стихотворца, признаётся:

> /.../ Я же – непониманьем рискую с первого шага:
> Обычный читатель увидит смысла осколки,
> А попытка проникнуть требует погруженья
> В беззвучную музыку – в таинство белых пятен /.../

Но такова рисковая работа поэта. Которого мы сравнивали со смотрителем маяка или даже просто фонарщиком. Ибо важно, чтобы маяк или фонарь – давали свет, и свет – по возможности чистый и яркий. Одним из таких смотрителей маяка и является поэт и мой старший друг Наум Басовский. Потому что он знает: свет его поэзии – нужен людям. И она, его поэзия, ещё не раз удивит нас (а это знаю уже я: некоторые хорошие стихотворения в книгу почему-то не попали), а порой и просто поможет в жизни.

Ну а книга, она для того и книга, для того её стихи и обретают самостоятельную жизнь, чтобы всякий человек мог прочитать их собственными глазами, чтобы каждый смог увидеть в чужом поэтическом опыте то, что способна отразить уже его, читателя, душа. Поэтому и книге, и её читателю – только и можно пожелать: «С Богом!»

Владимир Цивунин

Хамуталь БАР-ЙОСЕФ. «ПИЩА» [Стихи в переводе Юлии Винер] – СПб, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, 2004.

Узнав о выходе в свет «Пищи», я решил, что это, конечно, перевод известного сборника Х Бар-Йосеф «Мазон», остроумно стилизованного под кулинарную книгу – с разделами «Хлеб», «Пироги», «Рыба», «Мясо»... Вплоть до «Солдатского пайка», а на обложке – красивая женская ладонь с гранатовыми зёрнами. На обложке «Пищи» – та же ладонь, правда, формат книги поменьше, книга, точнее, книжечка – потоньше, бумага скромнее, издатели обошлись и без иллюстраций...

Оказалось, однако, что вся связь со сборником «Мазон» – лишь три с половиной стихотворения. В «Пищу» вошли стихи из нескольких книг поэтессы, выбранные, вероятно, по принципу «что лучше переведётся», но при этом составилась и некая биография поэта: светлая горечь детства, встреча с любовью, разрыв, поиски смыслов, и, наконец, старение, грустное, но живое, нескучное. Впрочем, не из-за этой поэтографии я, давний почитатель поэзии Хамутали Бар-Йосеф, зачитался сборником переводов её стихов.

Я вжимала кнопками свою мятую тень в стенную щель
загоняла в свою дырявую тряпку-голову здоровый гвоздь
выдавливала ногтями гной из сердечных прыщей
И всё это пахло серым запахом школы

(«Созревание»)

Первая это поэзия или вторая – всё равно! Серебряные цепочки текста ложатся как свет на поверхность воды, в которой на мелкоте прозы душевной обычно и шевелишь плавниками; становится интересно и хочется дальше, ещё...

Погляди погляди погляди
пропела высокая птица
голосом флейты
из-за железных ставен

Да, отвечала я ей
Да, я вижу я вижу
флейта есть и у меня
сейчас я открою ставни
и начну при свете дня

Такая гармоничность и наполненность перевода вольного стиха, проистекает, по-видимому, из того же источника, откуда берут начало и собственные стихи Ю. Винер. Немало русских поэтов последней трети двадцатого века пытались, с разной мерой успеха, освободиться от оков метрики, рифмы и синтаксиса (Гр. Корин: *Покупайте! / Продаю музыкальные части, / целиком – / музыкальный мундир.* «Автопортрет», 1970-е годы). Юлии Винер «освобождаться» не пришлось, её стих был свободным изначально. Таким – натуральным и умным без позы, эмоциональным без скорлуп романтики – и узнали его чи-

татели в Израиле, и среди них Х. Бар-Йосеф, которой удался отличный перевод на иврит четырёх поэм Ю. Винер «О деньгах, о старости, о смерти и пр.» (И-м, «Кармель», 2003). К этому перечню простых и весомых субстанций примыкает теперь и «Пища» – переводы Ю. Винер из Х. Бар-Йосеф. Встреча двух поэтов на поприще взаимного перевода событие необычайное в нашей русско-израильской литературе; оно, несомненно, заслуживает внимания читателя и, возможно, подробного рассмотрения. Замечу лишь, что при всей непохожести двух этих индивидуальностей, их, кроме «вольности стиха», сближает отношение к грустной и, увы, *не обходимой* правде жизни, – спокойный взгляд, светлый и целительный.

В заключение – добрый совет читателю: если перевод нравится, не сравнивай его с оригиналом (оставь это литературоведу), читай стихи и радуйся. Как я – «Песне старого китайца» из книги «Пища»:

Немало лет я провёл в одной упряжке с жизнью
и сколько мы с ней успели перессориться и переругаться!
Теперь же, когда мы кое-как притёрлись друг к другу
дороги наши расходятся и пора прощаться

Яков Лах

Шуламит ШАЛИТ. На круги свои... [Литературные страницы на еврейскую тему] – Иерусалим, «ФИЛОБИБЛОН», 2005.

Двадцать два очерка-портрета, выбранных из более чем двухсот пятидесяти радиопередач. Но, боже мой, какая панорама еврейского духа! И неповторимый голос Шуламит Шалит слышится со страниц книги так же отчетливо, как и по радио.

Перед нами проходят чередой самые разные люди: основатель духовного сионизма, «властитель дум» первой четверти прошлого века, Ахад-ха-Ам; выдающийся идеолог сионистского движения Зеэв Жаботинский; прославленный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии Шай Агнон... И рыцари иврита из СССР: застрявший в России после революции и обреченный на двойную жизнь ученый и писатель Цви Прейгерзон; последний в СССР поэт, писавший на возрожденном языке ТАНАХа Хаим Ленский; «человек и словарь» Феликс Шапиро – автор первого в СССР иврит-русского словаря; гениальный переводчик на иврит «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели и классической русской поэзии Борис Гапонов... На страницах книги мы встречаемся с музыкантами, собирателями и сочинителями еврейской музыки Иосифом Ахроном и Ильей Тейтельбаумом; с певицей Нехамой Лифшицайте, продолжающей служение песне в своем мастер-классе в Тель-Авиве; с основателем современного израильского балета, художником и кинорежиссером Барухом Агадати, с известной раввинской семьей Бабаликашвили...

Книга читается на одном дыхании. Тут и гордость за русское еврейство, внесшее неоценимый и как бы со временем нивелировавшийся

(но только «как бы нивелировавшийся») вклад в израильскую культуру; и отношение к идишу, которого в детстве стеснялись – местечко, провинциализм – и который вдруг стал важен (иврит для большинства был недосягаем), когда засобирались в Израиль... И сталинский террор, повязавший судьбы многих героев, и светлые страницы нашего общего, такого противоречивого советского прошлого.

...Ночью мне приснились герои Шуламит Шалит. Они кружились на обычной израильской школьной сцене, правда, без потолка, в традиционном танце-хороводе *хора*. Их вел создатель этого танца, темпераментный, с утрированной пластикой, искрометный и энергичный, легендарный Барух Агадати. Семенил мечтательный Хаим Ленский, за ним следовал застенчиво улыбающийся Давид Гофштейн, уверенно и солидно вышагивал Шай Агнон, развевалась пышная шевелюра Моше Кульбака. Неловко, но увлеченно отбрасывал в стороны ноги в туфлях со старомодными каблуками чопорный Ганс Кристиан Андерсен, в строгом черном концертном платье и белом шарфе с прозрачными полосками простирала руки к невидимому залу Нехама Лифшицайте. А откуда-то с высокого самарийского холма, опершись на подоконник, взирала на них Сара Погреб...

Да, каждый очерк – словно бусинка, а вместе они образуют ожерелье. Любуешься его красотой, испытывая острую душевную боль: как мало нормального, а не «еврейского» счастья выпало на долю этой блистательной плеяды героев книги.

Переводчица из Литвы, бывшая однокашница автора по московскому Литинституту, Д. Эпштейн точно подмечает исходные мотивы создания и цикла радиопередач «Литературные страницы», и книги: «У Шуламит действуют два одинаково сильных фактора. Во-первых, ее чувство долга перед людьми, которым она несет свое знание и свое видение мира, уверенная, что это обогатит их знание и их видение. Другим движущим фактором было ее чувство долга перед забытыми, незаслуженно обойденными писателями, литераторами, музыкантами, деятелями культуры, не успевшими пробиться в печать, в литературу, в историю...» Благодаря этому целый пласт еврейской культуры возвращается к нам, а мы – к ней... Отсюда и название книги. Шуламит Шалит особо оговаривает его в предисловии: «Выражение "*на круги свои*" взято из Экклезиаста. *Возвращаться на круги свои* – так говорят, когда хотят сказать не только о том, что все повторяется, но и когда *начинаешь все сначала, когда приходишь к истокам...*»

Взять, к примеру, судьбу скромного инженера из Ростова-на-Дону Марка Копшицера. В 1967 году вышла первая книга в полюбившейся затем многим серии «Жизнь в искусстве». Это была монография, посвященная Валентину Серову. Она разошлась мгновенно, была переиздана вторично и так же быстро исчезла с прилавков. Но в центральной прессе на нее появилась лишь одна рецензия. Может быть потому, что автором был никому не известный человек с неудобоваримой фамилией Марк Копшицер. Рецензия была одна, зато какая! Принадлежала она перу самого Корнея Ивановича Чуковского:

«Если бы эта книга о жизни Серова, – пишет Чуковский, – была в десять раз хуже – и тогда бы она была хороша. (Не напоминает ли

этот оборот Чуковского строчки молитвы «Даейну» из пасхальной Агады, в которой возносится благодарность Богу: «Если бы Он вывел нас из Египта, но не покарал бы египтян – для нас этого было бы достаточно» – *Т. А.-Л.)*. Живая, полнокровная книга – мускулистая, с чудесным дыханием. Не книга, а живой организм. Каждый человек (и человечек), с которым встречался Серов, написан уверенной, умной, талантливой кистью, с истинно серовским лаконизмом...»

В серии «Жизнь в искусстве» вышла еще одна книга Копшицера – о меценате Савве Мамонтове, также высоко оцененная читателями и специалистами. Тем не менее, судьба автора этих замечательных произведений сложилась трагически. Книги не принесли ему ни славы, ни известности, ни денег. В начале этого века его имя помнила лишь крохотная горстка любителей и знатоков русского искусства...

Когда-то другой герой Шуламит Шалит, Зеэв Жаботинский, писал: «Я совершенно не способен проникнуться взглядом на еврея, как на соль земли... Конечно, раз мы тут по Европе околачиваемся столько веков, мы естественно принесли ей много пользы, обогатили ее жизнь; иначе и быть не могло – ведь и мы же не лыком шиты, и если занимаем среди исторических наций не первое место, то и не последнее. Но смешно пересаливать. Не будь евреев, культурный мир тоже бы теперь не в лаптях ходил». Вся его жизнь и огромный талант, литературный и организаторский, были направлены на то, чтобы превратить евреев из «соли» в нормальный народ.

Судьба Марка Копшицера напоминала судьбу такой крупицы соли, обогатившей океан русской культуры и бесследно в нем растворившейся. Даже точная дата его смерти не была известна... пока не вмешалась Шуламит Шалит. Ее очерк зпнимает всего лишь двадцать страниц, но кажется, что прочитан целый роман: настолько полный, живой, достоверный, до боли знакомый образ (типичного еврея из галута, что ли) остается в памяти. Скудные материалы о герое очерка накапливались годами. Сами книги, рецензия Чуковского, письма Марка из Союза в Израиль к его тете И. М. Гинзбург, с которой Шуламит дружила еще со времен Литинститута, где Ида Марковна была ее преподавателем.

Марк глубоко и нежно любил родителей, между ними была особая духовная связь. Личное одиночество стало невыносимым после их ухода в конце 70-х. Наступил тяжелый нервный срыв – «астенически-депрессивный синдром», как написано в медицинской справке. (Так и слышится язык тех лет). А может, довели мелкие уколы вездесущего антисемитизма: сначала предлагали поменять фамилию, потом не приняли в Союз писателей, замалчивали его имя в прессе...

Вглядываюсь в фотографии Марка, помещенные в книге. Конец 50-х годов. Молодой человек, с умным, светлым лицом, серьезный и погруженный в себя, сидит с достоинством, слегка позируя, за письменным столом. И еще одна, через пару десятков лет. Затравленный взгляд, взъерошенные волосы, голова втянута в плечи, торчат огромные нелепые уши, щетина на лице... Он ушел из жизни добровольно. Но когда?! Точную дату его смерти установила Шуламит Шалит. На первый взгляд, помогла цепь случайностей. На самом

деле – закономерность. У издателя книги Леонида Юниверга оказался в Нью-Джерси знакомый библиофил, троюродный брат Копшицера. И еще одна, столь важная для биографии подробность наконец прояснилась.

Жизнь и творчество своих героев автор прослеживает через цепочки семейных, родственных и дружеских связей. Азарт и выдержка, целеустремленность и интуиция, дотошный сбор материала – архивные поиски, интервью с родственниками и друзьями, работа с дневниками и письмами, а затем скрупулезный отбор самых выразительных деталей....

Но, может быть, самое главное – это способность Шуламит Шалит постигать логику характеров и чувств своих героев, открывать дотоле неизвестные факты. Автор вытаскивает с пожелтевших страниц старых газет и журналов не сюжеты, но сам жар и трепет человеческого деяния, движения на встречу с судьбой, на стыке внутренних сил и неумолимой заданности внешнего мира. При этом никогда не повторяется сюжетная схема, а дыхание и ритм письма меняются в зависимости от материала.

В очерке о поэте и переводчике Михаиле Ландмане фразы короткие, решительные, энергичные, словно стаккато, похожие на характер самого Михаила, потерянного и найденного друга Шуламит Шалит, почти никому не известного автора популярнейшей когда-то песни «Сиреневый туман над нами проплывает...» Он был обаятельным человеком, талантливым литератором, начисто лишенным мелочного (а может – и всякого) авторского самолюбия, считавшего кормление птиц не менее важным занятием, чем писание стихов.

А как Шуламит умеет вживаться и в образы людей, отделенных от нее порой временным барьером в несколько поколений! И здесь она соединяет талант литератора, детектива, драматурга, выстраивая сюжет. И, как настоящий *писатель-исследователь*, порой докапывается до удивительных открытий.

...17 июля 1879 года на больничной койке неожиданно скончался молодой художник Маурици Готлиб, автор знаменитой картины «Евреи молятся в синагоге в Судный день» и еще более двухсот картин на темы еврейской и польской истории. Пылкий, увлекающийся юноша, он ушел из жизни, едва достигнув 23 лет. Накануне он был прооперирован по поводу легочного абсцесса. После операции чувствовал себя хорошо, ничто не предвещало трагической развязки...

Шуламит Шалит нашла внучку Лауры Хеншель-Розенталь, «прелестной гордячки», которую обожал Маурици. Их роман длился около двух лет, они должны были пожениться, но Лаура в последнюю минуту предпочла отдать руку и сердце обеспеченному банкиру. Внучка Лауры, сама художница и скульптор, кибуцница Бат-Шева Шефлан, разыскала в Голландии дневники бабушки, где дважды упоминается, что Маурици покончил самоубийством из-за ее отказа. Но Бат-Шева ничего не знала об обстоятельствах смерти художника. Именно Шуламит Шалит обратила внимание на то, что свадьба Лауры с банкиром состоялась 3 июля 1879 г., ровно за две недели до неожиданного ухода из жизни Маурици Готлиба...

А вот разгадка другой тайны... Перечитывая работы Феликса Львовича Шапиро – знаменитого составителя русско-ивритского словаря – Шуламит Шалит приходит к выводу, что он обладал незаурядным писательским талантом. Его дочь, Лия Престина, рассказала ей, что отец в юности писал стихи. А потом Шуламит Шалит неожиданно узнает, что поэтический дар вернулся к Шапиро на закате жизни под влиянием романтического чувства к его многолетней помощнице – «умной, преданной, благородной и красивой» – Рахели Павловне Марголиной. Последняя хранила эти стихи в своем личном архиве. Но она умерла давно, наследников прямых не сохранилось, где искать эти строчки? «Я расчертила генеалогическое древо семьи и стала над ним колдовать, – пишет Шалит. – Обратилась к племяннику Рахели, сыну ее сестры Ципоры. Тот не поверил: "Кто вы такая и почему *Вам* известно, *какие* стихи хранятся в *моем* доме?" Но, когда нашел их в архиве покойной матери, был ошарашен: "Как вы узнали, что стихи именно у меня?"».

Читаю вдохновенные строчки Шуламит, посвященные Ф. Л. Шапиро и его детищу: «По этому словарю мы не просто учили иврит, но начинали чувствовать язык, проникались его духом. *Нахат матос* – опустился самолет, приземлился. *Нахат руах* – успокоилась душа, опустилась...» Для меня в этих словах скрыт особый, личный смысл.

...Моя мама была тяжело больна. Как врач она понимала, что ее жизни осталось на самом донышке, а ей было чуть больше шестидесяти. Ее три с половиной года в Израиле были поровну разделены между полутемной квартирой в центре абсорбции Гило и больницей Адасса. И вот, всякий раз собираясь в очередную дорогу: из дома – в больницу, из больницы – домой, она беспокоилась: не забыли ли мы вложить ее главный учебник, иврит-русский словарь Шапиро, и тетрадку для упражнений, тоненькую школьную тетрадку, все страницы которой она испещряла, как первоклассница, большими корявыми ивритскими буквами. А у меня это подчас вызывало досаду: «Ну к чему сейчас эти бессмысленные усилия, что можно успеть и зачем?»

Теперь, через много лет после маминой смерти, начинаю, наконец, понимать ее. Это ведь и ей любимый словарь-учебник возвращал душевное спокойствие, придавал иное измерение тому неизбежному, что подстерегало ее, о чем не могла не думать. Иначе, как смогла бы до последнего дня интересоваться нашими делами, неутомимо вникать в подробности и лишь изредка позволять себе пожаловаться или что-то попросить. Как стыдно мне сегодня за ту свою душевную глухоту...

Русскоязычная еврейская община разбросана по континентам, подвержена влияниям советских стереотипов, западной культуры, израильского левантийства, ортодоксального иудаизма... Книга Ш. Шалит возвращает нас к корням. Ей удается ввести читателя в единое духовно-эмоциональное пространство еврейской культуры XX века. На это работает и графический ряд. На обложке книги помещен фрагмент рукописи «Ленинградского ТАНАХа» XI века (из Каирской генизы). Орнаментальный рисунок в древнем свитке, по окружностям которого бегут ивритские буквы, идеально «раскручивает» метафору названия.

Процитирую Бориса Кушнера, профессора математики, поэта, публициста (Джонстаун, США): «Печальны и мудры новеллы Шалит, в них улыбается в слезах бессмертный язык изгнания, язык многовекового Вавилона – идиш, вернувшийся во исполнение пророчеств вместе с народом к камням Сиона, к материнскому лону иврита. Мне неизвестен другой русскоязычный автор, который сумел бы выразить свою любовь к нашему народу так тонко, так полно, так глубоко и так достойно... При этом, что важно, любовь к своему народу не заслоняет у Шуламит Шалит другие народы, а ведь мы идем по дорогам истории отнюдь не одни...»

Татьяна Азаз-Лившиц

Лорина ДЫМОВА «Никодим и Фиолета» [Рассказы и повести] – Иерусалим, «ЛИРА», 2006.

В рассказе Лорины Дымовой «Интервью» (из этой книжки) есть сюжет: к писательнице напросился на визит журналист. С большой неохотой автор уступила ласковой и заискивающей настойчивости взволнованного коллеги: публике, мол, не терпится, так важно ей узнать ваши взгляды, ну, просто работать нам без этого невозможно.

«– Нашим читателям было бы интересно узнать, что вы думаете о возможностях переложения современной прозы на язык телевидения?

– Что-что-что? – пытаюсь понять я.

– Пе-ре-ло-же-ния про-зы на я-зык те-левидения...

– Но я пишу стихи, – робко сообщаю я.

– Ну! – не верит собеседник. – Разве? Вы уверены?»

...Я потому начал свой отклик на новую книгу Лорины Дымовой с цитаты, что сам себе напоминаю этого персонажа: мы знакомы с Лориной, пожалуй, почти полтора десятка лет, я раз пять откликался в печати на сборники ее стихов и был до сих пор уверен, что Дымова – чистый поэт-лирик. И вдруг увидел в издательстве «Лира» новую книжку, открываю – а это сборник прозы, рассказы и маленькие повести – и почти на четыреста страниц! Тут приложен список её сочинений, и, оказывается, помимо шести сборников стихов у нашей Дымовой – это уже третья книга прозы. «Что-что-что?..»

И всё-таки осмелюсь настаивать: проза Лорины Дымовой написана именно лирическим поэтом. И главным и самым интересным её персонажем, хотя вообще персонажей в книге десятки, если не сотни, остается автор. Как и положено у лирика!

Проза Дымовой тонко иронична, насмешлива, парадоксальна. Проза эта утверждает неожиданность бытия, невероятность людских характеров, вечную противоречивость наших отношений. В этом смысле все рассказы и повести, собранные в рецензируемой книге – вполне современны, все исполнены в духе так называемого «постмодерна» – т. е. свободного и ироничного восприятия всего и вся. Но... Но одновременно это явное продолжение классики предыдущей

эпохи – эпохи «модерна», потому что под иронией и насмешкой у автора скрывается глубокое и неизменное уважение и почтение к так называемым «вечным ценностям». К любви и духовности, к самостоятельности и верности... Да, как бы напоминает читателю Дымова каждым поворотом сюжетов, я всё понимаю – и про свободу, и про независимость, про пошлость и житейские соблазны, я никого не бичую и не оплевываю, но я знаю – то, чему нас учил XIX век, и Толстой, и Чехов, и даже Алексей Толстой или Тютчев – это осталось вечной правдой даже в наше сложное, запутавшееся время. И, как ни удивительно, подлинное счастье даруется и сегодня тоже не тем, кто «успешен», а тем, кто верен себе, своему призванию, своей душе. И никакие «успехи», карьерные или другие, не приводят к самореализации личности. А без неё – какое же счастье у человека? В тряпках, что ли? В побрякушках? В поездках или тусовках?

Главная интонация Дымовой в прозе – интеллигентное отсутствие злости. Даже злости естественной, вполне присущей нормальной жизни любого человека – той, что вызывается чужой бесцеремонностью, продажностью, чужой бестактностью. Дымова умеет описать её с поразительной цепкостью наблюдательной женщины. Но при этом не опускается до остервенения, хотя чувствуется, как в жизни «допекают» её обладатели сих качеств, распространенных в нашем любезном отечестве, у наших пылких израильтянок и израильтян, соседок и коллег. Её природная доброта скрашивает сюжеты всех рассказов и повестей, придает особую интонацию, которая позволяет читать каждый из фрагментов с удовольствием, я бы выразился даже смешным словом – «с приятностью». Читая Дымову, с одной стороны, встречаешь там знакомых (знакомых «на каждом шагу»!) персонажей, и радует эффект узнавания, а с другой – ты учишься воспринимать людей с юмором и терпением. Потому что дураков среди них много-много, настырных и глупых, но вот злых сердцем совсем немного... Я что-то таких у неё в книжке вообще не припомню. Эти образы ей неинтересны. Как всякому истинному поэту-лирику.

И ещё особенность отмечу в новой для меня прозе Дымовой: её отличная к бытовым мелочам память, которая не выпускает из себя детали и детальки прошедшей жизни, которых как будто не было... Например, ощущение радости от вареных пирожков с капустой, или суровые гостиничные тетки-дежурные, которые не пускают в номера «никаких посторонних» после десяти часов вечера (но их, оказывается, можно купить – если умеешь! – парой джинсов)...

Как давно это было, будто и не было!

Словом, если хотите получить удовольствие от современной прозы без особых претензий на «интеллектуализм», если не горите желанием почитать про утехи гомосексуалистов или бандитскую «чернуху», если хотите снова познать жизнь, как она есть, но остаться при этом нормальным порядочным человеком – с радостью проведете не один вечер над томиком Лорины Дымовой.

Чего всем, а особенно женщинам, от души желаю.

Михаил Хейфец

Татьяна АЗАЗ-ЛИВШИЦ родилась в Харькове. Закончила биофак Ленинградского университета. Репатриировалась в 1977 году. Автор книги «Лекарственные препараты в Израиле» (1996). Составитель (вместе с Б. Л. Милявским) сборника «Вопреки времени» избранных работ литературоведа Льва Лившица и воспоминаний о нем (1998). Живет в Мевасерет-Ционе.
В «ИЖ» опубликованы рецензии **Т. А.-Л.** на книги Н. Дорошко-Берман (№ 13), М. Меламед (№ 13) и альманах «Римон» (№ 20-21).

Сухбат АФЛАТУНИ (Евгений Абдуллаев) родился в 1971 году в Намангане. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Звезда Востока», «Знамя», «Дружба Народов», «Новая Юность», «Октябрь», альманахе «Интерпоэзия» Один из основателей творческого объединения «Ташкентская поэтическая школа» и альманаха «Малый шелковый путь». Автор книги стихов «Псалмы и наброски» (2003). Лауреат премии «Дебют» журнала «Октябрь» (2004) и литературного конкурса «Русская премия» (2006) за «Ташкентский роман».
Живет в Ташкенте. Преподает философию.

Владимир БОЛОТИН (1955, Караганда – 2005, Новосибирск). В 1978 году закончил физфак Новосибирского университета. Работал в Институте физики в Новосибирском Академгородке. Лауреат Чимганского фестиваля (1980). Авторские диски: «Восточный ветер» (1995), «Чужой человек» (1999), «Любимая история» (2001), «К дальним округам» (2006).
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов и песен **В. Б.** «В комнате у Шапиры» (№ 6) и «А свет – пусть из темноты» (№ 21-22).

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатриировался в 1996 году. Автор семи поэтических книг для детей и сборников стихов «Моление о памяти» (1995) и «Репортаж из Эдема» (1998). Лауреат литературной премии им. Б. Горбатова (1983). Живет в Модиине.
В «ИЖ» публиковались подборки стихотворений «Пока душа не сменит оболочку» (№ 5), «Листок эвкалипта» (№ 14-15) и «Свидетель» (№ 20-21); рецензия на книгу Александра Крестинского (№ 16). В 2002 году в «*Библиотеке Иерусалимского журнала*» вышла книга стихов **М. В.** «Третья попытка».

Александр ГОРОДНИЦКИЙ родился в 1933 году в Ленинграде. Пережил блокаду. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Один из основоположников жанра авторской песни. Автор 28 книг стихов, песен и мемуарной прозы. Лауреат Госпремии России им. Булата Окуджавы (1999), Царскосельской художественной премии (1998) и др. Стихи и песни **А. Г.** переведены на несколько языков, в том числе на иврит. Живет в Москве.
В «ИЖ» № 8 опубликована его статья «Люди и песни».

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), выдающийся израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Госпремии Израиля (1957).
В «ИЖ» стихи поэта опубликованы в №№ 13, 16, 19, 20-21
Дом наследия У. Ц. Гринберга в Иерусалиме (ул. Яффо, 34) ежегодно проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь проходят семинары Мастерской поэтического перевода, презентации «Иерусалимского журнала» и заседания литклуба «ИЖ».

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979–84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **И. Г.** «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13); заметки об Александре Окуне «Текст к рисункам» (№ 4), главы из «Книги странствий» (№ 8) и книги «Вечерний звон» (№ 20-21); эссе «Блики эпохи» (№ 12).
В «*Библиотеке Иерусалимского журнала*» изданы «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2004), «Вечерний звон» (2005).

Анатолий ДОБРОВИЧ родился в 1933 году в Одессе. С начала 60-х годов жил в Москве. Репатриировался в 1988 году. Издал три книги стихов: «Монолог» (Тель-Авив, 2000), «Линия прибоя» (Иерусалим, 2003), «Остров Явь» (Кдумим, 2005).
Живет в Бат-Яме. Работает врачом.

Инна ЕЛИНА родилась в Москве. В 1940 году окончила Институт философии, литературы и истории (литературный факультет). В 1944 году защитила кандидатскую диссертацию (об английских народных балладах), а в 1974-м – докторскую (о поэтике малых произведений Данте). Автор книги о творчестве Данте. В качестве профессора МГУ и Московского государственного института иностранных языков преподавала историю итальянской литературы и особенности перевода с итальянского языка на русский. Репатриировалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме. Здесь выпустила книги «Василий Гроссман» и «О давнем и недавнем»; в культурно-религиозном центре «Маханаим» читала курс лекций по истории западноевропейских евреев.
В «ИЖ» № 4 **Н. Е.** подготовила публикацию писем Б. К. Зайцева «В подвал спускался с рукописью "Ада"».

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор более десяти романов о жизни литовского еврейства, многих пьес и сценариев художественных фильмов. За романы «Слезы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии Литвы. Книги переведены на многие языки.
Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме.
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.
В «ИЖ» опубликованы глава из романа «Шелест срубленных деревьев» (№ 1); главы из повести «Огонь и воды» (№ 4); повести «Вера Ильинична» (№ 13) и «Жак Меламед, вдовец» (№ 17); рецензии на книги Эли Люксембурга (№ 1) и Елены Аксельрод (№ 6); эссе «Дымок "Ноблеса"» (№ 11) и «Смерть не ставит запятых» (№ 18). В 2002 году в *«Библиотеке ИЖ»* вышла книга **Г. К.** «Лики во тьме».

Михаил КАРПАЧЕВ родился в 1959 году в Минске. Окончил политехнический институт. С 1978 года принимал участие в КСП «Купалинка», тогда же начал писать песни. Репатриировался в 2000 году. Публиковался в альманахе «Весь» (Рига, 1992). В 2002 году в Минске вышел авторский диск **М. К.** «Госпожа моя ностальгия». Живет в Иерусалиме.

Александр КРЕСТИНСКИЙ (1928, Ленинград – 2005, Бат-Ям). Окончил философский факультет ЛГУ. Работал школьным учителем, затем редактором отдела в журнале «Костер». Выпустил более десяти книг для детей. В России вышли сборники стихов «Отзовется душа» (1990), «Тихий рокер» (1993) и «Нищие неба» (1997). Репатриировался в 2000 году.
В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Под покровом еврейского неба» (№ 8) и рассказ «Братья» (№ 18). В 2002 году в *«Библиотеке ИЖ»* вышла книга **А. К.** «Дорога на Яффо» (2003).

Яков ЛАХ (Лиховецкий) родился в 1937 году в Киеве. Репатриировался в 1974 году. Работал инженером, переводил стихи современных израильских поэтов, в том числе роман в стихах Амоса Оза «И то же море». Автор нового комментированного перевода «Песни песен» (2003). Живёт в Беэр-Шеве.
В «ИЖ» (№№ 12, 16, 20-21) опубликованы переводы стихов Натана Заха, Еуды Амихая, Ури Цви Гринберга, Исраэля Пинкаса, статья «Вернись, обернись, Шуламит...» (№ 18).

Семен ЛИПКИН (1911, Одесса – 2003, Переделкино), русский поэт. Перевел эпосы «Гильгамеш, «Джангар», «Манас», поэмы Навои «Лейла и Меджнун», Фирдоуси «Шахнаме». Первый сборник стихов «Очевидец» увидел свет, когда поэту было уже 56 лет. Также автор прозы и воспоминаний об Ахматовой, Мандельштаме, Гроссмане, Заболоцком. Поэму **С. Л.** «Техник-интендант» Ахматова причисляла к лучшим русским стихам на военную тему. Его книгу «Воля» издал в Америке Бродский.
В «ИЖ» № 8 опубликовано стихотворение **С. Л.** «Художница».

Инна ЛИСНЯНСКАЯ родилась в Баку в 1928 году. Печатается с 1948 года. Автор многочисленных сборников стихов, ряда повестей и мономанa «Хвастунья». Участвовала в альманахе «Метрополь» (1979) и вместе с Семеном Липкиным добровольно вышла из СП СССР в знак протеста против исключения из СП В. Ерофеева и Е. Попова. Лауреат премий журналов «Стрелец» (1994), «Арион» (1995), «Дружба Народов» (1996), «Знамя» (2000), Государственной премии России (1998), премии А. Солженицына (1999). В «ИЖ» № 18 была опубликована поэтическая подборка **И. Л.** «Из Иерусалимской тетради». Живет в Москве и в Иерусалиме.

Светлана МОЙБЕР родилась в Шепетовке. С раннего детства жила в Вильнюсе. Окончила художественную школу и филфак Университета. Репатриировалась в 1991 году. Живет в Маале-Адумим.

Виктория РАЙХЕР родилась в 1974 году в Москве. Репатриировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией.
Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (тт. 1, 2,3), «ПрозаК», «Секреты и сокровища: лучшие рассказы 2005 года» и др. Живет в Текоа.
В «ИЖ» № 19 опубликован рассказ «От сумы, от тюрьмы...»

Юрий РЯШЕНЦЕВ родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил филфак МГПИ. Семь лет преподавал в школе, в том числе в школе трудных подростков. С 1962-го до середины 90-х работал литконсультантом в журнале «Юность». Много писал для театра и кино. Наиболее известны песни к фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» и зонги к спектаклю ленинградского АБДТ «История лошади». Автор нескольких сборников стихов и романа «В Маковниках. И больше нигде». Лауреат Госпремии России им. Булата Окуджавы (2002). Живет в Москве.

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и четырех книг прозы, вышедших в Москве.
Живет в поселении Бейт-Арье.
В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14-15) романы «Протоколы сионских мудрецов» (№ 16) и «Иона» (№ 19).

Рахель ТОРПУСМАН родилась в 1970 году в Подмосковье. Репатриировалась в 1988-м. Окончила Иерусалимский университет по специальности «Лингвистика и античная филология». Издала книгу переводов Катулла (2001). В 2003-м в ее переводе вышла книга Яакова Хисдая «Смутное время: Израиль после 1973 года». Лауреат поэтических фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2003, 2004, 2006). Стихи поэта в переводе **Р. Т.** опубликованы в «ИЖ» (№№ 13, 16, 18). Живет в Кирьят-Арбе.

Мария ФАЛИКМАН родилась в 1976 году в Новомосковске (Тульская область). Окончила факультет психологии МГУ и преподает в этом университете. Автор книги стихов «*Mezzo Forte*» (2001). Лауреат конкурса перевода британской поэзии Британского Совета в Российской Федерации. Живет Москве.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **М. Ф.** «Не сейчас» (№ 7) и «Сосны» (№ 19).

Вадим ХАЛУПОВИЧ родился в Ленинграде в 1932 году. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Автор семи книг стихов, изданных в России, и трех – в Израиле, где живет с 1992 года. Живет в Нешере.

Михаил ХЕЙФЕЦ родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Пединститут им. А. Герцена. С 1955-го по 1966-й преподавал литературу и историю в школе. С 1966 года – профессиональный литератор (основная тема публикаций – народничество и народовольчество). В 1974-м осужден на 6 лет (лагеря и ссылка) за написание предисловия («Иосиф Бродский и наше поколение») к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. В заключении написал, переправил «за проволоку» и выпустил в Париже книги публицистики, документальной прозы и интервью «Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак».
Репатриировался в 1980 году. Здесь работал научным сотрудником Центра по изучению и документации восточно-европейского еврейства при Иерусалимском университете и обозревателем газеты «Вести»; написал книги «Глядя из Иерусалима», «Цареубийство в 1918 году», «Воспоминаний грустный свиток» «Суд над Иисусом – еврейские версии и гипотезы», «Ханна Арендт судит XX век» и др., вышедшие в Израиле, России и на Украине.
Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы рецензии **М. Х.** на журнал «Время искать» (№ 2) и на книгу Марка Зайчика «Жизнь Бегина» (№ 8).

Владимир ЦИВУНИН родился в 1959 году в Сыктывкаре. Учился на химико-биологическом факультете Сыктывкарского госуниверситета и на отделении поэзии Литинститута им. Горького (семинар Юрия Кузнецова). Стихотворения, литературные статьи и рецензии публиковались в журналах «Север», «Урал», «Крещатик», «Колокол», «Наш современник», «22», «Меценат и Мир» и др. Живет в Сыктывкаре.

לקליטת עליה
פרץ 20 חיפה 33047
ספריה
B466

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Блаженство пьесы этой краткой.
Гарики из Шестого иерусалимского дневника 3
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. Сделка. *Рассказ* 8

ЯФФСКИЕ ВОРОТА
АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ. Случай и судьбу благодарю. *Стихи* 14
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Иаков. *Глава из романа* 19

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ. Лучше бы сесть мне в лодочку... *Стихи* . . 35
МАРИЯ ФАЛИКМАН. Переулки. *Стихи* 42

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
АЛЕКС ТАРН. Пепел. *Роман* 45

УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Божий горн. *Стихи разных лет.*
Перевели с иврита Рахель Торпусман и Зинаида Палванова 192

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ
СУХБАТ АФЛАТУНИ. В другое лето. *Стихи* 194

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ
СВЕТЛАНА МОЙБЕР. Здесь такое близкое небо.
Эскиз автобиографии и рисунки 197

ПАРК САКЕР
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ. Тень предка.
Стихи и тексты песен 205
МИХАИЛ КАРПАЧЁВ. Библейские пейзажи. *Тексты песен* 212

ХОЛМ ПАМЯТИ
МАРК ВЕЙЦМАН. Грустно-весёлый, детско-взрослый 217
ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ. Слово прощания 221
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ. Такой вот счастливый урод. *Стихи* 222
НИНА ЕЛИНА. О Лее 229
ВЛАДИМИР БОЛОТИН. И так же долго буду жить. *Стихи* 234
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ. На крылечке 248

НОВЫЕ ВОРОТА
ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ, ЯКОВ ЛАХ, МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ,
ВЛАДИМИР ЦИВУНИН о книгах Шуламит Шалит,
Хамуталь Бар-Йосеф, Лорины Дымовой, Наума Басовского 263

ИМЕНА
Авторы и персонажи 277

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,
P. 0. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В других странах – $64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:
В Израиле – 40 шекелей, включая пересылку.
В других странах – $18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Василия Емельянова (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Холон), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала.

Любые советы, предложения, а также пожертвования будут приняты с благодарностью

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Hapoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
в 1999 – 2005 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»
Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1, 2)
Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»
Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной», «Авангардист на крышу вышел»
Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»
Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий», «Гарики предпоследние», «Гарики из Атлантиды»
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)
Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»
Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»
Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»
Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»
Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас»
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»
Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»
Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая), «Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»
Илья БЕРКОВИЧ. «Стихи, написанные в Израиле»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)
Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА, Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ,
книга стихов Владимира ДРУКА, книга Феликса КРИВИНА,
книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ,
книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ, книга прозы Вильяма БАТКИНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net
Музей современных израильских художников
Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Заремба, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Коэлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE
IGOR GUBERMAN The bliss of this short piece
Garriks from Sixth Jerusalem Diary
VICTORIA RAICHER. Transaction. *Short story*

JAFFA GATE
ANATOLY DOBROVICH. Grateful to the chance and to the destiny.
Poems
GRIGORY KANOVICH. Yakov. *Chapter from the novel*

RUSSIAN COMPOUND
YURI RYASHENTSEV. If I were in the boat... *Poems*
MARIA FALIKMAN.Lanes. *Poems*

SHKHEM GATE
ALEX TARN. Ash. *Novel*

DESIRED LAND STREET
URI ZWI GREENBERG. Organist. *Poems. Translated from Hebrew by Rachel Torpusman and Zinauda Palvanova*

BUKHARA QUARTER
SUKHBAT AFLATUNI. The other summer. *Poems*

BETZALEL STREET
SVETLANA MOIBER. The sky is so near in this land.
Biographic sketch and drawings

SAKER GARDEN
ALEXANDER GORODNITSKY. Ancestor's shades.
Poems and lyrics
MICHAEL KARPACHYOV. Biblical landscapes. *Lyrics*

MEMORY HILL
MARC WEITZMAN. Sad and cheerful, childish and adult
VADIM KHALUPOVICH. A word of farewell
ALEXANDER KRESTINSKY. Such a happy freak. *Poems*
NINA ELINA. About Leah
VLADIMIR BOLOTIN. And I shall live long years too. *Poems*
INNA LISNYANSKAYA. On the steps

NEW GATE
Reviews by Tatiana AZAZ-LIVSHITZ, Yakov LAKH,
Michael KHEYFETS, Vladimir TSIVUNIN of books
by Shulamit Shalit, Chamutal Bar-Yosef,
Lorina Dymova, Naum Basovsky

NAMES
Authors and characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 19, 2005

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Elena Ignatova, Yuly Kim, Zinaida Palvanova, Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary: **Leonid Levinson**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina, Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky, Victor Gopman, Gregory Gordin, Svetlana Moiber**

SCOPUS Publishing House Print: ***TSUR OT***

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2005. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel
E-mail: review@antho.net
Phone: 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6451288; Fax: 972-2-6716184

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow:	**Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru
	Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru
in New York:	**Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
	Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com
in Chicago:	**Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; rmasis1@home.com
	Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com
In Boston:	**Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
in Paris:	**Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@ free.fr
in Toronto:	**Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים:

שער האריות
איגור גוברמן. העונג של המחזה הקט
שירים מהיומן הירושלמי השישי
ויקטוריה רייכר. עסקה – סיפור קצר

שער יפו
אנטולי דוברוביץ'. למקרה וְלגורל תודתי – שירים
גריגורי קנוביץ'. יעקב – פרק מהרומן

מגרש הרוסים
יורי ריאשנצב. עדיף לי לעלות על הסירה – שירים
מריה פליקמן. סמטאות – שירים

שער שכם
אלכס טארן. אפר – רומן

רחוב ארץ חפץ
אורי צבי גרינברג. עוגבר – שירים
מעברית – רחל טורפוסמן וזינאידה פלבנובה

שכונת הבוכרים
סוחבט אפלטוני. בקיץ אחר – שירים

רחוב בצלאל
סבטלנה מויבר. השמיים קרובים פה כל כך...
סקיצת אוטוביוגרפיה ורישומים

גן סאקר
אלכסנדר גורודניצקי. צלו של אבי הקדמון – שירים
מיכאיל קרפציוב. נופים תנכיים – מילות השירים

הר הזיכרון
מרק וייצמן. עצוב ועליז, ילדותי ובוגר
וודים חלופוביץ'. מילת פרידה
אלכסנדר קרסטינסקי. המכוער שכל כך מאושר – שירים
נינה ילינה. אודות לאה
וולדימיר בולוטין. גם אני אאריך בחיים – שירים
אינה ליסניאנסקאיה. על המדרגות

השער החדש
טטיאנה עזז-ליפשיץ, יעקב לח, מיכאיל חפץ, וולדימיר ציבונין
על ספריהם של שולמית שליט, חמוטל בר-יוסף,
לורינה דימובה ונאום בסובסקי

שמות
יוצרים ודמויות

כתב-עת ירושלמי **2006. 22**

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "**אנתולוגיה ירושלמית**"

מערכת:
איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנציק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – לאוניד לוינזון
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, סבטלנה מויבר, אילן ריס

הוצאה לאור: "**סקופוס**" הדפסה: דפוס "**צור-אות**"

בתמיכת

קונגרס יהודי רוסיה

משרד המשפטים,
הועדה הציבורית לקביעת
ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

קרן ספרות ע"ש י. בבל

בית מורשת אורי צבי גרינברג

2006 © כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960827, 02-5666622, 0544-745322, 02-6451288, 0545-766722
E-mail: review@antho.net

Инне Винярской

не сын пророка и не пророк но вижу и говорю
и этому царству уходит срок и этому декабрю
ещё судам не видать конца сады плодоносят но
желтеют листья и у дворца становится всё равно
густеет смог выцветает флаг ржавеет закатный блик
и ежеутренний телефак чернеет равно безлик
и ежедневная пелена вечерних полна теней

но я же помню и времена что были ещё равней
в краю где жил я не так давно немало кружило бед
в глазах темнело но всё равно не остановило свет
я шёл не зная зачем куда почти от самых карпат
светились горы и города и струны звенели в лад
большой фонтан и малый чимган в мотив слагались один
берёза тополь арча платан хранили от злых годин
и русский песенный стих берёг меня от всего равна
и вдоль дороги и поперёк была мне судьба одна
на юг на юго-юго-восток но к западу от перми
и вдаль меня уносил поток и бог одарял людьми

объятый осенью и зимой и лета не так легки
но я вернулся домой домой где светятся огоньки
на юдо-юдо-восток в холмы что к небу взошли гуртом
и здесь хватает кромешной тьмы но светится отчий дом
мой дом куда я привёл отца и брата и сыновей
и что гадать о конце дворца правей он чуток левей
какая разница новый год минувших столетий ряд
когда от века не ждут погод ни пальма ни виноград
и воин бравый бежит назад окрестности веселя
и судия источает яд и плачет моя земля
течёт и мёдом и молоком и чем только не течёт
но это смывшееся бочком оно всё равно не в счёт
иди себе и прямей бери к себе иди вопреки
и царства смертны и декабри но светятся огоньки
мой дом заборами неделим до самых корней и крон
за той горою ерусалим за этим холмом хеврон
и свет еще не устал гореть а видишь и говори
и надо ещё посадить успеть орешни хотя бы три

Игорь Бялый